

33

Ш 88

ПРОФ. В. М. ШТЕЙН

РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
МЫСЛИ

ТОМ ПЕРВЫЙ  
ФИЗИОКРАТЫ  
И КЛАССИКИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО "СЕЯТЕЛЬ"

ВЫШЛИ

М

АСТРАК. А. И. — Наглядная  
 К. С. О. Ж. Е. — Курс опыта  
 К. С. О. Ж. Е. — Задачи  
 БАШ. Д. А. и ИТОВИЧ  
 ГИЛЬБЕРТ. Д. — Основы  
 ГЮНТЕР. Н. И. — пр  
 ЖИТОМИРСКИЙ  
 НАУШ. И. И. —  
 КИСЕЛЕВ. А. —  
 К. С. О. Ж. Е. —  
 К. С. О. Ж. Е. —  
 КОСЕЛЕВ. Е.  
 КУ  
 КУ  
 КХ

Развидер Экон. мисс.

1647

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

За последнюю четверть века история экономической мысли обогатилась большим количеством новых, весьма ценных материалов, часто проливающих неожиданный свет на многие из отдельных эпизодов идейной эволюции, для которых у историков политической экономии выработался уже давно известный шаблон. Особенно повезло учению физиократов. О физиократии появилась целая литература. Напечатаны вновь найденные статьи Кенэ, тщательно перерыта вся повременная печать их эпохи, отражавшая идейную борьбу физиократов с их противниками, изучена народно-хозяйственная обстановка того времени. Работы Велерса об общем ходе физиократического движения, Гюнтцберга — о государственных и социологических концепциях физиократов, Шейниса — об их политических взглядах и т. д. дают возможность наново продумать отдельные стороны их многогранного учения. Один из лучших знатоков физиократии Шелль продолжает свою неустанную архивную работу по изучению физиократов: после монографий, посвященных Дюпонде-Немуру, Кенэ и Гурне, им выпущено новое издание сочинений Тюрго в 5 томах, последний из которых появился только в 1923 г. Истории классической школы посчастливилось в меньшей степени. Однако, и она освежена значительным количеством новых материалов. Упомянем, напр., что вслед за перепиской Рикардо и лекциями Смита вышли письма Д. Ст. Милля, напечатаны весьма ценные документы по истории лондонского клуба политической экономии, появились два объемистых тома содержательных „экономических анналов XIX века“ проф. Смарты, охватывающие период 1801—1830 г.г. и дающие особенно полную характеристику парламентских докладов и прений по вопросам экономической политики.

Кроме того, следует отметить появление за последние годы и нескольких сводных работ по истории экономических идей: американского проф. Хэни, популярного немецкого экономиста Шумпетера, наконец, трехтомный курс Рене Гоннара, в котором особенно тщательно разработан до-физиократический период. Вышло также в 1922 г. новое издание учебника Жида и Риста, сравнительно, однако, мало отличающееся от прежних; в нем появилась лишь очень слабая глава о большевизме, едва ли служащая к его украшению.

Задача автора заключалась в том, чтобы познакомить русскую читающую публику, хотя бы в общих чертах, с этими новыми материалами и попытаться обновить ими обычную схему истории экономических идей. В частности, в настоящей работе отводится больше внимания, чем было принято в прежних курсах, эволюции идеи чистого дохода, которая затем у Маркса примет форму теории прибавочной ценности, а также борьбе за высокие цены, как одному из важнейших движущих мотивов теоретических разногласий экономистов. Намеченное исследование должно уложиться в три тома: настоящий выпуск охватывает эпоху физиократов и классиков, второй будет посвящен утопическому и научному социализму, третий будет содержать характеристику исторической школы психологического направления и новейших теорий.

## ГЛАВА I.

### Зарождение идеи стихийной закономерности в народном хозяйстве.

(Закат меркантилизма).

... Ведущие торговлю нации Европы представляют собой как бы флотилию судов, из которых каждое стремится первым достичь определенной гавани. Государственный деятель каждой из них является капитаном. Один и тот же ветер дует для всех. Этот ветер—принцип своекорыстия, побуждающий каждого потребителя искать самого дешевого и лучшего рынка. Никакой пассатный ветер не может иметь более общей и постоянной природы. Естественные преимущества каждой страны соответствуют сравнительным качествам судов. Но капитан, умеющий ловче других провести свое судно и перехватить у своих соперников ветер, без сомнения победит их при прочих равных условиях и обеспечит свою выгоду».

\* James Stuart. «An inquiry into the principles of political economy». 1767.

Зарождение той или иной науки нельзя приурочить механически к известному моменту времени. Историки экономических учений, предаваясь бесплодным спорам о том, кого можно считать «отцом» политической экономии, всегда забывают, что идеи — не люди: они не являются на свет в виде зрелого, выношенного плода, а вырастают в медленном и неустойчивом процессе коллективного творчества, который может растянуться на десятилетия. В угоду своей концепции историк водружает прочную вежу, разделяющую будто бы два мировоззрения, представляющие полярную противоположность друг другу. Такой антагонизм усматривается, напр., между меркантилизмом, царившим в политической экономии до середины XVIII столетия, и сменившим его физиократическим учением. В действительности не было такого резкого, насильственного разрыва в истории экономической идеологии. Меркантилизм медленно, но неуклонно эволюционировал. В XVI веке



в нем звучали совсем иные мелодии, чем в начале XVIII. С другой стороны, физиократия не была целостным теоретическим сооружением, изваянным как бы из одной глыбы. Слабые отголоски старого мировоззрения подчас своеобразно переплетаются с новыми теориями у партизанов этого учения.

Эта неуверенная и протекающая довольно болезненно смена мировоззрений является не более, как повторением гораздо более грандиозного ратоборства двух начал, которым наполнена идейная история XVII и XVIII веков. Сформировавшаяся в XVII столетии идея единой мировой закономерности, распространяющейся и на физический, и на духовно-нравственный мир, стремится истребить крайние живучую и соблазнительную для легковверного человечества веру в социальные чудеса. В XVII веке исход этого соперничества еще неясен. Эта эпоха еще насыщена всякими грубыми суевериями, выступающими в самых неожиданных сочетаниях с настоячими научными исканиями. В одной из статей Зомбарта отлично изображен этот удивительный стиль XVII века, позволявший авторам сборников по техническим вопросам, практикам-«инженерам» населять природу многочисленными демонами, с которыми люди входят в общение, оказывая влияние на их поведение<sup>1)</sup>. Природа живет; на каждом шагу нас ждут в ней чудеса. Но с этими наивными фантазиями мирно уживалось величественное новое мировоззрение—учение о существовании в природе твердых неизменных законов, механически предопределяющих в ней малейшее движение. Самым сильным увлечением XVIII века была магематика. Как в физическом, так и в духовном мире все может быть измерено и взвешено. Живое и мертвое втискивается в геометрические формы. По словам Е. В. Спекторского, «геометрия в XVII столетии обнимает не только науку, но и искусство и религию; она превышает даже экстаз». Даже в искусстве «господствуют симметрия, строгие, холодные линии. Красота природы понималась лишь постольку, поскольку она укладывалась в геометрические образы»<sup>2)</sup>. Человеческую душу тоже изучают геометрически. Ее стараются измерить. Геометрию вешивают даже в политику. Так, Лейбниц в 1669 г., в разгар польского бескорольевья, вздумал доказывать геометрическим методом, что единственный кандидат на польский престол

это — пфальцграф нейбургский, а 20 лет спустя, несмотря на неуспех лейбниевского пророчества, Вейгель снова прибегает к геометрии, чтобы уверить, что христианам не угрожает турецкое нашествие<sup>3)</sup>.

В экономической науке эта борьба идеи стихийной закономерности с верой в социальные чудеса выливается в особенно яркие и выразительные формы. Для экономической мысли XVII и XVIII вв. все вопросы бледнеют и меркнут перед одной важнейшей задачей: умножением богатства. Но какими приемами можно достичь этой цели? Уже некоторые представители меркантилизма описывают хозяйственную деятельность как стихийный органический процесс производства и потребления богатств, построенный на своей внутренней закономерности. Хозяйство—это одно из проявлений великой жизненной стихии вообще, мудро заботящейся о равновесии сил созидания и разрушения в природе. Чтобы жить и потреблять, нужно трудиться. Создание всякой новой ценности требует известных затрат. Природа ничего не дает даром. И если при производстве богатства приток новых ценностей равен их убыли, общая сумма богатства остается прежней. Наоборот, умножение богатства, появление какого-то «чистого избытка» возможно лишь в том случае, если активное созидательное начало обладает большей мощностью, чем пассивное, потребительское. Так как рост национального богатства был заветнейшим стремлением меркантилистов, то неудивительно, что все их помыслы сосредоточивались на этой идее «чистого избытка». Они жаждали открыть дивный источник обогащения, излучающий на человечество новые ценности, не требуя от него эквивалентной жертвы. Только при таком условии ведь и возможно накопление богатства. Разумеется, меркантилисты не отказываются и от труда как источника богатства. Наоборот, они требуют суровой дисциплины труда, а некоторые из них готовы превратить весь мир в рабочую казарму с принудительным трудом<sup>4)</sup>. Но апелляция к одному труду, как источнику богатства, кажется им недостаточно убедительной. Они знали, что аудитория, на которую они могли рассчитывать,—короли, придворная знать, государственные деятели,—не может притти в особенный восторг от перспективы мирного и упорного труда ради умножения богатства. Постоянно нуждаясь в деньгах для поддержания придворной

<sup>1)</sup> W. Sombart. «Die Technik im Zeitalter des Frühkapitalismus». Archiv für Sozialwissenschaft XXXIV т. 1912, стр. 721 и сл.

<sup>2)</sup> Е. Спекторский. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. I. Варшава, 1910, стр. 335, 337, 342.

<sup>3)</sup> Е. Спекторский, назв. соч., стр. 391—392.

<sup>4)</sup> R. Gonnard. Histoire des doctrines économiques, T. I. Paris, 1921, стр. 186.



роскоши, эти лица и без того старались выжать из национального труда возможно больше. Меркантилисты ищут поэтому более красочных и эффектных способов обогащения, и эти поиски вырождаются у них в стремление к легкой наживе. Если, таким образом, сама народно-хозяйственная стихия не производит чудес, то нужно испытывать для этой цели искусство человека и, прежде всего, создать такую систему управления народным хозяйством, которая сулила бы появление «чистого избытка». Меркантилизм представляет целую гамму оттенков постепенного перехода мысли от идеи механической закономерности к вере в социальные чудеса. Одни представители этого течения уповают на природу и ее жизнедеятельные силы в гораздо большей мере, чем на человеческое искусство. Их мировоззрение приобретает натуралистическую окраску: они ищут в общественной жизни естественных законов и мечтают построить на основе последних величественное здание «сциентальной физики». Другие с головой уходят в изобретение идеальной системы управления, продумывая до мельчайших деталей приемы государственного вмешательства в экономическую жизнь.

Как, однако, ни различны эти два построения экономической политики меркантилистов, у всех писателей этого направления есть все же общая черта. Они не дали законченной теоретической системы: все они были политическими мыслителями, а не людьми науки. «Из наших меркантилистических писателей нет ни одного, кто мог бы похвалиться, что он писал *sine ira et studio*, и довольно часто между строк их творений проглядывает грубейший эгоизм и постыдная жажда стяжания»<sup>1</sup>). Эта общая черта накладывает на все их сочинения своеобразный отпечаток: при чтении их трудов вас поражает пестрая смесь дальновидной государственной мудрости с циничным своекорыстием, тонкого лукавства в византийском стиле с горячим стремлением к благу своей страны. Типичным представителем меркантилистической доктрины является, напр., Джеймс Стюарт. Его взгляд на задачи экономической науки отлично выражен «уже в даваемом им определении хозяйства: «Хозяйство вообще есть искусство разумного и бережливого удовлетворения потребностей»<sup>2</sup>). От дарований государ-

ственных деятелей зависит благосостояние страны. Стюарт недаром противопоставляет «традиционную практику механически осуществляемого искусства» экономической политике, проводимой «мастером своего дела», руководствующимся «правилами науки» и постоянно углубленным в заботу об усовершенствовании этих правил. Восхваляя Кольбера, Джона Ло и Вальполю как выдающихся представителей меркантилистической практики, он приписывает всем им общую заслугу перед своими странами: «Эти люди были прирожденными государственными деятелями, творцами новых мыслей; они на ходили новые принципы, на основе которых они управляли людьми, и так ловко умели апеллировать к их интересам, что эти люди содействовали выполнению их планов»<sup>3</sup>).

Итак, от искусства государственных деятелей зависит благополучие народов. Государственное хозяйство главенствует над частным, граждане превращаются из субъектов в объекты экономической политики. Король, по замечанию Шелля, становится из повелителя своих подданных, вместе с тем, и покровителем их экономических интересов<sup>4</sup>). Господствует убеждение в необыкновенной силе законов, — в возможности достигать замечательных успехов при помощи ордонансов, указов, декретов. В народном хозяйстве, самом по себе, недостаточно жизнедеятельной энергии: оно нуждается в умелом направлении, регулировании, воспитании.

Заметим попутно, что эта точка зрения не была в меркантилистическую эпоху каким-то нездоровым уклоном мысли. Она, в сущности говоря, вполне соответствовала экономическому укладу своего времени. Развитое капиталистическое хозяйство, в недрах которого развивается могучая и неорганизованная «рыночная» стихия, жестоко мстятца за нарушение своих прав, не терпящая никакого вмешательства извне, является ведь относительно недолговременным эпизодом в истории хозяйства. Регламентация, планомерное управление сыграли на протяжении нового времени не меньшую роль, чем свободная стихия. Как ни далеки по своему содержанию меркантилизм и социализм, они протягивают друг другу руки над XIX столетием, бывшим эрой неурегулированного, анархического хозяйства. Экономические теории, изучению которых посвящается этот том нашей работы, как раз должны отразить в себе идеологию

<sup>1</sup>) H. Schacht. Der theoretische Gehalt des englischen Merkantilismus Berlin, 1900, стр. 101.

<sup>2</sup>) Цит. по новейшему немецкому переводу. James Stewart Untersuchung über die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1 Band, Jena, 1913, стр. 21.

<sup>3</sup>) Там же стр. 103—104.

<sup>4</sup>) G. Schelle. L'économie politique et les économistes, Paris, 1917, стр. 68.

постепенно крепнущего и развивающегося стихийного хозяйства, для которого становятся невыносимо стеснительными пути меркантилистической опеки.

Выступая с требованием охраны экономических интересов подданных, меркантилизм не кривил душой. Ему действительно очень близки были мотивы отеческой заботы государя о том, чтобы страна не терпела недостатка хотя бы в самом необходимом—в «хлебе насущном». В вопросах пропитания народ не может быть предоставлен самому себе. Государь должен охранять хлебные запасы своей страны, он не должен допускать голода. Отсюда, напр., мероприятия, запрещавшие вывоз хлеба за границу, против которых, как увидим ниже, с такой горячностью восставали физиократы. Один из противников резкого перехода от системы государственной регламентации хлебной торговли к полной и неограниченной ее свободе, аббат Галиани, с которым нам еще придется встретиться в дальнейшем изложении, очень выпукло изображает глубокое внутреннее расхождение этих систем с политической стороны. Франция в течение веков привыкла к меркантилистическому взгляду на хлеб как на главнейшую пищу народных масс, которая должна быть обеспечена им попечительным правительством. «Наши предки», говорит Галиани, «относились к зерну, как к предмету администрации, мы же хотим обратить его в предмет торговли»<sup>1)</sup>. Предки «хотели задуть всюкую торговлю хлебом»<sup>2)</sup>. Современники Галиани хотели дать ей полную свободу. Разумеется, полагает Галиани, такой переход в принципе должен быть одобрен. Французы были «детьми доброго отца, но детьми малолетними, о продовольствии которых нужно было думать. Теперь они совершеннолетние, они свободны, они должны сами думать о своей пище, а их освобожденная промышленность должна стать источником их богатства и изобилия»<sup>3)</sup>. Но такой переход слишком внезапен. «Свобода в снабжении себя пищей, сразу данная кому-либо, издавна отученному об этом думать, есть губительный дар. Мы едва выздоравливаем от противоположной продолжительной привычки, и такая неожиданная перемена опасна»<sup>4)</sup>. «Неожиданное установление полной свободы вывоза должно привести к резкому повышению хлебных цен. А между тем», говорит Галиани, «знаете ли вы, что я

смотрю на внезапный подъем цены на хлеб, как на самый резкий толчок и самый опасный, какой только можно дать государству»<sup>5)</sup>.

В этих словах одного из самых наблюдательных экономистов второй половины XVIII века прекрасно вскрыта сущность меркантилизма. Народное хозяйство это—«предмет администрации». Даже проникшись идеей экономической свободы, запоздалые меркантилисты этой эпохи все еще не могут переварить мысли о полном ее осуществлении на практике.

Патриархальное отношение представителей меркантилистического учения к благу жителей их страны сочеталось у них с откровенным стремлением к захвату накопленных другими государствами богатств. Меркантилистическую систему по всей справедливости можно назвать теорией военной экономики, в противоположность учению физиократов и классиков, которое, как увидим ниже, насквозь проникнуто миролюбием. Совсем иным духом проникнут меркантилизм. Его учения рождались в пылу непрестанных войн с другими народами и носят на себе явные и неизгладимые следы жестокого стремления к порабощению других народов. От меркантилизма отдает кровью. Вместо того, чтобы трудиться, не прозе ли раздобыть драгоценный «чистый избыток» за счет других народов, организовываешь насильственное отнятие у них продуктов их труда. И в этом, опять-таки, нет ничего удивительного. Меркантилисты — только внимательные ученики истории. Разве в древности народы не создавали себе богатств военным грабежом? Разве война не была источником получения дешевой рабочей силы за счет обращения пленных в рабство? Разве «первоначальное накопление капитала» в XVI и XVII веках не заключалось в разграблении европейцами стран Нового Света? Еще в XVI столетии Монтень заметил, что выгода для одного покупается ценой ущерба для другого, а Вольтер в XVIII ст. принимал эту мысль, как очевидную истину. Такова была кровавая логика меркантилистической эпохи: обогащение и обогащение должны идти рядом. Внешняя торговля зачастую была лишь маской для прикрытия эксплуатации побежденных народов. По словам Зомбарта, «при ближайшем взгляде на вещи, эта *soi disant* торговля представляет искусственный прием, задача которого заключается в том, чтобы при помощи добровольной по видимости меновой торговли, а в действительности посредством обмана и

<sup>1)</sup> Галиани. Беседы о торговле зерном. Киев, 1891, стр. 118.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 124.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 165.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 172.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 187.



силы отнять, если можно, без всякого вознаграждения ценные предметы у беззащитных народностей<sup>1)</sup>. Туземцам сбывались по невероятно высоким ценам товары, об употреблении которых они часто не имели ни малейшего представления. «Нередко бывало так, что туземцы лишь с трудом добывали скудное пропитание для себя и своей семьи, и в то же время они должны были ходить в шелке и бархате и украшать зеркалами голые стены своих полуразрушенных жилищ; им навязывали кружева, ленты, пуговицы, книги и тысячи других бесполезных вещей — и все это по самым бешеным ценам<sup>2)</sup>»...

На фоне этих красноречивых фактов выросла теория, согласно которой внешняя торговля является первейшим и надежнейшим источником богатства. Во внешней торговле происходит постоянный прирост богатства, так как страна отдает меньшее количество ценностей за большее. Ведущее внешнюю торговлю государство черпает сокровища из товарного обращения, не затрачивая при этом добавочного труда. Эта точка зрения могла утвердиться в меркантилистической литературе только благодаря резкому противопоставлению интересов своей страны интересам других народов. Если стоять на общечеловеческой точке зрения, источником появления новых ценностей может быть только производство. Но при проведении в жизнь принципа национального эгоизма, разрешающего одной нации грабить другую, богатство может создаваться и в результате перераспределения существующей массы благ. Однако, постепенно грабить другие нации становилось все труднее и труднее. Барыши внешней торговли стали неуклонно падать. Колониальные державы, основавшие свое могущество на раздирании Нового Света на части, быстро захирели, легко спустив нажитое без труда богатство. Появляются меркантилисты нового толка, настроенные космополитически, мечтающие о благе всего человечества. Так, Теккер объявляет своей задачей «благо человеческого рода» и обещает, отказавшись от националистического пристрастия и местных предубеждений, «от врожденной антипатии к Франции», стоять на точке зрения не англичанина, а «гражданина всего мира»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> В. Зомбарт. Современный капитализм. Пер. под ред. Базарова и И. Степанова. М., Т. I, стр. 305.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 307.

<sup>3)</sup> Clark. Josiah Tucker, economist. A study in the history of economics. New York. 1903, стр. 32

Для него величайшим «абсурдом» и даже «экстравагантной глупостью» является стремление развивать торговлю через войну<sup>1)</sup>. С ним даже восторженный поклонник свободной торговли Тюрго находит общий язык. В письме к Теккеру Тюрго восклицает по поводу стеснений внешней торговли: «О, если бы усилия наиболее просвещенных и гуманных политиков разрушили, наконец, этого страшного идола, который все еще живет, тогда как от мании завоеваний и религиозной нетерпимости человечество начинает излечиваться! Сколько миллионов человеческих жизней было принесено в жертву этим трем чудовищам!»<sup>2)</sup>. А глава физиократии Кенэ в одном из своих диалогов увещивает своего оппонента: «Перестаньте, мой дорогой друг, рассматривать международную торговлю, как войну с неприятелем и средство грабежа»<sup>3)</sup>. Так постепенно назревал коренной перелом в принципах международной экономической политики. Все ухищрения во внешней торговле, все попытки основать ее на искусственных мероприятиях, дающих торговле то или иное направление, тщетны. Торговля перемещает ценности, но не увеличивает их количества. Если чудеса бываю, то их следует искать в другой области. И Маркс недаром признал великой заслугой физиократов их попытку найти источник приращения богатства не в плоскости обращения, а в сфере производства. Однако, об этом придется подробно говорить ниже.

Если, таким образом, некоторые из грубо-эгоистических меркантилистических теорий понемногу начинают терять свою привлекательность в глазах просвещенного и эlegantного XVIII в., то один из их принципов держится особенно прочно. Мы разумею учение о том, что богатство заключается в драгоценных металлах и что торговая политика должна заключаться в стеснении ввоза и поощрении вывоза, чтобы добиться притока этих металлов в страну. Кольбер в своих инструкциях послам упоминал даже о «всеобщем и основном законе всех государств, запрещающем под страхом смерти вывоз золота и серебра». По словам Шелля, в эту эпоху полагали, что для своего обогащения «нужно так же отнимать у других стран золото и серебро, как древние народы забирали у своих соседей рабов, женщин или военную добычу»<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Там же стр. 170.

<sup>2)</sup> Turgot. Oeuvres. T. III. Paris, 1919, стр. 422.

<sup>3)</sup> F. Quesnay. Oeuvres économiques et philosophiques. Ed. Oncken. 1888, стр. 477.

<sup>4)</sup> Schelle, назв. соч., стр. 53.



Теория, согласно которой драгоценные металлы являются особым, квалифицированным богатством, была также отголоском известных исторических событий. С открытия Америки начинается усиленный прилив драгоценных металлов в Европу. С 1493 по 1520 г. было привезено 5.800 кг. золота и 47.000 кг. серебра, что составляет на золотые рубли около 30 мил. С 1521 по 1544 г. соответствующие количества были: 7.160 и 90.200 кг., а с 1545 по 1560 г.—8.510 и 311.600. Для той эпохи это были колоссальные цифры. Грандиозные волны этого потока драгоценных металлов залили европейские страны далеко неравномерно, создавая эфемерные богатства в одних странах на зависть другим. Обыденные этим золотым наводнением особенно остро восприняли доктрину о золоте как квалифицированном богатстве. Таков был, напр., английский меркантилизм. И преклонение перед золотым тельцом оказывается столь живучим, что даже в середине XVIII в. такой выдающийся экономист, как Кантильон, остается в его власти. По его мнению, «пункт, которым, повидимому, определяется относительное величие государств, составляет резервный фонд (*corps de réserve*), который они имеют сверх необходимого для ежегодного потребления, как, например, магазины сукна, полотна, хлеба и т. д., чтобы удовлетворять потребности в бесплодные годы, в случае нужды или войны. И поскольку на золото или серебро могут постоянно покупать все это даже у врагов государства, то истинным резервным фондом государства следует считать именно золото и серебро, так что наличие весьма большого или весьма малого количества их в действительности необходимо определяет сравнительное величие стран и государств»<sup>1</sup>). Таким образом, драгоценные металлы были для Кантильона идеальным воплощением богатства, благодаря своей международной покупательной силе.

Но, вместе с тем, Кантильон развивает и оригинальную теорию, подлежащую показывать, что страны-обладательницы больших золотых запасов располагают большими преимуществами перед другими государствами во внешней торговле. Обилие золота вызывает рост товарных цен, и, след., другим странам приходится платить втридорога за товары, приобретаемые у них. В результате, за день труда нация может приобрести у других народов плод двухдневной работы<sup>2</sup>). Здесь мы снова наталкиваемся все на

ту же обычную веру в возможность разбогатеть за счет других народов.

Поиски социальной алхимии, т. е. способов создать новое богатство без труда, «из ничего», шли еще в одном направлении. В начале XVIII века меркантилистическая фантазия была вновь окрылена идеей обогащения путем печатания бумажных денег и кредитных документов. Издержки этого «производства» ничтожны, доходы безграничны. Отсюда—возможность сказочного прироста богатства. Впервые в грандиозном масштабе попробовал использовать волшебную стихию кредита шотландец Джон Ло. Усиленные выпуски бумажных ценностей—банковых билетов и акций—должны были стимулировать расцвет народного хозяйства.

Как замечает трезвый и положительный Стюарт спустя полвека после краха предприятия Ло, «никто не мог понять, откуда взялся кредит; что создало в короткий срок такие горы богатств и какое волшебство и навождение заставило допустить исчезновение всего в одно мгновение, на протяжении одного единственного дня... Это был словно золотой сон, в который была погружена в течение короткого промежутка времени в 506 дней французская нация и большая часть Европы»<sup>3</sup>). В отличие от денежной доктрины средневековья, Ло был очень далек от мысли о присвоении деньгам произвольной ценности. Но он считал, что в странах с недостаточно развитым денежным обращением новые выпуски могут сыграть роль могучих возбудителей промышленности и, особенно, торговли. Функция денег в государстве аналогична работе крови в человеческом организме: прибавьте кровяных шариков, и организм получит жизненный приток сил и энергии. Особенно, однако, интересно мнение Ло о том, что обилие денег в стране должно вызвать понижение процента на капитал, которому он приписывал благотворительное влияние на все народное хозяйство. Вместе с тем, понижение процента должно было разрешить и проблему государственного долга Франции, занимавшую изобретательный ум Джона Ло. После смерти «Великого монарха», Людовика XIV, в 1715 г. осталось неимоверное количество долгов. Государственное банкротство казалось неминуемым. Одним из средств, придуманных Джоном Ло для уменьшения тяжелого бремени долга, явилось понижение процента. Долги Людовика XIV оплачивались 4-мя процентами. Ло хотел добиться сокращения

<sup>1</sup>) Cantillon, *Essai sur la nature du commerce en général*. Londres, 1756, стр. 120—121.

<sup>2</sup>) Cantillon, назв. соч., стр. 251.

<sup>3</sup>) Steuart, т. III, Iena, 1914, стр. 31—32.

этой нормы вдвое. «...Изобилие денег, которое понизит норму процента до двух, улучшит положение короля, сеньеров, обогатит коммерсантов и даст возможность приложения труда народу»<sup>1</sup>). Понижение процента должно было, в частности, способствовать укреплению иллюзии относительно возможности создания народного богатства путем эмиссии бумажных ценностей. Согласно господствующей на бирже системе расценки, при одном и том же денежном доходе какая-нибудь облигация или акция ценится тем выше, чем ниже уровень процента на капитал в данной стране. Поэтому неудивительно, что Ло, вызвав, благодаря переполнению рынка деньгами, искусственное понижение процента до намеченной нормы (2%), стимулировал необычайный рост всех курсов. Легковерие публики достигло необычайных пределов. Достаточно было обещания Ост-Индской компании, которую руководил Ло, увеличить сразу дивиденд в десять раз по сравнению с предыдущим годом, чтобы поднялись в соответствующей пропорции и цены акций. Многие сказочно наживались на этой биржевой горячке.

В «Персидских письмах» Монтескье дано красочное изображение атмосферы, в которой выросла система Ло, и ее патологического действия на экономические отношения. По его словам, система финансового управления Франции резко отличается от персидской или турецкой. «Здесь гораздо больше тонкости и таинственности; нужно, чтобы великие гении работали день и ночь; чтобы они беспрестанно, и притом в муках, рождали новые проекты; чтобы они выслушивали советы множества людей, работающих на них непрестанно; чтобы они уединялись и жили в тиши кабинета, недоступного для великих и священного для малых; чтобы их голова была постоянно наполнена важными секретами, волшебными планами, новыми системами; чтобы, погруженные в свои размышления, они были лишены дара слова, а иногда даже забывали правила учтивости». Иностранец, взявшийся искоренить «внутренний порок», которым страдали французские финансы после смерти Людовика XIV, произвел полный переворот в имущественных отношениях. «Все те, кто был богат, вот уже 6 месяцев как повергнуты в нищету, а те, кто не имел хлеба насущного, захлебываются в богатстве. Никогда еще эти две крайности не соприкасались так близко. Иностранец вывернул наизнанку государство, как старьевщик выворачивает платье... Бог не возвеличи-

вает с большей быстротой из ничтожества...»<sup>2</sup>). Рано или поздно, однако, это сказочное обогащение должно было прекратиться, а нации пришлось пробудиться от полутрехгодового золотого сна.

Как повестует известный нам Стюарт, «системе, стойко выдерживавшей жесточайшие удары, суждено было рухнуть из-за ребяческой причуды». Циркуляция необычайного количества бумажных ценностей вызвала интенсивный рост цен. «В очень ученом совещании» было решено, вследствие этого, уменьшить вдвое номинальную ценность как банкнот, так и акций, обращавшихся в то время во Франции. «Как только было опубликован этот декрет (*arrêt*), как вся бумажная постройка разлетелась в прах. На другой день, 22-го мая (1720 г.), можно было умереть с голоду с сотнями миллионов бумажных денег в кармане»<sup>3</sup>).

Таков был трагический финал авантюры. Интересно, однако, что, разбираясь в причинах краха, современники винили Ло не в легкомысленном попрании естественных законов народного хозяйства, а всего лишь в том, что у него не хватило искусства для завершения столь блестяще начатого дела. Так, Дюто писал в защиту Ло: «Это было прекрасное здание, сооруженное искусным архитектором, но его фундамент был рассчитан на возведение на нем всего трех этажей... В конце концов, игнорируя общественное благо и выгоды, которые могли быть извлечены государством из этого учреждения, образовалась могущественная клика заговорщиков против воздвигшего здание архитектора; и для его низложения она воспользовалась своим кредитом, чтобы побудить правительство довести постройку до семи этажей, вопреки воле архитектора. Фундамент не выдержал этой перегрузки, и здание превратилось в сплошные развалины. И тут же Дюто восклицает с неподдельным энтузиазмом: «Это было нечто вроде чуда, в которое потомство ни за что не поверит»<sup>4</sup>).

Таким образом, еще одна попытка произвести социальные чудеса при помощи человеческого искусства рушилась. Внешняя торговля и печатание бумажных денег оказались в равной мере неспособными создать «чистый избыток», т. е. дать превышение дохода над затратами.

<sup>1</sup>) Oeuvres de Montesquieu. «Lettres persanes». Paris, cit. no 1819, стр. 401-403.

<sup>2</sup>) Steuart, назв., соч., т. III, стр. 60-62.

<sup>3</sup>) Économistes-financiers du XVIII<sup>e</sup> siècle. Dutoit. Reflexions sur le commerce et les finances. 2<sup>e</sup> éd., Paris, 1851, стр. 866.

Шрейн.

<sup>4</sup>) Цит. у P. Cayla. Les théories de Law. Paris, 1909, стр. 65.



Меркантилизм приступил к строительству промышленности с той же идеей искусственного стимулирования общественного благосостояния. Меркантилисты хотели организовать промышленность, т. е. вызвать ее расцвет мерами регулирования и регламентации каждого шага промышленной деятельности. Промышленность превращалась в тепличное растение, за которым нужен не-престанный и заботливый уход. В промышленности меркантилисты видели, главным образом, орудие для увеличения товарной массы, годной для вывоза за границу. Поэтому для облегчения сбыта промышленной продукции считалось необходимым производить товары как можно дешевле, добиваясь понижения издержек производства все теми же искусственными приемами. В частности, запрещение вывоза хлеба должно было обеспечить промышленности дешевые рабочие руки. Но в жертву промышленному развитию приносились, таким образом, интересы сельского хозяйства. В результате, искусственно взрожденный цветок не находит вокруг себя питательных веществ, которые могли бы поддержать его существование, так как при нищете сельско-хозяйственного населения промышленность не имеет надежной опоры внутри страны в широком народном спросе. Поэтому тепличная меркантилистическая промышленность обнаруживает крайнюю неустойчивость своих жизненных сил. Она то хиреет, то вновь оправляется. Ее часто постигают жестокие кризисы, потрясающие до основания ее немоющее тело. Меркантилизму лишний раз пришлось убедиться в ненадежности приемов, применяемых им для ускорения процесса общественного обогащения.

В XVIII веке постепенно назревает глубокая реакция против меркантилистической системы всеобъемлющей опеки народного хозяйства и постоянного вмешательства во все экономические отношения. Свободолюбие и самоопределение личности—эда ли не самые характерные идеи эпохи. Французское общество увлекается культом разума и культом природы. Наука торжествует над религией. Идея стихийной закономерности выживает прыдь за прыдь веру в социальные чудеса из области знания. Прочным фундаментом общественных наук становится концепция естественного закона, которому должны безропотно подчиняться люди. Однако, у провозвестников новой экономической идеологии—физиократов—в систему естественных законов прокрадывается внутренняя двойственность: с одной стороны, общественное производство представляет царство бесспорной механической закономерности, осужденное на постоянное

повторение в одних и тех же формах. Ценность, вновь созданная, равна издержкам производства. Нового богатства в такой системе нет, да и быть не может. Стихийная закономерность общественной жизни осуждает народное хозяйство на постоянное верчение в колесе. Никакими искусственными мерами не изменить этого непреложного порядка вещей. Наоборот, неразумное, невежественное вмешательство государственного деятеля может лишь свергнуть народное хозяйство в разорение и нищету.

Но физиократы все же не могут расстаться со сладкой мечтой о быстром, феерическом обогащении. Стихийная закономерность и социальное чудо переплетаются у них в своеобразную гармонию. Человеческое искусство не делает чудес. Это—привилегия высшего существа, бога. Труд не создает чистого избытка,—его дарует человеку природа. Физиократы наделяют этой благодатной способностью производить чистый продукт землю. Таким образом, все народное хозяйство оказывается замкнутым в строгие рамки экономической необходимости, но в этом замкнутом кругу все же обнаруживается лазейка, чрез которую природа подносит человеку свой «чистый дар». Вот почему система физиократов проникнута радостным оптимизмом. Они льстят себя надеждой, что открыли источник увеличения богатства. Меркантилистический дух живет и в них. Мы еще увидим, какие грандиозные планы общественного обогащения они выдвигают для использования чудесной способности земли.

Даже Адам Смит не остается чужд этой традиции экономической мысли связывать рост народного благосостояния с каким-нибудь фактором, обладающим магической силой приращения богатства. У него ключом к разрешению задачи экономического преуспевания общества является разделение труда. Смит не без затруднений отыскивает разделение труда в рамки естественной закономерности общества. Но он уже ясно сознает, что использование могучего источника богатства зависит не от законодательной политики, а от известных экономических условий. Только Рикардо окончательно изгоняет идею социального чуда из политической экономии. У него экономическая наука превращается в математику. Формулы не оставляют места для божественного вмешательства. Природа отказывается осыпать человечество богатством в награду за послушание установленным ею естественным законам. Но, вместе с тем, преобладающим фоном в его построениях вместо обилия становится скудость. Рикардо—родоначальник пессимизма в политической экономии.



Марксу удалось найти синтез всех этих противоречивых исканий его предшественников. У него чистый избыток из чуда превратился в результат стихийной закономерности. Общественный труд создает этот ценностный прирост, принимающий у Маркса форму прибавочной ценности. Труд является источником этой прибавочной ценности не благодаря каким-нибудь магическим своим свойствам, а благодаря органическому росту производительности труда в процессе экономического развития.

Так завершилось долговременное единоборство идеи стихийной закономерности и социального чуда. Мы теперь обратимся к детальному рассмотрению каждого этапа пройденного политической экономией в этом направлении пути.

## ГЛАВА II.

### Аграрный мистицизм.

(Торжество и падение физиократического учения).

«Нация, пресыщенная стихами, трагедиями, комедиями, романами, операми, романтическими историями и нравственными размышлениями еще более романтического характера, увидела в один прекрасный день, что она может рассуждать о хлебе».

Вольтер. Цит. у П. Moride. Le produit net des physiocrates et la plus-value de Karl Marx. Paris. 1908.

История экономических идей представляет смену не отдельных мнений, а цельных, законченных систем. Кенэ, Рикардо, Сен-Симон, Маркс были создателями таких систем. Учение каждого из них было подхвачено сплоченным ядром правоверных последователей, конституировавшихся в «секты», «клубы», «партии», «союзы». Физиократические сборища в доме Мирабо, заседания Лондонского клуба политической экономии, объединявшего экономистов-классиков, организация сенсимонистами менильмонтанской общины во главе с «патриархом» Анфантенном, представлявшей «настоящую церковь», роль Маркса в научном социализме и в рабочем движении—все эти отдельные эпизоды из истории экономической мысли показывают, как глубоко затрагивают общественное сознание экономические проблемы и как каждая эпоха выдвигает своих теоретиков, умеющих обобщить неформировавшееся общественное мнение в законченную и стройную систему, резко обособляющуюся от старых доктрин.

Сектантский дух был особенно подчеркнутым у физиократов. Они отличались фанатизмом, нетерпимостью к чужим идеям и преувеличенным до смешного представлением о значении пропагандировавшихся ими идей. Во главе «секты» стояли представители трех поколений: старик Кенэ, родившийся еще в XVII веке и обратившийся к занятиям политической экономией лишь на склоне лет, маркиз Мирабо, бывший моложе своего учителя на два десятка лет, и, наконец, пылкий Дюпон-де-Немур, воспринявший физиократическое учение со всем энтузиазмом едва оперившегося юнца. Честь создания доктрины почти целиком принадлежит Кенэ. Один из лучших знатоков физиократического движения проф. Огнен категорически заявляет: «Процесс развития совершился только в голове Кенэ. Ни один из его учеников не принимал в этом участия»<sup>1)</sup>. Другой авторитет, французский экономист Шелль, правда, наоборот, предостерегает, что «было бы ошибкой думать, будто их (физиократов) система вышла совершенно сформировавшейся из головы ее творца—Кенэ. Она складывалась мало-по-малу, она преподносилась по частям публике как учителем, так и учениками в статьях, брошюрах, книгах, с рядом последовательных изменений»<sup>2)</sup>. Однако, эта эволюция доктрины касалась несущественных деталей. Остов доктрины был создан действительно одним Кенэ. К этому следует лишь добавить, что экономическое учение физиократов получило наиболее отделанную формулировку у Тюрго, который, как увидим ниже, не был членом «секты».

Кенэ был, без сомнения, исключительной личностью. Он происходил из мелкобуржуазной, даже полукрестьянской семьи, хотя биографы XVIII века непременно хотели превратить его если не в дворянина, то хоть в приличного буржуа. «Титул крестьянина звучал плохо; в нем еще оставался какой-то привкус рабства»<sup>3)</sup>. Своим горбом выживших в люди и дойдя до сравнительно независимого и обеспеченного положения постоянного врача фаворитки Людовика XV, маркизы Помпадур, и врача-консультанта при короле (médecin consultant du roi), Кенэ получает маленькую квартиру в «антресолях» Версальского дворца, из которой он может наблюдать вблизи придворную жизнь. Как писал Кенэ

<sup>1)</sup> Проф. Авг. Огнен. История политической экономии до А. Смита. С. II Б. 1908, стр. 321.

<sup>2)</sup> G. Schelle. Le docteur Quesnay, chirurgien, médecin de m-me Pompadour et de Louis XV, Physiocrate, Paris, 1907, стр., 211.

<sup>3)</sup> G. Schelle, наав. соч., стр. 21.

своему другу: «Я достал себе небольшую ложу для того, чтобы лучше видеть главных актеров мировой сцены. Я вижу главную правительственную квартиру»<sup>1)</sup>. Из людского потока, пронесшегося ежедневно по Версальскому дворцу, значительная часть считала необходимым посетить доктора, бывшего другом и доверенным лицом маркизы.

«В нем много ума; в нем ума хватит на дьявола», говаривали о Кенэ. Кенэ был умелым спорщиком и диалектиком. «Он никогда не спешил с догматическим утверждением своего мнения. Рядом хорошо поставленных вопросов он приводил вас к тому, что вы сами выводили в качестве заключения то, что он хотел бы вам поднести в качестве принципа». С этим тонким умением использовать сократические приемы в споре, Кенэ, по утверждению одного из его учеников, соединял большое благородство характера: «Не было человека, который лучше умел бы избежать обострения полемики. Он спорил всегда ради истины, но не из самолюбия. Покой его возраста выражался в мягкости выражения лица и в веселости его ума, которых никогда не могли омрачить даже самые жестокие страдания». В этой характеристике, вероятно, есть доля партийного увлечения. С другой стороны, противники не жалели красок, чтобы выставить отрицательные стороны Кенэ и его «слики». Вот что пишет, напр., Гримм об «отъявленном цинике» Кенэ: «Старик Кенэ имеет все качества, необходимые для главы секты. Он превратил свою доктрину в пеструю смесь общих мест и таинственных оснований. Сам он пишет мало, и если пишет, то совсем не для того, чтобы быть понятым... Он третирует своих учеников свыше меры. Он любит унижать их, когда они собираются вокруг него с широко разинутыми ртами, чтобы внимать его проорациям»<sup>2)</sup>. Эта ядовитая характеристика, повидимому, довольно далека от истины. Если у Кенэ и была некоторая склонность к резкости выражений<sup>3)</sup> и к сарказмам, то все же, в общем и целом, Кенэ был честной и глубоко убежденной натурой, преданной до фанатизма своим идеям.

Наконец, Шелль дает такую характеристику личности главы физиократической школы, свободную от обеих крайностей: «Этот

человек невысокого роста, неприятнейшей наружности, дававшей основания для сравнения с Сократом, с полным отсутствием элегантности и знания обычаев света, был в придворных кругах не более, чем подчиненным лицом, одним из слуг дома фаворитки; однако, даже весьма знатные особы являлись с визитом в его убогое жилище... Чаще всего эти приветствия нужно относить на счет не самого доктора, а доверия, которым он пользовался. Он лечит короля, который удостоивает его беседы. Он лечит наследника, который, повидимому, любил его. К его мнениям прислушивается *monseigneur* Помпадур. Нужно, следовательно, быть с ним ласковым. Его можно было заподозрить в робости, потому что, не обладая хорошими манерами, он подчас как бы тяготился сам собой. Но он знал людей, и его проникновенный взор читал в их сердцах. Если он обнаруживал там прямоту, то он проявлял себя тем, чем был в действительности: добрым, услужливым, верным. Если же он видел ханжество, то он поражал таких людей жестокими эпиграммами, хотя бы они занимали при дворе самое высокое положение»<sup>4)</sup>.

Кенэ не был особенно начитан в экономической литературе своего времени. Скорее он питал склонность к философскому чтению. Он изучал еще в молодости греческих философов, а из философских систем нового времени его больше всего увлекали построения Мальбранша. По словам его биографа, Кенэ не был эрудитом в экономических вопросах. Он читал, но гораздо больше наблюдал и размышлял. По всей вероятности, «он взращивал свои идеи в тиши прежде, чем пускать их в свет», как говорит Лаверь, и он взращивал их на поучительных фактах, проходивших перед его глазами. Он искал в природе того, чего нет в книгах, сказал также о нем Дюпон-де-Немур»<sup>5)</sup>.

Колоритная фигура Мирабо очень мало напоминает облик его учителя. Этот «чудаковато-патриархальный», по выражению Маркса<sup>6)</sup>, феодал принадлежал, по собственному признанию, к «ненстовой расе»<sup>7)</sup>. Необычайная стремительность действий, легкая воспламеняемость, несколько театральная восторженность были отличительными чертами его натуры. Когда он явился к Кенэ для догматического спора, в котором, по его словам, «Голиафу,

<sup>1)</sup> Г. Гиггс. Физиократы. Французские экономисты XVIII в. С. П. Б., 1899, стр. 18.

<sup>2)</sup> G. Weulersse. Le mouvement physiocratique en France de 1756 à 1770. T. I. Paris, 1910, стр. 57.

<sup>3)</sup> Ср., напр., описание обращения в физиократическую веру маркиза Мирабо у А. Онкена, назв. соч., стр. 325—326.

<sup>4)</sup> G. Schelle. L'économie politique et les économistes, стр. 115.

<sup>5)</sup> Schelle, назв. соч., стр. 189.

<sup>6)</sup> К. Маркс. Теория прибавочной стоимости. Вып. I, СПб., 1906, стр. 41.

<sup>7)</sup> Гиггс, назв. соч., стр. 38.



(т. е. самому Мирабо) раскроили череп», он был уже один из самых популярных писателей Франции, благодаря выпущенному им труду «l'Ami des hommes», доставившему ему «настоящий триумф». «Люди ссорились из-за его портретов, устраивали давку, чтобы видеть его на богослужениях, где он присутствовал; при этом платили за стулья до 12 су. Дофин утверждал, что знает эту книгу сердцем и называл ее книгой честных людей. Ее имя красовалось на вывесках лавок. С 1757 до 1760 г.г., вышло 20 изданий сочинений маркиза, на которых издатели получили 80 тысяч ливров прибыли»<sup>1)</sup>. Мирабо проповедывал в этом сочинении мысль о том, что многочисленное население является основой народного богатства. Эта мысль, как увидим ниже, представляется еретической в свете физиократического учения. Поэтому Мирабо писал впоследствии, что он был «не лучшим экономистом, чем его кошка»<sup>2)</sup>. Несмотря на ореол славы, которым Мирабо был окружен, он целиком приносит в жертву воспринятому им физиократическому вероучению собственные научные убеждения и становится ревностным пособником своего великого учителя.

Дюпон-де-Немур был моложе Кенэ на целых 45 лет. На его долю выпала популяризация доктрины и хранение ее традиций. Прожив долгую, полную превратностей жизнь, он скончался в Соединенных Штатах в 1817 г.; он пережил крушение физиократии на целых сорок лет и был свидетелем полного забвения этой системы со стороны неблагоприятных потомков, воспитавшихся на физиократических идеях<sup>3)</sup>. Дюпон-де-Немур был одним из наиболее плодотворных писателей школы, отстаивавшим, вместе с тем, со строгим ригоризмом каждую букву физиократической догмы. Он был не столько ученым, сколько журналистом. Ему пришлось редактировать физиократический журнал *Ephémérides du citoyen* в период наибольшего успеха секты.

Рядом с этим триумvirатом, возглавлявшим школу физиократов, нужно поставить Тюрго, одного из самых образованных и просвещенных людей своего времени, великого министра-реформатора. Мы выделяем его из среды прочих физиократов потому, что он всегда отрекся от участия в физиократической «секте». По словам Тюрго, «никогда не образуют секты для утвер-

ждения истины, а всегда для утверждения лжи»<sup>4)</sup>. В его переписке с Дюпоном приходится постоянно наталкиваться на дружеские советы физиократам изжить этот сектантский дух, который так неприятно поражает внешнего наблюдателя<sup>5)</sup>. В известных письмах к главному контролеру аббату Террей о хлебной торговле Тюрго как бы считает необходимым оправдать совпадение своих мыслей о внешней торговле с физиократическим учением. Предубеждение против физиократов вызывается, по его словам, их сектантским духом и восторженным тоном; но «их энтузиазм не помешал им развить с большой ясностью ряд превосходных истин»<sup>6)</sup>. Тюрго расходился с физиократами в некоторых деталях учения, и когда фанатичный Дюпон сделал несколько исправлений в тексте присланной ему Тюрго для напечатания в журнале физиократов рукописи «Размышления об образовании и распределении богатств», Тюрго пишет неугомонному редактору: «Какие исправления вы сделали! Смешать употребление капиталов с их образованием! Назвать расходом доход и вообразить, что сберегать и тесаврировать это синонимы! Какое смешение идей или скорее терминов, и все это для того, чтобы покрыть несколько неправильных выражений, сорвавшихся с языка у добрейшего доктора в его первых сочинениях. О, сектантский дух!». В другом письме к Дюпону он замечает: «Логика не является сильной стороной экономистов. Их недостатком вообще нужно признать желание идти слишком быстро и не анализировать с должной тщательностью смысла слов»<sup>7)</sup>. Однако, все эти расхождения не мешали Тюрго питать к основателю физиократической секты самые добрые чувства и называть его «патриархом»<sup>8)</sup>. Когда Кенэ оставляет, за несколько лет до своей смерти, занятия экономическими вопросами, чтобы отдаться геометрии, и проявляет при этом признаки старческого слабоумия, то Тюрго, узнав о его намерении печатать свою геометрию, с горечью восклицает: «Ведь это скандал из скандалов! Ведь это затмение солнца»<sup>9)</sup>.

Следует признать, что среди физиократов и примыкавших к ним мыслителей и общественных деятелей Тюрго отличался наи-

<sup>1)</sup> Weulersse, назв. соч., стр. 53.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 54.

<sup>3)</sup> Срв. его письма к Ж. Б. Сэ. *Oeuvres diverses de J. B. Say. Paris, 1848, стр. 361 и сл.*

<sup>4)</sup> H. Denis. *Histoire des systèmes économiques et socialistes. T. I, Paris, 1904, стр. 132—3.*

<sup>5)</sup> Turgot. *Oeuvres, T. III, стр. 13, 77 и др.*

<sup>6)</sup> Там же, T. III, стр. 270.

<sup>7)</sup> Там же, T. III, стр. 498.

<sup>8)</sup> Там же, T. II, стр. 22.

<sup>9)</sup> Там же T. III, стр. 78.



попытках обзавестись печатным органом. В 1767 г. физиократия окончательно конституируется в партию или секту, и пропаганда приобретает свою окончательную организацию. Собrania физиократов происходили дважды в неделю у Мирабо. В одном из писем Тюрго, относящихся к 1767 г., он высказывает сожаление, что не может быть на «экономическом вторник»<sup>1)</sup>. По словам Велерса, «вторники служили не только для поддержания единства партии. Их стремились использовать для обращения в свою веру тех из присутствовавших лиц, которые не высказали еще окончательного признания системы»<sup>2)</sup>. Председательствовал всегда Кенз. Его заместителем был Мирабо, в качестве первого ученика, обращенного в физиократическую веру, и в качестве хозяина дома. Сезон открывался в начале зимы и закрывался в конце весны торжественными речами Мирабо. На лето все разъезжались по деревням<sup>3)</sup>.

Собрания становились необычайно популярными, и энтузиаст Мирабо сообщал брату, захлебываясь от восторга, о непрестанно прибывающих новых членах, пророчествуя, вместе с тем, о революции в политике наций, подготовляемой физиократами<sup>4)</sup>. Физиократы, однако, рассчитывали произвести эту «революцию», конечно, не при помощи масс. Они облюбовали для этой цели не кого иного, как... фаворитку короля, маркизу Помпадур. «Кенз убедил г-жу Помпадур, что она любит земледелие и что она должна играть большую политическую роль»<sup>5)</sup>. Но Помпадур умерла весьма нескоти в 1764 г. Тем не менее, физиократическая пропаганда, бесспорно, была одним из событий придворной жизни. Даже придворные дамы высшего ранга знали, хотя бы по имени, прославленную теорию доктора маркизы<sup>6)</sup>. Физиократы постоянно выступают в прессе, их теории обсуждаются в философских салонах, имевших в тогдашних французских условиях столь важное значение. М-ме де-Марше не побоялась некоторого комического элемента, заключавшегося во внесении в салон, вместо философских теорий или споров об искусстве, пресного обсуждения агрономических вопросов, и, открыто став на сторону физиократов в эпоху, когда все было либо за, либо против них, немало поспособство-

вала их успеху. «М-ме де-Марше удивляла и восхищала даже тех, кого не обращала в свою веру»<sup>7)</sup>.

Чтобы понять все значение произведенного физиократами шума, нужно принять во внимание одну своеобразную черту общественной жизни тогдашней Франции: «Во Франции XVIII века еще больше, чем в России начала XX века, книги были событиями. Они могли поэтому бесспорно служить чему-то более важному и лучшему, чем созданию школы: они формировали общественное мнение»<sup>8)</sup>.

Однако, именно поэтому «поземельное евангелие» физиократов и его сектантская проповедь не могли не встретить жестокой оппозиции. Враги физиократов в большинстве случаев не были экономистами. Они не могли сражаться против них равным оружием и поэтому прибегали к насмешке, зная ее силу и памятуя, что «от великого до смешного—один шаг». Не разбираясь даже в подлинном смысле физиократических теорий, они боролись против них во имя эстетики. Недаром один из наиболее неугомонных противников школы Кенз философ-энциклопедист Гримм писал: «Мое последнее обвинение против земледельцев-экономистов и их вторников состоит в том, что они противники изящных искусств. Все те, кто не тащится позади плуга, являются в их глазах бесполезными и почти что опасными гражданами, особенно если они не посещают вторников Мирабо»<sup>9)</sup>. Гримм жестоко вышучивал физиократов за то, что их «клика» имела «свой культ, свои церемонии, свой жаргон и свои мистерии». Его возмущал их «апокалипсический и ханжеский язык». «Они хотели бы», писал он, «сделать из земледелия мистическую науку божественного происхождения и охотно приняли бы на себя роль теологов в этой игре»<sup>10)</sup>. Другой противник физиократии Ленге, настаивая на своем обвинении физиократов в партийной замкнутости, восклицал: «Вы не являетесь партией? Очевидное налицо. Ваши таинственные слова: физиократия, чистый продукт; ваш мистический жаргон: порядок, наука, учитель; ваши почетные звания, которыми вы награждаете своих патриархов; ваши венки, которыми вы забрасываете в провинции неизвестных, но превосходных людей. ...Вы не представляете партии? У вас есть боевой клич, знамена, мор-

<sup>1)</sup> Turgot, Oeuvres, т. II, стр. 678.

<sup>2)</sup> Weulersse, назв. соч., стр. 133.

<sup>3)</sup> Там же.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 192—93.

<sup>5)</sup> Schelle, Economie politique, стр. 178.

<sup>6)</sup> P. Moride, назв. соч., стр. 14.

<sup>7)</sup> Weulersse, назв. соч., стр. 216—217.

<sup>8)</sup> L. Cheinisse, Les idées politiques des physiocrates, Paris, 1914, стр. 17.

<sup>9)</sup> Weulersse, назв. соч., стр. 145.

<sup>10)</sup> Там же, стр. 144—145.

тиры, трубач (Дюпон), определенный формат для ваших книг и знаки, как у масонов. Вы не представляете секты? Нельзя задеть кого-нибудь из вас, чтобы вы все не бросились к нему на помощь. Вы все превозносите и восхваляете друг друга и нападаете и унижаете своих противников, пользуясь для этого совсем недостойными выражениями. Вдохновенным тоном вы серьезно обсуждаете, в какой именно день был начертан символ вашей веры, образцовое произведение—экономическая таблица; символ столь таинственный, что потребовались бы огромные фолианты для его объяснения. Это точно Коран Магомета. Вы жаждете принести свою жизнь в жертву вашим принципам и толкуете о своей апостольской миссии<sup>1)</sup>.

Наибольшую популярность своими нападками на физиократов приобрел аббат Галиани, талантливый писатель «с телом арлекина и головой Маккиавелли», по выражению Мармонтеля. Шелль напрасно уверяет, что аббат был более известен легкостью нравов, чем своими познаниями в области политической экономики<sup>2)</sup>. Галиани был автором двух отличных работ, из которых одна посвящена деньгам, другая—хлебной торговле. Во всяком случае, сочинения Галиани обращали на себя всеобщее внимание, благодаря тому, что они были написаны блестящим и остроумным слогом. К физиократам наш аббат относился с язвительной иронией, хотя и признавал за ними чистоту намерений. Так, в своих «Беседах о торговле зерном» Галиани пишет: «Добродетель, желание блага есть в нас такая же страсть, как и все другие. Она редка, но когда встречается, то бывает жестокая; она жесточе всякой другой, ибо, когда нас одушевляет жало добра, узда никакого угрызения совести нас не останавливает. Эта жестокость и пламень страсти производят энтузиазм, человек убеждает себя без разбора в истине того, чего желает, убеждает и других пламенной речью и тем, что говорит человек добродетельный. Всех доводов не приводят, но блещут искренностью истины, мужеством добродетели, огнем собственного убеждения и увлекают других, которые не видят никакого побуждения к недоверию. Верьте мне, никогда не бойтесь плутов или злых людей,—рано или поздно они открываются. Бойтесь заблуждающегося честного человека, он убежден искренно, он хочет блага, и все ему верят; но, к не-

счастью, он ошибается на счет средств доставить его людям»<sup>3)</sup>. Однако, в пылу полемики Галиани стал принимать все более и более злобный тон и осыпал физиократов жестокими насмешками. В письмах к своей приятельнице, m-me d'Épinau, Галиани не жалел сарказма, а письма эти, по желанию самого аббата, попадали в руки Гримма, читались в кругу энциклопедистов и становились общественным достоянием. Вот образчик этих насмешек, срывавшихся с пера аббата: «Дюпон окончательно убедил меня в том, что я подозревал уже с давних пор: экономисты представляют собой настоящую секту иллюминатов. Они имеют пророчества, легенды, видения, и все это покрыто флером наркотической скуки. Если хотите правды, то я считаю Кенз Антихристом, а его сельско-хозяйственную физиологию—Апокалипсисом... В другом письме фантазия аббата заставляет физиократов и даже физиократ (герцогию де-Данвиль и m-me де-Марше) составлять аллегорические группы, не всегда достаточно благопристойные. Одна из них представляет двух физиократических аббатов на крыше деревенского домика, посвящающих свои труды и писания Гарпократу, богу молчания, сна и забвения; и бог в знак благодарности покрывает их, вместе с томами их сочинений, цветами, служащими символом сна; над группой—надпись по латыни: вечные ночи<sup>4)</sup>.

Вся эта оппозиция против физиократов на первых порах не обладала достаточной силой, чтобы помрачить их быстро развивавшийся успех. Физиократы оказывали влияние на законодательство и политические настроения, обсуждением их теорий занимались столбы журналов, их сочинениями интересовались корифеи французского просвещения этой эпохи: Вольтер, Руссо, энциклопедисты.

И все же физиократическим идеям суждено было прожить немногим более одного человеческого поколения. Первые статьи Кенз относятся, как мы знаем, к 1755—57 г.г. А вот каково было положение школы в момент смерти Тюрго, в марте 1781 г. «...Секта экономистов не существовала более. Кенз скончался в конце 1774 г. Маркиз Мирабо пал в глазах общественного мнения как писатель, а такое как человек, потому что его тяжбы с женой и ссоры с сыном были сопряжены со слишком большими сканда-

<sup>1)</sup> Цит. у Гиргса, назв. соч., стр. 110—111.

<sup>2)</sup> G. Schelle. Du Pont de Nemours et l'école physiocratique, стр. 139.

<sup>3)</sup> Галиани, назв. соч., стр. 154.

<sup>4)</sup> Lettres de l'abbé Galiani à m-me d'Épinau, Paris, 1881, стр. 68—69.



лами в его семье, чтобы его репутация осталась незадеваемой. Бодо возобновил в министерство Тюрго издание *Erhémerides*, при материальной помощи и моральной поддержке главного контролера, но новый журнал прожил всего несколько месяцев, и интриги его редактора отдалили от него наиболее испытанных старых друзей... Летрон и Лемерсье-де-ла-Ривьер печатали время от времени интересные работы, но, несмотря на былую славу и заслуги авторов, их писания проходили незамеченными<sup>1)</sup>. Так бесслвно окончилась история физиократии. В начале XIX века физиократы были безнадежно забыты, и лишь в 40-х годах французский экономист Дор положительно открыл их вновь. Признание огромного значения физиократического учения в истории развития экономических идей является сравнительно недавним достижением. Одним из первых оценил физиократов с этой стороны Маркс<sup>2)</sup>.

В основе физиократического учения лежала концепция естественного порядка—незыблемой общественной организации, функционирующей в согласии с вечными и неизменными законами природы. Физиократия—греческое слово, именно и означающее господство природы. Оно было, повидимому, выдуманно самим Кенэ, большим любителем составных греческих слов. Этой идеей закономерности общественной жизни проникнут уже «Дух законов» Монтескье, вышедший в 1748 году; но, по замечанию Шелля, «...Кенэ в большей мере, чем Монтескье, настаивал на существовании естественного порядка, не зависящего от вмешательства религиозных и политических законодателей»<sup>3)</sup>. Физиократы полагали, что этот дивный порядок предустановлен богом. Уродливые же формы правления «выдуманы людьми, слишком мало осведомленными о той теократии, которая как бы с помощью мер и весов установила раз навсегда взаимные права и обязанности людей, соединенных в общество»<sup>4)</sup>. Власть установления первоначальных общественных законов не может принадлежать никому, кроме всемогущего, который «все устроил и предусмотрел в общем строе вселенной: люди могут внести сюда лишь беспорядок, и этот беспорядок, которого им

<sup>1)</sup> G. Schelle. Du Pont de Nemours et l'école physiocratique, стр. 211—212.

<sup>2)</sup> Срв. В. Святловский. «Загадка Сфинкса» (Маркс и физиократы) в «Записках научного общества марксистов» № 5 (1) январь—июнь 1924 г. стр. 20.

<sup>3)</sup> Schelle. Le docteur Quesnay, стр. 157.

<sup>4)</sup> Quesnay, назв. соч., стр. 642.

следует избегать, может быть устранен лишь посредством точного соблюдения естественных законов»<sup>5)</sup>.

В основе естественного порядка в обществе лежит индивидуальное право каждого на вещи, годные для его пользования. Возможность пользоваться вещами закрепляется правом собственности. «Личная» собственность заключается в индивидуальной свободе, т. е. в праве по произволу располагать своими способностями и своим телом. Движимая собственность состоит из вещей, приобретенных трудом; затрата физических и моральных способностей служит достаточным оправданием для присвоения этих вещей. Наконец, поземельная собственность покоится на применении личной активности и движимых богатств для приведения земли в годный для обработки вид. Эти овеществленные в земле личные и движимые затраты создают обоснование для поземельной собственности.

Изложенное заставляет, казалось бы, думать, что осуществление естественного порядка требует полного отказа власти от вмешательства в социальные отношения. Для народного хозяйства сам Кенэ выразительно формулирует принцип свободы и невмешательства в таких словах: «естественная торговая политика заключается, след., в установлении свободной и неограниченной конкуренции, которая обеспечивает нации возможно большее количество покупателей и продавцов, что, в свою очередь, обеспечивает ей наиболее выгодную цену при ее продажах и покупках»<sup>6)</sup>. Между принципом стихийной закономерности и установлением свободы экономических отношений действительно существует глубокая внутренняя связь. Мы уже видели в главе I, как врезается в строй экономических отношений правительственная опека и регламентация, нарушая их естественный ход. В регулируемом хозяйстве все определяется планом и предначертаниями управляющего хозяйством центра. Таково, напр., домашнее хозяйство. Наоборот, при свободном проявлении каждым человеком его хозяйственной активности, из столкновения отдельных волей рождается какой-то прочный, закономерный порядок, стоящий как бы над волей отдельных личностей.

Таким образом, можно было бы думать, что физиократы, как впоследствии классики, должны были явиться сторонниками экономического либерализма. Лучшая система управления заключается для представителей этого направления в том, чтобы как можно меньше

<sup>5)</sup> Там же.

<sup>6)</sup> Quesnay, назв. соч., стр. 656.

Шелля.



управлять. Не такова была, однако, политическая программа физиократов. Они выступили защитниками т. н. «легального деспотизма». На власть возлагается функция опеки над подданными (*autorité tutélaire*) — совсем как у меркантилистов. Эта охранительная власть — божественного происхождения. Нация, как единое целое, не может, по их мнению, быть законодателем. Разделить власть — значит ее уничтожить. Лучшим правлением является правление одного. Монархия должна быть наследственной, а не выборной<sup>1)</sup>. В такие неожиданные формы выливаются политические верования физиократов. Правда, в их среде нет единогласия в политических вопросах. Тюрго не устает порицать идею легального деспотизма в письмах к Дюпону. Эта идея, по его словам, опозоривает и грязнит доктрину физиократов. Она является у них «наибольшей непоследовательностью из всех непоследовательностей». «Люди», по его словам, «не нуждаются в покровителях». Но мнение Тюрго не встречало у физиократов поддержки.

Было ли преклонение перед автократической властью действительной непоследовательностью физиократов? Автор специальной работы о политических идеях физиократов, вышедшей в Париже с предисловием М. М. Ковалевского, Шейнис приходит к заключению, что у физиократов легальный деспотизм должен был означать «деспотизм законов»<sup>2)</sup>. Монархическая власть должна быть лишь хранителем естественного порядка. Однако, сам Шейнис приводит суждения Кенз, требующие от правительства «решительного покровительства земледелию». «Процветание и деградация земледелия», пишет Кенз в другом месте, «зависят от одного только правительства»<sup>3)</sup>. След., на правительство возлагается не чисто пассивная роль, а проведение известной программы регулирования народного хозяйства. При этом, повидимому, физиократы полагали, что при монархическом строе больше шансов добиться осуществления политики покровительства земледелию. У физиократов есть еще другой мотив, объясняющий их склонность к монархической власти. Они видят в государственной власти сосуществование всех земель. Земля, как увидим в дальнейшем изложении, приносит собственнику «чистый продукт». Вся система физиократов вдохновляется стремлением повысить чистый продукт до максимума. Государство взимает налоги только с чистого продукта. След., оно за-

интересовано в проведении физиократических принципов в жизнь. Но понятие участия власти в собственности на все земли гораздо лучше согласуется с наследственной монархией, чем с появлением постоянно сменяющейся чиновничьей корпорации. Желая привлечь на свою сторону современное им французское правительство, ввести его в качестве крупного козыря в свою игру, физиократы и предпочли монархический принцип всякому другому. Недаром один из физиократов Летрон пишет: «Чем больше изучаешь организацию французской монархии, тем больше убеждаешься в том, что ее основа сама по себе очень хороша и что она заключает в себе все возможности для установления правительственного порядка». Все это не помешало, однако, физиократам участвовать до известной степени в подготовке революции. По словам М. М. Ковалевского, теория чистого продукта наложила свой отпечаток на указы 1789 г., обусловила декреты 4 августа, заключившие отмену всех феодальных привилегий, и содержалась в ряде статей декларации прав. Правда, физиократы меньше всего обладали революционным темпераментом. Один из вождей школы маркиз Мирабо вообще лишь с величайшим трудом смирил в себе, под влиянием Кенз, феодальную гордыню, постоянно прорывавшуюся в его писаниях. Другие физиократы тоже хотя и эволюционировали в политических отношениях, все же далеко не принадлежали к передовым людям своего времени. Недаром Руссо возмущенно критиковал политическую программу физиократов. Отвечая на попытку Мирабо обратиться к физиократической вере, Руссо писал ему: «Не говорите мне о вашем легальном деспотизме; я не могу ни оценить его смысла, ни даже понять его. Я не вижу в нем ничего, кроме двух противоречивых слов, которые в соединении ничего не значат для меня»<sup>4)</sup>. Физиократы подготовили революцию лишь в одном отношении. Их борьба против созданных меркантилизмом привилегий в области промышленности была в то же время борьбой с остатками феодализма, которые были сметены революцией.

Возвращаясь к естественному порядку. Восприятие его совершается путем очевидности, т. е. непосредственного постижения разумом. Кенз определяет очевидность, как «достоверность настолько ясную и несомненную, что разум не может отказаться от ее признания». Эта очевидность возникает из интимного наблюдения наших собственных чувств». Хотя человек получает эти чувства при

<sup>1)</sup> Gonnard, назв. соч., т. II, стр. 90.

<sup>2)</sup> Cheinisse, назв. соч., стр. 99.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 69.

<sup>4)</sup> Cheinisse, назв. соч., стр. 99.

посредстве «органов тела», и материалом для них служат внешние воздействия, но «эти чувствования сами по себе и разум являются непосредственным результатом божественного влияния на душу»<sup>1)</sup>. Таким образом, очевидность, в конце концов, нисходит на человека в путях божественной благодати. Рисуя брату картину успехов физиократии в уже цитированном письме, Мирабо, между прочим, радуется тому, что «очевидность... разливается в юных головах». Физиократы постоянно злоупотребляли этой очевидностью, прибегая к ее помощи при отсутствии других аргументов. С другой стороны, очевидность часто являлась для них результатом математического доказательства. Галиани с обычной язвительностью замечает об очевидности: «Очевидность—это плутровка, которая должна всему свету. Она обещала, давала расписки всем наукам, но заплатила только одним геометрам, которые, несмотря на это, остались все-таки нищими»<sup>2)</sup>. Эта связь очевидности с геометрией вполне понятна. Физиократы выводили свой естественный порядок не из опыта, а из некоторых общих принципов, господствующих в природе. Единый порядок всего мироздания покоится на действии непреложных законов, принимающих математическую форму. По мнению физиократов, политическая экономия не должна допускать субъективизма. «Изучение физических законов, которые все могут быть сведены к числовому учету (*au calcul*), предопределяет в ней даже ничтожнейшие результаты. Очевидность экономического порядка состоит в очевидности числового учета физических предметов, относящихся к нашим взаимным интересам». Это буквально «очевидность геометрическая и арифметическая»<sup>3)</sup>. Любопытно, что в диалоге о ремесленном труде Кенз заставляет своего воображаемого оппонента упрекнуть его в том, что «особенные принципы, метафизико-геометрические абстракции являются вашими обычными приемами в споре с теми, кто не привык к подобного рода диспутам»<sup>4)</sup>.

Но, предпочитая геометрические абстракции фактам действительной жизни, физиократы невольно лишили свои построения жизненных, исторических красок. Их «вечные» и «незыблемые» законы не подвержены действию времени. Как правильно замечает Маркс, «неизбежным образом буржуазные формы производства сталя-

ние, будто в сельском хозяйстве природа оказывает человеку большее содействие, чем в промышленности. Эту точку зрения поддерживал, вслед за физиократами, даже и Адам Смит. «Труд природы», по его мнению, «редко бывает менее  $\frac{1}{4}$ , а часто более  $\frac{1}{3}$  всего количества продуктов. Никогда такое же количество производительного труда, употребленное в мануфактуре, не могло бы дать столь значительного продукта. В мануфактурной промышленности природа не производит ничего, все производит человек». Рикардо покончил с этой легендой о мнимой большей производительности земледелия, благодаря содействию сил природы: «Разве природа ничего не делает для человека в мануфактурной промышленности? Разве силы ветра и воды, приводящие в действие наши машины и оказывающие помощь мореплаванию, не имеют никакого значения? Давление атмосферы и упругость пара, посредством которых мы приводим в движение самые удивительные машины, разве это не дары природы? Не говоря о действии теплоты, размягчающей и расплавляющей металлы, и об участии воздуха в процессах окрашивания и брожения, нет ни одной отрасли мануфактуры, в которой природа не оказывала бы помощи человеку, и притом помощи даровой и щедрой»<sup>1)</sup>.

Однако, чистый продукт и не является у физиократов непосредственным результатом одного лишь физического плодородия почвы. Для его получения необходимы и известные социально-экономические условия. Мы увидим ниже, что один и тот же участок земли может давать чистый продукт или быть лишенным его, в зависимости от применяемых на нем приемов обработки почвы. Понятие чистого продукта превращается у физиократов в категорию менового, денежного хозяйства, а чистый продукт оказывается из бытком ценности, создаваемым человеческим трудом в сельском хозяйстве, но отсутствующим в промышленности. Для промышленности физиократы устанавливали понятие необходимой цены, из которой могут быть возмещены только абсолютно-неизбежные расходы, сопряженные с производством. К ним физиократы относят издержки на сырье и на восстановление капиталов и заработную плату рабочего. По словам ла-Ривьера, «необходимые затраты, понесенные рабочим, составляют естественную цену его произведения»<sup>2)</sup>. Кенз также говорит:

<sup>1)</sup> Д. Рикардо. Сочинения, пер. Зибера. Спб., 1882, стр. 35—36.

<sup>2)</sup> Le Mercier-de-la-Rivière. L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767. Цит. по изд. Paris, 1910, стр. 311—312.

<sup>1)</sup> Quesnay назв. соч., стр. 764—65, 793.

<sup>2)</sup> Галиани, назв. соч., стр. 155.

<sup>3)</sup> Weulersse, назв. соч., стр. 122.

<sup>4)</sup> Quesnay, назв. соч., стр. 537.



«Продажная ценность этих продуктов есть не что иное, как продажная ценность первоначального материала и тех средств существования, которые рабочий потратил во время своей работы»<sup>1</sup>). Таким образом, рабочий рассматривается, как один из элементов производства, а уплачиваемая ему заработная плата представляет собою как бы возмещение необходимых издержек на его пропитание. Сообразно с этим, должен быть выделен особый класс людей, живущих на заработную плату, ограниченную минимумом средств существования. Эта мысль, развивавшаяся затем у экономистов классической школы в «железный закон» заработной платы, как известно, достаточно ясно формулирована в § VI «Размышлений» Тюрго: «Имея выбор между значительным количеством работников, наниматель предпочитает того, кто соглашается работать за самую низкую цену. Работники должны поэтому друг перед другом понижать цену за свой труд. При таком положении вещей во всех родах должен установиться и действительно устанавливается такой порядок, что заработная плата работника ограничивается лишь минимумом, необходимым для существования»<sup>2</sup>).

Тюрго, однако, сопровождает свое изложение «железного закона» весьма существенными оговорками. «Не следует думать», пишет Тюрго аббату Террей, «что это необходимое сведено к минимуму, без которого можно умереть с голода, до такой степени, что не остается ничего сверх этого, чем эти люди могли бы свободно распоряжаться, либо доставляя себе маленькие утехы (*petites douceurs*), либо, если они бережливы, накапливая маленький движимый фонд, представляющий их ресурс на непредвиденный случай болезни, дороговизны или безработицы». Об этом виде излишка Тюрго говорит, что он «представляет вещь крайне необходимую». И если происходит неожиданное понижение заработной платы или повышение расходов рабочего, то последний опять будет добиваться образования в заработной плате известного излишка или запаса на непредвиденный случай»<sup>3</sup>).

В письме к английскому философу и экономисту Юму Тюрго формулирует ту же теорию заработной платы. Он предлагает различать текущую цену, определяющуюся спросом и предложением, и фундаментальную цену, регулирующую для товаров издержками рабочего. Что же касается заработной платы, то ее фунда-

ментальная цена зависит от стоимости существования рабочего. Однако, это не все: «нужно, чтобы рабочий получал известную прибыль (*profit*), чтобы обезопасить себя от случайностей, чтобы воспитать семью»<sup>4</sup>). Итак, для Тюрго заработная плата всегда стоит несколько выше минимума и дает возможность экономному рабочему собрать небольшой денежный фонд. Между тем, весь смысл «железного закона» состоит в том, что рабочий не обладает никаким капиталом, так как при строгом ограничении заработной платы необходимыми издержками он ничего не может скопить. Его беззащитность перед капиталистом как раз обусловлена полным отсутствием у него «страхового фонда».

У многих представителей буржуазной политической экономии, которых причисляют к сторонникам железного закона, не исключая и классической формулировки Рикардо, мы найдем ту же оговорку, что и у Тюрго. Однако, историки идей, увлекаясь изложением основного хода рассуждений этих писателей, не замечали до сих пор оговорки, вследствие чего история доктрины заработной платы вырисовывается в несколько неправильной перспективе. Оправданием историкам может служить то обстоятельство, что даже и сами изучаемые ими авторы обычно игнорируют установленное ими же ограничение принципа и делают прямолинейные выводы из теории железного минимума. Именно такова картина и у физиократов. В их представлении необходимая цена промышленных изделий только компенсирует расходы на сырье, изношенную часть капитала и потребленную часть организма рабочего. Следовательно, если бы все товары продавались по необходимым ценам, никогда не могло бы происходить приращение общественного богатства. Иную картину дает земледелие. Сверх возмещения необходимых издержек, сельскохозяйственные продукты содержат какой-то избыток ценности. Этот избыток принципиально отличен от необходимого дохода рабочего. «Земледелец, кроме средств к существованию, приобретает независимое богатство, которым он может располагать по произволу, которое он не купил, а между тем продает»<sup>5</sup>). У Кенэ мы находим те же выражения: он говорит о «возрастании богатств, которыми можно располагать по усмотрению», о «всеобщего рода издержках, умножающих наслаждение и обеспечивающих благосостояние государств»<sup>6</sup>).

<sup>1</sup>) Turgot. Oeuvres, T. II, стр. 663.

<sup>2</sup>) Тюрго, назв. соч., стр. 5.

<sup>3</sup>) Quesnay. Oeuvres, стр. 542, 545, 546 и др.

<sup>1</sup>) Quesnay. Oeuvres, стр. 537.

<sup>2</sup>) Тюрго, назв. соч., стр. 4.

<sup>3</sup>) Turgot. Oeuvres, т. III, стр. 288.

Таково крайне важное для всего последующего развития политической экономии противоположение необходимых издержек чистому доходу. Под грозным давлением природы необходимые издержки целиком расходуются на поддержание существования человека. Чистый доход представляет собой свободный фонд, которым человечество может распоряжаться, как захочет. Этот фонд может быть использован для разных целей: удовлетворения второстепенных потребностей, обнимаемых понятием роскоши, уплаты налогов государству и накопления капиталов. При выборе любого из этих употреблений производимого земледелием избытка ценностей, человек свободен. В промышленности, где избытка совсем нет и все расходы получают необходимое назначение, человеку нет выхода из замкнутого круга давящей его механической причинности. Только в земледелии этот круг размыкается, и в темное царство строгой причинной обусловленности вторгается луч света. Чистый продукт, подобно спелому плоду, созревшему в райских садах метафизического царства, падает к ногам работающего в поте лица человечества. Появляется возможность перехода от статичности к динамике, от безотрадного повторения в одних и тех же формах к прогрессу, от простого к расширенному воспроизводству богатства.

Здесь, однако, необходимо отметить один важный пункт. Земледелие отличается в глазах физиократов большей производительностью не потому, что труд земледельца создает больше ценностей, чем труд промышленного рабочего или ремесленника. Как отмечает Морид, у физиократов их один, и другой производят только необходимое для их существования и никакого избытка сверх этого<sup>1)</sup>. Избыток создается другими силами, о которых нам придется еще говорить. В этом коренное отличие физиократов от Маркса, при удивительном, в общем, сходстве их построений. И физиократы, и Маркс признают существование чистого продукта (у Маркса он получает название прибавочной ценности; сам Маркс в I томе Капитала ставит знак равенства между этими понятиями). Обе доктрины, вместе с тем, исходят от предположения, что рабочий получает не весь продукт, производимый при помощи его труда. Обе они допускают, что рабочий вынужден довольствоваться необходимым минимумом. Обе доктрины считают, что избыток присваивается каким-то классом, отличным от рабочих.

Но у Маркса этот избыток—продукт труда рабочих, тогда как физиократы приписывают его соединенному действию земли и капитала. Вместе с тем, нельзя никак согласиться с Моридом, когда он отвергает мнение Маркса, что «теория минимума заработной платы вполне правильно образует стержень всей физиократической доктрины»<sup>2)</sup>. Маркс метко уловил связь доктрины минимума с теорией чистого дохода. Весь смысл физиократического учения в этом противоположении: одни воспроизводят только свои издержки существования, другие получают чистый избыток, которым можно свободно распоряжаться.

Этому коренному принципиальному различию доходов, возмещающих необходимые затраты и дающих чистый продукт, соответствует противоположение получающих эти доходы классов. Чистый продукт создается в земледелии. Цена сельскохозяйственных продуктов распадается, следовательно, на возмещение издержек и чистый доход. Сообразно с этим в сельско-хозяйственном промысле участвуют два класса: землевладельцы и земледельцы. Физиократы утверждают, что земледельцы получают только необходимый минимум, чистый же продукт достается землевладельцам. В § XVI «Размышлений» Тюрго говорит с неизменно присущей ему отчетливостью: Оба эти класса земледельцев и ремесленников во многих отношениях сходны между собою, в особенности в том, что лица, из которых эти классы состоят, не обладают никаким доходом и живут на заработную плату, которая выплачивается им из продукта земли. Оба они еще схожи в том, что они выручают только цену своего труда и издержек, причем цена эта почти одинакова в обоих классах: собственник совершенно одинаково торгуется, нанимая тех, кто обрабатывает землю, стараясь оставить им наименьшую долю продукта, как и с сапожником, когда хочет купить у последнего сапоги по самой дешевой цене. Одним словом, земледelec и ремесленник получают только вознаграждение за свой труд<sup>3)</sup>. Все это сравнение сделано в таких решительных тонах, что заставляет заподозрить Тюрго в желании отождествить земледельцев с батраками, т. е. сельско-хозяйственными рабочими. Это было бы вполне резонно, если бы сам землевладелец выступал в качестве предпринимателя, т. е. организатора сельско-хозяйственного производства. Физиократы,

<sup>1)</sup> Moride, назв. соч., стр. 77.

<sup>2)</sup> Там же.

<sup>3)</sup> Тюрго, назв. соч., стр. 8—9.



однако, великолепно знают, что это далеко не так. Сам Тюрго различает пять способов обработки земли, помимо возможности непосредственной затраты труда на ней собственником. «Первый из этих способов—обработка при помощи работников, получающих определенную плату; второй—при помощи рабов; третий—через отдачу под условием платежа аренды; четвертый—когда за обработку земледелец получает определенную часть, обыкновенно половину продукта, причем предварительные издержки лежат на собственнике; пятый—отдача земли в аренду людям, которые обязуются делать все затраты и платить собственнику в течение ряда условленных лет один и тот же доход».

Последний способ представляется Тюрго наиболее выгодным и для собственников, и для земледельцев. «Он устанавливается повсеместно, где имеются богатые земледельцы, могущие делать предварительные затраты на обработку, а так как богатые земледельцы могут приложить к земле больше труда и лучше удобрять ее, то здесь получается громадное приращение в продукте и увеличение дохода от земли»<sup>1)</sup>. Итак, нормальная эксплуатация земли может производиться только богатыми земледельцами-фермерами.

Еще резче высказывается в том же духе Кенэ. «Мы не рассматриваем здесь богатого фермера как рабочего, который сам обрабатывает землю. Это—предприниматель, который управляет своим предприятием и придает ему ценность, благодаря своим знаниям и богатству. Земледельческий промысел, осуществляемый богатыми земледельцами (*par de riches cultivateurs*), представляет собою почетное и прибыльное занятие, которому могут предаваться только свободные люди, имеющие возможность авансировать большие капиталы, которых требует культура земли; таким образом, крестьяне получают работу, а предприниматели—значительную и обеспеченную прибыль»<sup>2)</sup>. Как замечает Велерс, «этот тип обработки земли, столь редкий во Франции, был очень распространен в Англии, и физиократы, вслед за Кантильоном и Юмом, вслед за Вольтером и Фурбонне, предлагали французскому земледелию принять этих крупных английских фермеров за образец»<sup>3)</sup>. Нам придется еще вернуться к этому вопросу, и тогда станет ясным, какое огромное принципиальное значение придавали физиократы переходу к фермерской культуре для поднятия благосостояния Франции. Но как

могли они в таком случае утверждать, что земледелец получает только минимум средств существования! Эта теория может быть применима к скудному заработку батрака, но не к прибылям капиталиста-фермера. Анализа прибыли фермера физиократы не дают. Но они иногда вводят эту категорию контрабандой в свои построения; так, напр., в тех же «Размышлениях» Тюрго указывает, что продукт земли делится на две части: одну—«независимую и свободную, составляющую чистый доход, другую, образующуюся из средств существования и прибыли (*profits*) земледельца»<sup>4)</sup>. Тюрго причисляет, таким образом, прибыль к необходимым издержкам сельскохозяйственного промысла.

В отношении промышленного класса позиция Тюрго гораздо более определенная: этот класс делится у него на предпринимателей-капиталистов и на простых рабочих. Отличительной чертой первых является то, что они «представляют собою обладателей больших капиталов». Рабочие же «не имеют ничего, кроме своих рук»<sup>5)</sup>. Вслед за этим оказывается, что те же самые владельцы больших капиталов могут заниматься и обработкой земли на началах аренды. Им приходится, в таком случае, принять на себя большие «предварительные затраты». Что же касается их доходов, то, «как и фабриканты, они должны получить, кроме возмещения своих капиталов, т. е. кроме возращения всех своих предварительных и годовых затрат: 1) прибыль, равную доходу, который они могли бы получить от капитала без всякого труда, 2) заработную плату их труда и цену за их риск и искусство, 3) некоторую сумму, из которой они могли бы возмещать ежегодно утрату в вещах, употребляемых в предприятии, павших животных, изнашивающиеся орудия и т. п.». Только остаток сверх этих сумм составляет чистый продукт, «ибо все, что производит земледельцы вливает до возмещения затрат и прибылей лица, которое их совершает, не может рассматриваться как доход, нотолько как восстановление издержек обработки»<sup>6)</sup>. След., ясно, что даже после введения разграничения классов капиталистов и рабочих Тюрго не задумывается соединить их доходы в том отношении, что и заработную плату и прибыль он считает издержками обработки и не включает в чистый доход, который может быть использован его получателем по свободному усмотрению. Между

<sup>1)</sup> Там же, стр. 16.

<sup>2)</sup> Quesnay, Oeuvres, стр. 219.

<sup>3)</sup> Weulersse, назв. соч., т. I, стр. 360—361.

<sup>4)</sup> Тюрго, назв. соч., стр. 8.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 33—34.

<sup>6)</sup> Там же, стр. 34—35.

тем, сам Тюрго подчеркивает необходимость в каждом промысле «иметь запас капиталов или накопленных движимых богатств<sup>1)</sup>». Откуда же могут взяться эти запасы? На этот вопрос можно ответить как нельзя лучше определением капитала, даваемым Тюрго. «Человек ежегодно получающий или из дохода от своей земли, или из заработной платы за свой труд, или от своего промысла большее количество ценностей, чем сколько ему нужно истратить, может отложить этот избыток или накопить его: эти накопленные ценности составляют то, что называется капиталом<sup>2)</sup>». Как же, однако, возможно накопление за счет прибылей или, тем более, заработной платы, если эти доходы должны быть истрачены, по указанию самой природы, на удовлетворение первейших нужд! Капитализировать можно только чистый доход, распоряжение которым свободно.

Отсюда должен проистечь весьма важный вывод, действительно применимый физиократам. Если капитализировать можно чистый доход, то весь работающий в народном хозяйстве капитал представляет не что иное, как сбереженный чистый продукт. Все фабрики и заводы с их оборудованием, рабочий инвентарь и скот в сельском хозяйстве, все запасы продовольствия и сырья, обращающаяся масса денег и т. д. — все это находится в руках хозяйствующего человечества лишь благодаря тому, что земля дает чистый продукт и что этот продукт обладает способностью принимать кристаллизованную или застывшую форму. Это логически следует из сказанного выше о неподвижном состоянии народного хозяйства, в котором оно необходимо пребывало бы при отсутствии чистого дохода. Товары продаются по необходимым ценам, доходы издерживаются на неотложные потребности, прироста капитала нет и быть не может. Весь капитал обязан своим существованием чистому продукту. Все тот же Тюрго формулирует эту мысль в следующем кратком положении: «Только земля доставила все капиталы, которые образуют общую массу всех затрат на обработку и на промыслы<sup>3)</sup>». Но если это верно в отношении к общественному капиталу в целом, то нельзя избежать и того заключения, что отдельные части национального богатства, находящиеся в руках частных лиц, представляют собой кристаллизованный чистый продукт. А так как получателями чистого продукта являются

<sup>1)</sup> Тюрго, назв. соч., стр. 39.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 31.

<sup>3)</sup> Тюрго, назв. соч., стр. 61—61.

исключительно землевладельцы, то следовало бы, повидимому, думать, что единственными обладателями капитала должны быть именно представители этого общественного класса. Обращаясь за подтверждением нашего умозаключения к физиократам, мы на первых порах терпим жестокое разочарование. Тюрго сообщает нам, что «накоплением избытков стали заниматься не одни собственники земель. Хотя прибыли от промышленности и не являются таким же даром природы, как доходы от земель, но... соперничество никогда не было настолько многообразно, настолько оживленно во всех отраслях труда, чтобы ловкий, деятельный и, в особенности, более бережливый человек с своим личным потреблением не мог во все времена заработать более того, чем сколько необходимо для себя и своей семьи. Он мог сохранять этот избыток, собирая, таким образом, маленький капиталец (*pecule*)<sup>1)</sup>».

Если общественное богатство образуется только из чистого дохода, а заработная плата составляет лишь необходимые издержки, то, естественно, целью экономической политики, идеалом которой является увеличение до максимума общей массы национального богатства, должно быть умножение не валового, а чистого дохода. Вознаграждение рабочего или ремесленника с этой точки зрения представляет для общественного благополучия так же мало интереса, как, напр., средства, идущие на восстановление основного капитала. Кенз выражает эту мысль в категорической форме. Доказывая бесплодность ремесленного труда, Кенз никак не соглашается признать, что промышленная переработка материалов прибавляет что-нибудь к общественному богатству. Конечно, готовый продукт оказывается дороже затраченного в производстве сырья на всю сумму ценностей, потребленных самим рабочим во время труда. Однако, этот прирост ценности соответствует лишь затрате, с другой стороны, одинакового количества ее. Ведь нельзя же рекомендовать производить какой-нибудь стакан удвоенным, учетверенным и т. д. количеством труда на том основании, что это будет приводить к возрастанию ценности продукта: «Оставаясь последовательным», возражает Кенз своему оппоненту, «вы сказали бы нам, что было бы крайне невыгодно, если бы изобрели машину, которая плела бы без всяких расходов или с незначительными расходами прекрасные кружева и рисовала превосходные картины». И когда противник задает нашему фило-

<sup>1)</sup> Тюрго, назв. соч., стр. 27.



софу в упор каверзный вопрос: «не предпочтительнее ли давать занятия нашим согражданам, чем иностранцам?», Кенз без стеснения отвечает: «да, предпочтительнее, если при этом не терпим убытка на вознаграждении их труда; в противном случае, я предпочел бы не только иностранцев, но также скот и даже машины, если замена ими людей и скота прибыльна; и эта прибыль, вызывающая возрастание богатств, которыми можно располагать по усмотрению, всегда служит к выгоде населения страны»<sup>1)</sup>.

След., рост чистого дохода за счет заработной платы выгоден для страны, так как он означает увеличение свободного и независимого фонда, которым нация распоряжается по произволу. После подобных заявлений нас уже не должны удивлять тенденции, выраженные физиократами, между прочим, в XXVI максиме экономической политики земледельческих государств: «Следует обращать меньше внимания на увеличение населения, чем на возрастание доходов. Увеличение довольства, обеспеченного большими доходами, предпочтительнее развития настоятельных потребностей питания, удовлетворения которых требует население, превышающее доходы»<sup>2)</sup>.

Приведенное положение может показаться непосвященному читателю полным извращением народохозяйственной перспективы. Однако, эта противоречащая, казалось бы, естественным гуманитарным чувствам готовность приносить в жертву людей на алтарь накопления общественного богатства предстанет пред нами в новом свете несколько ниже, когда мы познакомимся с учением физиократов о функциях капитала в производстве. Мы увидим, какой великой силой был в глазах физиократов капитал. Но, во всяком случае, подобная конструкция исключает, повидимому, возможность признания способности к сбережению и за промышленным классом, не участвующим в создании чистого дохода. Мы уже сказали, что при последовательном проведении принципов физиократического учения следовало бы ожидать, что весь общественный капитал сосредоточен в руках у землевладельцев. Между тем, Тюро дает такую характеристику представителей этого класса: «Вообще справедливо, что хотя собственники более всего обладают избытками, они сберегают менее всего, ибо, имея более досуга, они обладают большими желаниями и страстями; они смотрят на себя как на лиц с более всего обеспеченным состоянием, они думают больше о приятном употреблении своего дохода, чем об умножении его:

их удел—жить роскошно»<sup>1)</sup>. Наряду с этим оказывается, что, как мы видели, другие классы (особенно предприниматели) могут сберегать «капитал». Таким образом, землевладельцы тратят свои доходы почти целиком, а промышленный класс накапливает значительные богатства, которые именуются физиократами «фиктивными», но которые, тем не менее, не могут происходить из иного источника, кроме чистого дохода.

Как же, однако, привести к некоторому единству эти противоречивые учения? Хитроумную попытку примирения теории необходимых издержек с утверждением относительности возможности накопления за счет прибыли и заработной платы делает Мерсье-де-ла-Ривьер. По его мнению, в необходимой цене должны быть восстановлены издержки, действительно понесенные или признаваемые и естественными. Сбережения, при такой точке зрения, оказываются результатом того, что некоторые затраты могли быть, но не были сделаны<sup>2)</sup>. Тюро же настаивает на том, что все излишки, возникшие вне земледелия, и особенно промышленная прибыль являются все же частью поземельного чистого дохода, попавшего в руки промышленного класса в процессе перераспределения первичных доходов. «Хотя капиталы образуются отчасти и из сбережений за счет прибылей рабочих классов, но так как эти прибыли происходят всегда из земли, ибо все они выплачиваются из дохода или из издержек, содействующих возникновению его, то очевидно, что все капиталы происходят из земли или, вернее, что они составляют накопленную часть ценностей, произведенных землей»<sup>3)</sup>. Объяснение Мерсье-де-ла-Ривьера едва ли может удовлетворить кого-нибудь. Оно только портит строгий и выдержанный стиль физиократического учения. От необходимых издержек нельзя отказываться; они предписаны природой, а с природой нельзя хитрить. Более удачна мысль Тюро; но она, к сожалению, не подкреплена изображением процесса перераспределения чистого дохода и указанием мотивов, по которым землевладельцы соглашаются, в конце концов, уступить весь заставший в форме капитала чистый доход другим классам. Если у Маркса рабочие оказываются вынужденными отдавать целиком прибавочную ценность, создателями которой они являются, капиталистическому классу, то это вполне понятно, так как в капиталистическом обществе рабочие являются слабей-

<sup>1)</sup> Quesnay, Oeuvres, стр. 531—32 и 542.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 336.

<sup>1)</sup> Тюро, назв. соч., стр. 61.

<sup>2)</sup> Le-Mercier-de-la-Rivière, назв. соч., стр. 235.

<sup>3)</sup> Тюро, назв. соч., стр. 61.

шей стороной. Но трудно уяснить себе, почему землевладельцы попадают у физиократов в такое же положение. Правда, они, по предположению Тюрго, «жижут роскошно» и поэтому издерживают весь свой чистый доход на приобретение сельскохозяйственных и промышленных изделий. Таким образом, казалось бы, мы находим выход из теоретического затруднения в том, что чистый продукт, возникающий только в производстве, затем перемещается в процессе обращения. Но это было бы возможно лишь в том случае, если бы доля чистого дохода могла входить в цены промышленных изделий. Между тем, как было показано выше, продукты промышленности продаются по необходимым ценам. Поэтому переход капитализированного чистого дохода от землевладельцев в руки капиталистов находится в несомненном противоречии с физиократическими принципами.

Итак, мы можем резюмировать изложенную до сих пор часть физиократической доктрины в следующей форме. В промышленности цена только возмещает необходимые издержки, в земледелии получается сверх того свободный фонд чистого дохода, которым владельцы могут распоряжаться по своему произволу. Земледельцы в сельском хозяйстве, рабочие и предприниматели в промышленности получают только средства существования. Весь чистый доход достается землевладельцу. Накопляемый чистый доход кристаллизуется в капитал. Все национальное богатство каждой страны представляет собой застывший чистый доход. Благодаря переделу первоначального богатства между общественными классами, подавляющая часть национального капитала сосредоточивается в руках промышленного класса и принимает форму фиктивных богатств.

Между тем, дальнейшие построения физиократов показывают, что распределение капитала между отдельными отраслями производства оказывает, в свою очередь, предопределяющее влияние на самый размер чистого продукта. Мы подошли, таким образом, к вопросу о функциях капитала в производстве. Без некоторого запаса накопленных ценностей производство вообще невозможно. Если производство растягивается на сколько-нибудь продолжительный период, рабочие должны быть снабжены вперед на известный срок средствами существования. «Кто бы ни был работником, все равно необходимо, чтобы земля заранее произвела то, что он потребил для поддержания своего существования; след., не его труд производит эти средства существования»<sup>1)</sup>. Фонд средств

существования должен быть дан заранее. Его размеры определяют количество рабочих рук, занятых в производстве. Здесь в зародыше выражена теория «фонда заработной платы», о которой нам еще придется говорить в дальнейшем изложении. Она особенно отчетливо намечена Кенэ в следующей выдержке: «чем дороже будете им (получателям всякого рода платы за труд. В. Ш.) платить, тем в большей степени будет в состоянии каждый из них увеличить свое потребление. Но тогда будет меньше лиц, получающих вознаграждение за труд, и менее потребителей, конкурирующих в сбыте ваших продуктов, так как масса заработной платы ограничена»<sup>1)</sup>. Увеличьте, однако, фонд заработной платы, и вы можете использовать в качестве трудовой силы добавочный контингент не имеющих работы лиц, а если этот труд будет применен в земледелии, то вы можете таким способом увеличить чистый доход. Таким образом, количество производительного труда, который может быть применен в той или другой стране, всецело зависит от тех ресурсов, которые могут быть ею использованы в качестве заработной платы, т. е. от размеров ее капитала.

Физиократы дают прекрасный анализ различных форм капитала, необходимых в сельскохозяйственном промысле. Приведение земли в годный для обработки вид потребовало в незапамятной древности от землевладельцев больших затрат капитального характера; в настоящее время для поддержания производительности земли таюе необходимы всякие осушительные и оросительные работы, лесонасаждения, проведение каналов, дорог и т. д.<sup>2)</sup>. Эти расходы (*dépenses foncières*) являются одним из оснований, оправдывающих присвоение землевладельцами чистого продукта. Правда, они относятся в значительной части ко временам доисторическим, и остается совершенно непонятным, откуда взялся необходимый для этих работ капитал, если он, согласно учению физиократов, мог быть получен лишь из чистого дохода, а чистый доход вырастает из земли. Очевидно, и в данном случае не обошлось без какого-то метафизического «дара природы», решившего судьбу землевладельца. Регулярная эксплуатация земли требует, кроме *dépenses foncières*, затраты капитала в двух формах: основного капитала (*avances primitives*, по терминологии физиократов) и оборотного (*avances annuelles*). Основной капитал, в состав которого входят

<sup>1)</sup> Quesnay, назв. соч., стр. 552.

<sup>2)</sup> Онкен, назв. соч., стр. 306.

<sup>1)</sup> Quesnay, Oeuvres, стр. 533.



сельско-хозяйственные орудия, рабочий скот и т. д., служат в течение ряда лет, изнашиваясь лишь постепенно. Оборотный капитал поглощается в одном производственном процессе (семена, удобрение) и ежегодно должен восстанавливаться.

Основной капитал имеет первенствующее значение. От размера затрат этого рода зависит возможность применения более или менее интенсивной сельско-хозяйственной культуры. Физиократы были, как уже сказано, убежденными сторонниками крупно-капиталистического арендаторского хозяйства в земледелии. Считая крайне вредной парцелляцию земли на мелкие участки, обрабатываемые при помощи примитивных технических приемов, физиократы считали, что крупное предприятие предполагает затрату больших основных капиталов. Сообразно с этим они противопоставляли друг другу «крупную» и «мелкую» сельско-хозяйственные культуры (*grande culture, petite culture*); противоположение было основано, по словам Шелля, на «различии, почти что ребяческом: применении лошадей в работах при первой и употреблении быков—при второй»<sup>1</sup>).

Лошадь и бык, впрочем, скорее служили физиократам лишь символом насыщения сельско-хозяйственной культуры капиталом. Так, по расчетам Кенэ, на одном и том же пространстве земли при мелкой культуре расходы должны составить 285 милл., а при крупной—710 милл. Но, вместе с тем, форма культуры оказывает решающее влияние на доходность земли. По словам Кенэ, «не следует никогда забывать, что степень преспеяния, на которую мы можем надеяться, гораздо в меньшей степени зависит от труда земледельца, чем от количества богатств, которые могут быть затрачены в земледельческой культуре. Обильные жатвы создаются удобрением; удобрение производится скотом; скот и люди для управления им получают благодаря деньгам»<sup>2</sup>).

Противоположность крупной и мелкой культуры особенно мастерски изображена Тюрго в его письмах к Террей. По словам Тюрго, в ряде провинций Франции: Фландрии, Пикардии, Нормандии, Иль-де-Франсе и др. преобладает крупная культура, организуемая «капиталистами-предпринимателями». Все эти провинции отличаются богатством и расположены вблизи от легко доступных и всегда открытых рынков, больших городов, морских портов и т. д. Цены на хлеб в таких районах стоят на довольно

высоком уровне и представляют достаточный стимул для помещения в эту отрасль производства больших капиталов. Фермеры-капиталисты «производят за свой счет все расходы по культуре, покупают скот всех видов, необходимый для эксплуатации земли, доставляют все орудия для обработки, расходуют необходимые суммы на семена, снабжают пропитанием себя и своих домашних до первого урожая, ничего не получая от землевладельца, но они же и собирают всю массу плодов земли, присваивая их в полную собственность и уплачивая владельцу земли лишь выговоренную цену». Таким образом, фермерами могут быть лишь обладатели больших капиталов, но, опираясь на свою финансовую силу, они могут выговорить себе достаточно льготные условия аренды земли. В этой характеристике реальных отношений, разумеется, гораздо больше правды, чем в доктринерской схеме, делящей продукт на «необходимую заработную плату» земледельца и чистый доход, достигающийся землевладельцу.

В ином положении, чем богатые районы крупной культуры, находятся провинции, где господствует мелкая культура. Здесь обработка земли производится, главным образом, половниками. Собственник земли вынужден делать все затраты, приобретать скот, семена, кормить половника до жатвы и т. д. Так как землевладельцы, как нам уже известно, не обладают значительными капиталами, то эти издержки «невелики». Но, все же землевладелец оказывается «подлинным предпринимателем». Он несет риск предприятия. Эта культура стоит под знаком скудости. При всем желании землевладельцев сдать землю в аренду фермерам, это оказывается невозможным за отсутствием в этих округах охотников выступать в такой роли. Цены на хлеб здесь низки, и поэтому фермерская культура не оправдывает своих издержек. Уровень цен на хлеб в стране вообще не всюду одинаков. Огромные размеры потребления и концентрация расходующихся денег в больших городах поднимают в них цены за счет удаленных от центров потребления провинций. Поэтому различие в культуре и в богатстве районов, как подчеркивает Тюрго, обуславливается не различием в плодородии. Наоборот, при одном и том же плодородии возможны значительные различия в доходах.

Рост благосостояния страны возможен лишь при распространении крупной культуры. Тюрго намечает для этого процесса два пути. Один заключается в том, что обогащенные фермеры посте-

<sup>1</sup> Schelle. Le docteur Quesnay, стр. 196.

<sup>2</sup> Quesnay. Oeuvres, стр. 243.

ленно расширяют площадь арендуемой ими земли по мере того, как удаленные от центра провинции вступают в более оживленную связь с рынком. Другой путь заключается в том, что половники постепенно становятся фермерами, накапливая незначительными долями капитал, необходимый для самостоятельной культуры на арендных началах. «Эта революция», добавляет Тюрго, «может быть долгой»<sup>1)</sup>.

Изложенная схема Тюрго в высокой степени поучительна. Она показывает, что физиократы не надеялись на возможность поднятия уровня земледельческой культуры за счет капиталов самих землевладельцев. Землевладельцы вообще — плохие предприниматели. Для них следует резервировать положение собственников, пассивно пользующихся доходом от своего имущества, без затраты труда на его эксплуатацию. Но капитал необходим земле. Он может вырасти в недрах самого сельского хозяйства, и тогда он требует мучительно долгого вызревания в массе полусвободного населения. Наконец, он может появиться извне. Помыслы физиократов и направлены на то, чтобы сделать такой приток возможным.

Теперь необходимо установить связь только-что изложенных мыслей с теорией чистого продукта. Физиократы были убеждены в том, что крупная культура не только увеличивает валовую продукцию сельского хозяйства, но и повышает в огромной степени чистый доход. При крупной культуре расходы возрастают, как указано, в  $2\frac{1}{2}$  раза; но ценность продукции увеличивается несравненно значительнее. Поэтому, чем большее количество общественного капитала помещается в земледелие, тем большего распространения может достигнуть крупная культура, и тем быстрее растет чистый доход. Увеличение чистого дохода, в свою очередь, облегчает возможность изъятия капитала за счет свободного фонда, а дальнейший приток капитала в земледелие вновь увеличивает производительные силы земли и т. д., до бесконечности. Для проявления чудесных «химико-божественных» сил, скрытых в земле, необходимо, следов., сочетание двух условий: наличности самой земли и приложения к ней достаточно большого капитала. Одно из этих условий без другого не производит магического эффекта. Кенэ прямо говорит: «Единственным источником доходов земледельческих стран являются земли и капиталы предпринимателей (*les avances des entrepreneurs*)»<sup>2)</sup>.

Такова физиократическая алхимия, таков рецепт непрерывного накопления и увеличения чистого дохода. Программа экономической политики определяется сразу: необходимо всеми мерами перекачивать капиталы из промышленности и торговли в сельское хозяйство. «Несмотря на все, ресурсов собственников недостаточно, по мнению физиократов, чтобы обеспечить при посредстве их одних развитие крупной культуры». Нужно «сочетать браком денежные богатства, сами по себе бесплодные, с земельными»; реализовать «альянс земли с движимыми богатствами»<sup>1)</sup>. При сосредоточении «фиктивных» капиталов в бесплодных занятиях страна почти не дает чистого продукта: в промышленности и торговле он вообще никогда не может появиться, а лишенная капитала мелкая культура в земледелии тоже не принесет чистого дохода. Приведенные теоретические положения иллюстрируются физиократами на примере современной им Франции. По данным Кенэ (1757 г.), вся территория, занятая культурой хлебных злаков, составляла 36 милл. *arpents*, уменьшившись сравнительно с посевною площадью даже середины XVII столетия. Из этих 36 милл. крупная культура применяется только на 6. В своей «аграрной арифметике» физиократы всюду исходят от предположения, что «крупная богатая и ученая культура» (*grande, riche et savante culture*) приносит 100% чистого дохода на затраченный капитал. Вся же площадь хлебов давала во времена Кенэ вследствие господства мелкой культуры, по расчетам физиократов, всего 30%. Цена всей массы произведшихся во Франции хлебов достигала 600 милл. ливров (400 — от мелкой культуры, занимающей  $\frac{2}{3}$  обрабатываемой площади, и 200 — от крупной). Общий переход к крупнокапиталистической культуре и возвышение цены хлеба<sup>2)</sup> должны вести общую ценность всей зерновой продукции до 1800 милл., а с прибавлением валового дохода от скотоводческого хозяйства — около 3 миллиардов. Валовую продукцию виноградариков и разных технических культур (льна, пеньки, и пр.) Кенэ определял в миллиард, Мирабо — в 3 миллиарда. Таким образом, применение крупной культуры должно было повысить валовой доход французского земледелия до 4—6 миллиардов против имевшихся в действительности 2 миллиардов. Чистый доход от одной только

<sup>1)</sup> Weulersse, назв. соч., т. I, стр. 888.

<sup>2)</sup> О значении высоких цен как способа увеличения чистого дохода — подробно ниже.

<sup>1)</sup> Turgot. Oeuvres, т. III, стр. 307—312.

<sup>2)</sup> Цит. у О. Кенэ, назв. соч., стр. 367.



хлебной продукции в 1.800 милл. ливров должен был составить 885 милл., вместо 178 милл., приносимых существовавшей во времена Кенэ культурой. Из этого приращения в 700 милл. 320 должны были попасть в руки собственников. Поземельный налог должен был дать государству 160 милл. «Таким образом, финансы королевства восстанавливаются, дефицит пополнен, банкротство избегнуто»<sup>1)</sup>.

Эти феерические перспективы невольно наводят на подозрение: не продиктованы ли расчеты Кенэ тем же духом, который волил пером Джона Ло, когда он писал свои проекты для герцога Орлеанского. Больно уж быстро и решительно должно было произойти, благодаря переходу от мелкой культуры к крупной, превращение Франции в сказочную страну богатства и благополучия! Даже неизменно благожелательный к Кенэ Шелль считает необходимым сделать в этом пункте ремарку: «Кенэ, несомненно, превеличивал немедленные последствия проповедывавшихся им реформ». Он ожидал, что переход к крупной культуре повысит ежегодную продукцию хлеба с 42 до 70 милл. сенье, что соответствует современным цифрам продукции пшеницы во Франции, хотя ее почва родит в настоящее время еще целый ряд других продуктов. Кенэ «признавал, что это огромное количество превзойдет потребности туземного населения, но он полагал, что хлеб, который не найдет применения внутри страны, сможет быть вывезенным за границу, и что культура хлебных злаков может быть заменена разведением скота на некоторой части территории с целью производить мясо, вырывать шерсть и обладать также предметами вывоза»<sup>2)</sup>. Но как ни правильна, быть может, подобная программа, не подлежит сомнению, что Кенэ все же ошибался в расчете на немедленное ее осуществление в полном объеме.

Необходимо сделать еще одно замечание. Начав с утверждения, будто «только земля дает чистый продукт», физиократы признали, что земля обладает этим драгоценным свойством не всегда, а лишь при оплодотворении ее капиталом, т. е. при известных общественных условиях. Физиократы при этом уделяют очень мало внимания физическому плодородию почвы, словно бы размер чистого продукта всецело зависел не от нее, а от количества капитала, вложенного в землю. При такой постановке вопроса между

землей и капиталом легко могла возникнуть тяжба по поводу того, кому из них и в какой мере может быть приписано создание чистого продукта, и исход этой тяжбы в суде беспристрастной истории науки был бы довольно сомнителен. Третий элемент производства—труд—пока еще не заявлял никаких претензий, скромно ожидая благоприятного момента для заявления своих исторических прав.

В исторической перспективе стремление физиократов «капитализировать» земледелие вызывает два указания. Во-первых, надвигающаяся промышленная революция и рост крупной промышленности окончательно отвлекли от сельского хозяйства поток капиталов, о привлечении которого в земледелие так мечтали физиократы. «Фиктивные» богатства стали финансировать промышленные предприятия, и нельзя сказать, чтобы это уклонение от физиократической программы вызвало обеднение тех стран, которые пошли по стезе этого усиленного капиталистического развития промышленности. Во-вторых, надежда физиократов улучшить положение сельского хозяйства во Франции путем насаждения крупно-капиталистической культуры была в то же время последней отчаянной попыткой спасти дворянское землевладение во Франции. Знаменитый английский путешественник и агроном Артур Юнг, при всем своем уважении к принципу частной собственности на землю, которую он воспевал в красноречивых словах<sup>3)</sup>, не мог не отметить, что во Франции поземельная знать ложилась мертвым грузом на сельское хозяйство и не давала ему возможности развиваться. «О», восклицает Артур Юнг, «если бы я был законодателем во Франции хотя бы на один день, я заставил бы этих великих сенсоров снова прыгать немногo»<sup>4)</sup>. Сельско-хозяйственную летаргию Франции Юнг приписывал тому, что в ней, в отличие от Англии, нет энергичного и прогрессивного класса землевладельцев<sup>5)</sup>. Физиократы думали притти на помощь такому положению вещей, передав всецело обработку земли крупным капиталистам на английский лад.

Таким образом, они сохраняли землевладельцам их поместья и, в то же время, находили способ поднять сельско-хозяйственную культуру до наибольшего расцвета. Они забывали при этом, что социальные отношения не могут переноситься искусственно из одной обстановки в другую и что во Франции не было надлежащих общественно-хозяйственных условий для создания класса зажиточ-

<sup>1)</sup> L. Stephen. The english utilitarians, т. I, London, 1900, стр. 72.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 72.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 74.

<sup>1)</sup> Weulersse, назв. соч., т. I, стр. 356—357.

<sup>2)</sup> Schelle, назв. соч., стр. 198—199.

ных фермеров. Поэтому, если даже, рассуждая теоретически, можно признать, что «богатая» фермерская культура предпочтительнее отсталого крестьянского хозяйства, то этого еще не достаточно, чтобы обеспечить торжество более прогрессивным формам хозяйства. Судьба французского сельского хозяйства разрешилась не по физиократическому рецепту: Великая французская революция смела последние остатки феодализма и расчистила путь для утверждения во Франции крепкой крестьянской собственности. Эта мелкая земельная собственность сыграла свою роль в XIX ст. и послужила прочным базисом для процветания Франции. Впрочем, в нашу задачу здесь не входит оценка сравнительных достоинств крупного и мелкого земледелия.

Таким образом, поднятие благосостояния сельского хозяйства и, вместе с ним, всей нации предполагает приток «фиктивных» богатств к земле. Мы видели со слов Кенэ, что для крупной культуры нужны скот и удобрения, покупаемые за деньги. Таким образом, приток денег в земледелие становится как бы источником богатства. Но это совсем не значит, что физиократы также заражены преклонением перед золотым тельцом, как и меркантилисты. Нельзя смешивать капигал, как один из элементов производства, с денежной оболочкой, в которую он может быть облечен. Кенэ прекрасно понимает это различие между капиталом в материальной и денежной форме. Он полагает, что капитальные затраты не стоят ни в какой зависимости от величины денежных запасов. «Осмотрите фермы, мастерские, и вы увидите, в чем состоит фонд этих столь драгоценных затрат. Вы найдете там строения, скот, семена, сырой материал, подвижность и инструменты всякого рода. Все это, без сомнения, стоит денег, но ничто из этого не является деньгами»<sup>1)</sup>... Хотя у Кенэ мы и не находим законченной теории денег, но он все же правильно улавливает роль денег в народном хозяйстве. Деньги лишь облегчают обмен; при характеристике «реального распределения годичного производства и потребления» можно отлично обойтись и без понятия денег. Услуги и изделия могут взаимно оплачиваться одним общественным классом другому не деньгами, а непосредственно продуктами. В деньгах лишь как бы воплощается доля участия каждого в общественном доходе. Предвосхищая некоторые новейшие теории, Кенэ пишет: «Вы могли бы без большого усилия воображения предста-

вить себе эти кусочки металла на подобие билетов, которые обозначают часть, какую каждый может иметь в ежегодном распределении произведений, так как производительный класс регулярно возвращает те же самые билеты, чтобы снова обеспечить распределение следующего года»<sup>2)</sup>. Для Кенэ деньги сами по себе представляют лишь бесплодное богатство, не имеющее «другой полезности в пределах какой-нибудь нации, кроме их употребления для продажи и покупки»<sup>3)</sup>. Находясь под обаянием своей любимой идеи реального приращения вещества, находящегося в распоряжении общества, физиократы и должны были отнестись к деньгам, как к богатству низшего сорта. Ведь еще Аристотель противопоставил бесплодные деньги скоту, приносящему живой и реальный приплод. Эта мысль сделалась затем своего рода *pons asinorum* всей средневековой экономической премудрости. Когда на заре человеческой истории многие народы пользовались скотом в качестве денег, тогда и денежное богатство обладало способностью давать реальный приплод, т. е. «чистый доход». Переход к драгоценным металлам представляет в этом смысле деградацию денег. И если физиократы все же понимают и оправдывают процент на капитал, то лишь благодаря мысли, что денежный капитал всегда может быть обращен на покупку земли и, таким образом, приобщен к богатству, непосредственно приносящему чистый доход.

Если у Кенэ вопросы теории денег задаются лишь мимоходом, то у Тюрго мы находим попытку дать им более глубокое, хотя и не лишенное противоречий объяснение. Принимая учение о том, что деньги являются лишь посредником в обмене, ставшее впоследствии общим мнением классической школы, он воспроизводит в то же время некоторые типичные идеи меркантилистической доктрины денег. В его теории денег можно уловить дуализм, соответствующий, повидимому, двойственности самой природы денег. Товарно-органическое начало, создаваемое в деньгах рыночной стихией, прочно сплетается в них с государственным регулированием. Деньги одновременно и ходкий товар, и детище известного правового порядка. Оба момента—органический и «государственный»—мирно уживаются еще у Платона и Аристотеля, а также у римских юристов, а феодальная теория денег односторонне возводит в принцип государственное начало, считая «монету» «если не

<sup>1)</sup> Quesnay. Oeuvres, стр. 481.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 549.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 542.



простой собственностью государя, то, во всяком случае, предметом, на котором он мог неограниченно упражнять свою власть»<sup>1)</sup>. Эта последняя доктрина едва ли у кого-нибудь получила более отчетливое выражение, чем у Посошкова, передавшего самую сокровенную ее сущность в следующих, неоднократно цитировавшихся словах: «У нас толь сильно его пресветлого величества слово, аще-б повелел на медной золотниковой цате положить рублевое начертание, то бы она за рубль и в торгах ходить стала во веки веков неизменно». В этой доктрине было что-то соблазнительное для легкой лавочки феодалов, феодалов-властителей и абсолютных монархов, толкавшее на путь опасных экспериментов, легко превращавшее королей в «фальшивомонетчиков» («le roi faux-monnaieur») и заставлявшее их жадно прислушиваться к сулившим легкую наживу проектам необычайного умножения денежных богатств разных авантюристов в стиле Джона Ло. Во второй половине XVIII века, когда писались сочинения физиократов и Смита, крылья этого учения были уже надломлены, чему немало способствовал крах «монетной» системы Ло и известной компании Миссисипи, которую А. Смит называет, «быть может, самым безумным из всех когда-либо существовавших проектов банковского учреждения и торговли бумажными деньгами», основанных на возможности безграничного увеличения количества бумажных денег. Однако, эта доктрина все еще не потеряла своего кредита. Ее черпали из сочинений популярного в то время Локка; она опиралась также на тяжеловесный авторитет Монтескье. Любопытно, что сам Джон Ло не только не принадлежит к этому лагерю, но даже выступает в роли решительного критика этого учения. Возражая в своих (замечательных для своего времени) теоретических рассуждениях о деньгах французскому автору Буазару (Boizard), Ло утверждает, что «деньги отнюдь не получают своей ценности от общественной власти» и что «их ценность образуется материалом, из которого они сделаны»<sup>2)</sup>. Он выражает удивление, что «Локк, человек глубокий, который умел мыслить и прославился отличными работами, впал в подобную же ошибку. Он был того мнения, что люди, по общему их соглашению, придали деньгам воображаемую ценность»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> П. Струве. Хозяйство и цена, ч. I, М., 1913, стр. 73.

<sup>2)</sup> М. И. Богороднев. Государственный долг. СПб., 1910, стр. 283.

<sup>3)</sup> *Economistes financiers du XVIII siècle*. Lav. Mémoire sur l'usage des monnaies/ Ed. Daire, Paris, 1851, стр. 637.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 447 и 640.

Для самого Ло ценность денег определялась соотношением их количества и потребности в них. Употребление того или другого металла в качестве денег создаст на него повышенный спрос и придаст ему «добавочную ценность». Но и эта ценность не произвольна и определяется положением рынка.

Гораздо ближе к феодальному учению о деньгах Монтескье. Для него деньги — «знак, представляющий собою ценность всех товаров»<sup>1)</sup>. Из реальной монеты может развиваться монета идеальная. «Напр., от монеты весом в 1 фунт серебра отнимают половину этого количества и продолжают называть ее ливром, т. е. фунтом; монету, заключающую в себе 20-ю часть фунта серебра, продолжают называть су, хотя она уже более не содержит в себе 20-й части этого фунта... Может даже случиться, что совершенно перестанут чеканить монету, равную 1 ливру, т. е. фунту металла, и не будут также делать монеты, равной 1 су. Тогда ливр и су станут монетой чисто идеальной. Каждой монете станут давать наименование столько-то ливров и столько-то су по произволу»<sup>2)</sup>. Возможно даже полное отделение идеального знака, т. е. денег, от какой бы то ни было материальной субстанции. Монтескье находит осуществленной эту денежную систему у... негров. «Черные обитатели африканских берегов имеют знак ценности без монеты: это — чисто идеальный знак, основанный на степени значения, которое они придают в уме своему тому или другому товару, соответственно чувствуемой в нем потребности. Известный товар или припас стоит три макуты, другой — 6 макут, третий — 10 макут. Это то же, как если бы они просто говорили: три, шесть, десять. Цена ими определяется сравнением всех товаров между собой. Таким образом, собственно денег нет, но всякая часть одного товара служит деньгами по отношению к другому товару»<sup>3)</sup>.

Это учение Монтескье в общих чертах воспроизводит Тюрго: он повторяет рассказ о неграх Мандинго, называет макуту «фигуративной мерой и рядом с ней упоминает о голландском банковом флорине, который тоже является «фигуративной монетой»<sup>4)</sup>. Для него денежная единица является субъективным представлением, сложившимся у отдельных членов товарного оборота отно-

<sup>1)</sup> Монтескье. О духе законов, СПб., 1900, стр. 384.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 386.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 389—390.

<sup>4)</sup> Тюрго, назв. соч., стр. 21.

сительно покупательной силы товара, употребляемого в качестве денег. Выражение ценностей в этом товаре «становится как бы условным языком». Так, если бы все деньги были выражены в баранах, то «это выражение, в конце концов, отождествляется гораздо более с абстрактным или фиктивным представлением о ценности, чем с представлением о действительном баране, так что если вдруг обнаружится падеж среди баранов и если придется давать за одного барана вдвое более хлеба или вина, сравнительно с прежним, то будет скорее говорить — один баран будет стоить двух баранов, но не изменят выражения, к которому привыкли, совершая оценку всех других вещей»<sup>1)</sup>. Однако, эти построения не мешают Тюрго, с другой стороны, утверждать, что «монета как нечто совершенно условное — вещь невозможная»<sup>2)</sup>. Для него золото и серебро такой же товар, как и все другие; они даже менее ценны сравнительно с другими, ибо для удовлетворения «настоящих» потребностей жизни они не имеют никакого употребления. И, резюмируя свои соображения о роли денег в торговле, Тюрго замечает: «Золото и серебро сделались монетой, и притом всеобщей, без всякого произвольного соглашения людей, без вмешательства какого бы то ни было закона, но по самой природе вещей. Они не являются, как думали многие, знаками ценности: они сами имеют ценность»<sup>3)</sup>.

Таким образом, физиократы впервые в резкой и законченной форме выдвигают мысль о том, что деньги не представляют собою особенного богатства и что скорее наоборот: они невыгодно отличаются от других видов капитала своим бесплодием.

Мотив физического плодородия почвы переплетается у физиократов весьма своеобразно с категориями современного денежного хозяйства. Земля обладает абстрактной способностью производить чистый продукт. Этот чистый продукт, рассуждая принципиально, должен целиком поступать землевладельцу. Но на фундаменте материальных производственных процессов возвышается созданная хозяйствующим человечеством надстройка цен, и она оказывает могущественное влияние и на размер, и на распределение чистого продукта. Физиократы, при всей отвлеченности их построений, очень тонко ощущают зависимость благополучия отдельных общественных групп от сравнительной высоты цен на те или иные

<sup>1)</sup> Тюрго, стр. 21.  
<sup>2)</sup> Там же, стр. 22.  
<sup>3)</sup> Там же, стр. 24.

продукты. Мы сейчас увидим, какое значение они придавали высоким ценам на хлеб как способу повышения чистого дохода. Прежде, однако, чем мы познакомимся с этой частью их доктрины, попробуем вникнуть в общее их представление о цене — ценности.

Теории ценности в подлинном смысле этого слова у физиократов не было; но все же у них чувствуется смутное сознание того, что существуют какие-то определенные факторы образования цены в процессе производства и что в меновой оборот блага попадают с уже сформировавшейся ценностью. В диалоге о ремесленном труде, расходясь со своим воображаемым оппонентом во всех существенных положениях экономической теории, Кенэ признает, вместе с ним, одну истину: «Товар и деньги, которые уплачиваются за него, имели свою цену до обмена»<sup>1)</sup>. И в другом месте: «Образование цены всегда предшествует покупкам и продажам»<sup>2)</sup>. Тюрго склонен, повидимому, искать причин, определяющих цену, на стороне спроса: «Потребности и средства потребителей всегда определяют цену продаваемого»<sup>3)</sup>. Кенэ также вскользь упоминает о «ценах, которые потребность дает произведениям»<sup>4)</sup>. Но в других случаях Кенэ не забывает и о роли предложения в образовании цены: «Товар является богатством в силу своей продажной ценности. Покупщик, стало быть, в такой же степени содействует продажной ценности товаров, в какой и продавец»<sup>5)</sup>. Стремление реабилитировать продавца выражается им также в следующих словах: «Разве чувствуется большая потребность в покупателях, чем в продавцах? Разве более выгодно продавать, чем покупать? Разве деньги предпочтительнее жизненных благ?»<sup>6)</sup>. Наиболее полно эти мысли формулированы Кенэ в следующей сентенции: «Всем хорошо известно, что главными причинами, образующими рыночную цену произведений, являются их редкость или изобилие и более или менее сильная конкуренция продавцов и покупателей. В силу этих причин действительная цена продуктов устанавливается до их продажи, и даже до продажи, совершаемой из первых рук»<sup>7)</sup>.

<sup>1)</sup> Quesnay, Oeuvres, стр. 539.  
<sup>2)</sup> Там же, стр. 452.  
<sup>3)</sup> Тюрго, наав. соч., стр. 36.  
<sup>4)</sup> Quesnay, Oeuvres, стр. 453.  
<sup>5)</sup> Там же, стр. 539.  
<sup>6)</sup> Там же Oeuvres, стр. 456.  
<sup>7)</sup> Там же, стр. 388.



Этими факторами, повидимому, определяется рыночная цена. Но рядом с ней Кенэ устанавливает «реальную» или «фундаментальную» цену. В найденной и напечатанной несколько лет тому назад статье «Люди», которая предназначалась для Энциклопедии, Кенэ называет такую цену ту, которая «устанавливается при свободе внешней торговли у разных наций на уровне, соответствующем в среднем тому, что необходимо для покрытия издержек производства». Человек является главнейшим производственным фактором. Но люди производят богатства не руками, а полезным и культурным (intelligent) трудом<sup>1)</sup>. Таким образом, в приведенных выдержках в очень смутном виде выражена для рыночной цены теория спроса и предложения, а для «фундаментальной цены» — теория издержек производства.

Во всяком случае, какие бы народохозяйственные силы ни предопределяли цену товаров, в меновой оборот последние входят, по представлению физиократов, со вполне определенным ценностным значением. Поэтому в торговых операциях возможно лишь нарастание цены для возмещения расходов торговцев (как это имеет место и в промышленности, когда цена материалов увеличивается на сумму потребляемых рабочим или ремесленником предметов первой необходимости), но при обмене товара не может иметь место появление новой, добавочной ценности, так как цена каждого товара строго зафиксирована суммой понесенных в его производстве или при торговле им расходов. Производственная цена составляет, скажем, один ливр; торговые расходы — 50% этой суммы. В обмене за этот товар может быть получено лишь благо эквивалентной ценности, т. е. воплощающее разных издержек на полтора ливра. Кенэ постоянно повторяет: «торговля есть не что иное, как обмен ценности на равноценность, и по отношению к этим ценностям договаривающиеся стороны ничего не выигрывают и не теряют»<sup>2)</sup>.

Этот принцип своим острием направлен непосредственно против меркантилистического представления об особой выгодности внешней торговли. Если в обмене отдается всегда одна ценность за равную ей ценность, то торговля не может дать чистого дохода. Приращение ценности возможно только в производстве, но не

<sup>1)</sup> Schelle. Le docteur Quesnay, стр. 214—215.

<sup>2)</sup> Quesnay, стр. 538.

в обращении товаров. В этом пункте физиократы и Маркс сходятся, и недаром Маркс говорит об экономической таблице физиократов, с которой нам еще придется познакомиться, что «это была попытка представить весь процесс капиталистического производства как процесс воспроизведения, а обращение — только как форму этого процесса»<sup>1)</sup>.

Этим положениям, разумеется, нисколько не противоречит извлечение торговлей больших прибылей. Чем более длинная цепь торговцев вклинивается между производителем и окончательным потребителем, тем значительнее сумма торговых расходов, которая должна быть оплачена последним. Физиократы различают три категории цен: 1) основную цену товара, определяющуюся всеми элементами себестоимости его производства, 2) цену при продаже из первых рук, несколько превышающую основную цену, вследствие включения в продажную цену известной прибыли, и 3) цену покупателя-потребителя, долженствующую оплатить, кроме издержек производства и прибыли производителя, также и все посреднические услуги торговцев<sup>2)</sup>. Пусть основная цена какого-нибудь товара составляет 2 ливра. Цена покупателя-потребителя равна, предположим, 3 ливрам. Разница в 1 ливр распределяется между прибылью производителя и торговца. Поскольку речь идет о сельско-хозяйственных продуктах, разумеется, физиократы предпочитают поглощение посреднической прибыли доходами производителя и даже полное упразднение торговли и ее барьеров, что достижимо при непосредственной продаже земледельцем своих продуктов потребителю. Тогда цена при продаже из первых рук и цена покупателя-потребителя совпадают, и предотвращается отлив находящегося в распоряжении народного хозяйства средств в бесплодные занятия. Рост торговли не служит показателем преуспевания страны, а свидетельствует лишь о нерациональном распределении общественного дохода между отдельными классами. Таким образом, физиократы обнаруживают поразительное чутье экономической действительности, правильно улавливая связь между относительной высотой цен на отдельные товары и услуги и благополучием различных групп населения.

Сознание этой зависимости приобретает особенно яркое выражение в основном положении экономической политики физиократов:

<sup>1)</sup> Маркс. Теория прибавочной стоимости, стр. 80.

<sup>2)</sup> Онкен, назв. соч., стр. 376—377.

требовании повышения цен на сельскохозяйственные продукты. Часто приводимая XVIII максима гласит: «Государство не должно стремиться к понижению цены на съестные продукты и товары. Какова продажная ценность, таков и доход: изобилие и низкие цены не создают богатства. Неурожай при дороговизне цен является бедствием. Изобилие же, сопутствуемое высокими ценами, создает громадные богатства»<sup>1)</sup>. Мы видели, однако, что по учению физиократов цена товаров устанавливается в результате взаимодействия стихийных сил производства и потребления. Казалось бы поэтому, что попытки законодателя произвести искусственное давление на цены должны быть тщетны. Но физиократы призывают именно не к произвольному воздействию на цены, а к отказу от всяких подобных манипуляций. Наиболее выгодная для народного хозяйства цена устанавливается при полной свободе конкуренции. «При наличии свободной конкуренции в своей торговле страна пользуется наибольшим сбытом своих произведений по возможно выгодным ценам, причем барыши торговца бывают в подобном случае так же, как и их издержки, наименьшими»<sup>2)</sup>.

Этот принцип с особенным пылом отстаивался физиократами в отношении хлебного вывоза. Хлебная торговля вообще была для Франции того времени большим вопросом. Мы уже указали в главе I, что правители меркантилистического направления следили за хлебом, как за «предмет администрации». Запрещался не только вывоз хлеба за границу, но и передвижение его внутри страны. С 1697 г. экспорт допускался не иначе, как по особым разрешениям, что давало повод к бесчисленным злоупотреблениям. Частое повторение годовых лет заставляло прибегать к экстраординарным мерам. Дело доходило до декретов, предписывавших обсеменение полей и доставку хлеба на рынки под угрозой штрафов и конфискации, до установления максимумов цен, до всесторонней регламентации хлебной торговли, до угроз смертной казни за вывоз и даже до разрешений каждому желающему обрабатывать незасеянные поля<sup>3)</sup>. Правительство постоянно мечтало о хлебной монополии, но у него не хватало средств для закупки всего продаваемого на рынке хлеба. Приходилось ограничиваться образованием правительственного хлебного фонда, из которого по временам хлеб выбрасывался на рынок, часто по несуразным ценам. На своих хлебо-торговых

операциях правительство несло большие потери, а хлебный рынок оказывался совершенно дезорганизованным резкими колебаниями цен. Глас народа часто обвинял членов правительства—явных и тайных—в спекуляции на всеобщем бедствии. Действительно, злоупотреблений было немало. Одна из подобных историй, заключающихся в том, что темные лица, прикрываясь именем короля, наживались на хлебной спекуляции, произошла даже в начале царствования Людовика XVI, и, восстанавливая в 1774 г. свободу внутренней торговли хлебом, Тюрго удачно сыграл на необходимости очистить молодого короля от возводившихся на него грязных обвинений в причастности к этой спекуляции<sup>4)</sup>.

Следует отметить, что ослабление запретительного режима в области хлебной торговли началось еще до Тюрго. В 1764 г. был проведен декрет о свободе хлебной торговли, оставшийся, в значительной мере, впрочем, на бумаге и затем еще значительно урезанный в декабре 1770 года аббатом Террей<sup>5)</sup>. Вывоз хлеба за границу после 1764 г. был незначителен. Он не превышал 400—500.000 сетев в год, что составляло около одной сотой внутреннего потребления<sup>6)</sup>. Мы увидим сейчас, как использовали это обстоятельство враги физиократов в своей борьбе против свободы экспорта. Нужно, однако, сказать, что Тюрго слишком хорошо понимал реальную экономику своего времени, чтобы ожидать каких-нибудь невероятных экспортных успехов при введении режима свободной хлебной торговли. В письмах к Террей, относящихся к 1770 г., он дает отличную характеристику положения мирового хлебного рынка его времени, из которой явствует, что Франция может выступить поставщиком хлеба на мировой рынок лишь в самой ограниченной степени. По его словам, общая масса попадающего в международный оборот хлеба не превышает 7, а может быть даже 6 милл. сетев. У Франции имеется ряд конкурентов, которых она не может надеяться вытеснить. «Основная цена нашего хлеба выше польской цены, и мы не можем выдержать конкуренции Дании и других балтийских портов вследствие различий в издержках транспорта, являющихся минимальными, когда речь идет о снабжении продовольствием Испании или каково-либо другого южного государства»<sup>7)</sup>. Таким образом, физиократы

<sup>1)</sup> Quesnay, Oeuvres, стр. 335.

<sup>2)</sup> Там же, Oeuvres, стр. 472.

<sup>3)</sup> Schelle, L'économie politique, стр. 75.

<sup>4)</sup> Тюрго, т. IV, стр. 34—37.

<sup>5)</sup> Ойкен, назв. соч., стр. 444 и 453.

<sup>6)</sup> M. Necker, Oeuvres, т. IV. Sur la législation et le commerce des grains. Lausanne. 1786, стр. 43.

<sup>7)</sup> Тюрго, т. III, стр. 294.



и не рассчитывали на грандиозный вывоз. Но они хотели лишь избавить страну от хлебных излишков, образовавшихся в ней вследствие многолетнего запрещения экспорта.

Страна, производящая больше хлеба, чем необходимо для пропитания ее населения, оказывается волей-неволей осужденной на накопление все возрастающих продовольственных запасов, что не может не вызывать постоянного падения хлебных цен. Веллерс приводит интересные цифровые данные, характеризующие развитие этого злокачественного, с точки зрения физиократов, процесса. В последней четверти XVII века цена гектолитра хлеба составляла 17 франков; она постепенно понизилась к 1726—1750 г.г. до 11 франков. Возможно, что около 1750 г. произошла кратковременная остановка в ходе этого процесса, но в 60-х годах намечается новое падение хлебных цен. В 1764 году Дюпон констатирует падение цены гектолитра хлеба до 9 франков. Таким образом, за период, не составляющий и столетия, цена хлеба понизилась вдвое<sup>1)</sup>.

Аналогичные явления происходили и в других странах. Один из наиболее остроумных писателей физиократической эпохи, обладавший тонким нравственным чутьем, американец Вениамин Франклин напечатал в *London-Chronicle* в 1766 г. замечательное письмо «О цене хлеба и о помощи, оказываемой бедным», в котором с большим юмором раскритиковал политику запрещения экспорта, бывшую главной причиной этой необыкновенной дешевизны хлеба. Приведем несколько выдержек.

«Я принадлежу к тому классу народа, который питает вас всех и который вы готовы в данный момент целиком уничтожить; одним словом, я — фермер. Из ваших газет мы узнали, что бог послал некоторым европейским государствам плохой урожай. Я думал, что старая Англия сможет извлечь из этого прибыль, что мы получим хорошую цену за свой хлеб, что вызовет приток к нам миллионов, так что мы сможем купаться в деньгах, — вещь довольно редкая, конечно. Но премудрое правительство запретило экспорт. Ладно, сказал я себе, удовольствуемся ценой нашего рынка. «Нет», — ответили господа зачинщики восстания против нас, — вы не получите этой цены. Везите свой хлеб на рынок, если посмеете. Мы продадим его за ваш счет и притом недорого, если только мы не возьмем его и совсем даром... Стоит ли хранить мой хлеб в амбарах, чтобы питать и размножать крысиное население? Пусть

так. Крысы не окажутся более неблагодарными, чем те, кого я имел обыкновение им питать... Вы говорите, что бедные рабочие не могут оплачивать хлеба по повышенной цене, если не будет, по крайней мере, повышена и заработная плата. Это возможно. Но как обернуться нам, фермерам, чтобы заплатить подороже своим рабочим, если вы не позволяете продавать дороже наш хлеб?.. Если это — хороший принцип, что следует препятствовать экспорту какого-нибудь предмета, чтобы он стоил дешево внутри страны, придерживайтесь этого принципа и смело идите вперед по этому пути. Запрещайте экспорт ваших суков, ваших кож, железного товара, словом, ваших изделий всех сортов, чтобы обеспечить их дешевизну внутри страны. И я вам отвечу, что они станут так дешевы, что дело кончится полным прекращением их производства... Может казаться, что мы, фермеры, должны примириться с потерей на цене хлеба, чтобы обеспечить его бедняку по дешевой цене. Запрещение экспорта равносильно, таким образом, налогу в пользу бедных. «Очень благое дело» — скажете вы, но я вас спрашиваю: почему частичный налог, а не общий? Почему он падает только на нас, фермеров? Если это благое дело, сделайте милость, господа (messieurs du public), примите участие в своей доле, освобождая нас в такой же части за счет вашего общего богатства. Сделать доброе дело — значит сразу получить и честь и удовольствие. Мы не хотим лишить вас вашей части»<sup>1)</sup>.

Физиократы наметили цену на хлеб, которая, казалось им, гарантирует сельскому хозяйству полное процветание: 18 лиаров за сеть (около 25 фран. гектолитр). Таким образом, физиократы мечтали о весьма резком повышении хлебной цены по сравнению с тем его уровнем, на котором она стояла в середине XVIII столетия. Главнейшим средством для достижения этой цели они считали именно беспрепятственный вывоз хлеба за границу. Наряду с этим нужно добиваться роста внутреннего потребления хлеба, что, разумеется, возможно лишь при известной зажиточности населения. Но, во всяком случае, наряду с применением крупнокапиталистической культуры, повышение цены хлеба казалось физиократам надежнейшим способом увеличения чистого продукта.

В вопросе о хлебном экспорте общественное мнение было настроено в пользу физиократов. Защита запретительных мер рас-

<sup>1)</sup> Weulersse, назв. соч., т. I стр. 477—479.

<sup>1)</sup> B. Franklin, *Essais de morale et d'économie politique*. Paris, 1867, стр. 97—102.

смаatrивалась, как признак отсталости. Тем не менее, не было недостатка и в сочинениях, отстаивающих старую систему запрещения вывоза. Среди литературных противников физиократов в этом вопросе назовем, прежде всего, Неккера. Работа Неккера «О хлебом законодательстве и о торговле зерном» является типичным меркантилистическим произведением. Процветание наций зависит, прежде всего, от многочисленного населения, которому должен быть обеспечен дешевый хлеб. С этой целью каждая страна должна позаботиться о создании хлебного запаса, который гарантировал бы ее от чрезмерной дороговизны. «Если бы не существовало в руках собственников зерна достаточно большого избытка, живущая трудом часть народа была бы в состоянии постоянной придавренности и нищеты. Этот счастливый избыток, заставляющий собственников продавать из опасения, что другие опередят их, ослабляет их власть и умеряет естественное могущество над потребителями... Бесконечная важность этого избытка представляет идею, значение которой не может быть преувеличено. Именно эта идея проливает свет на главнейшее неудобство неограниченной свободы хлебной торговли и на необходимость установления известных границ<sup>1)</sup>».

Вместе с тем, Неккер выдвигает одно соображение, которое независимо от него было одновременно выдвинуто А. Смитом для защиты прямо противоположной точки зрения и которое сыграло вообще выдающуюся роль в развитии экономической мысли. По мнению Неккера, возвышение хлебных цен может принести собственникам земли лишь временную выгоду. Хлеб — основная пища народа. Поэтому повышение или понижение хлебных цен не может не вызвать вслед за собой соответственного изменения и всех других цен. Изменяется заработная плата, изменяются налоги, изменяются цены на промышленные изделия. Вся система цен представляет как бы одно целое, и в ней каждое звено точно приложено ко всем другим. Поэтому всякая попытка поднять одну цену над другими не может дать никому реальной выгоды.

Другим влиятельным оппонентом физиократов выступил аббат Галиани. В своей блестящей и остроумной книге «Беседы о торговле зерном» Галиани предостерегает против смены одной крайности в области хлебной торговли другою. Он выступает с идеей

относительности в науках, изучающих социальную жизнь. «Нет и не может быть единой программы экономической политики. Часто даже незначительное изменение в народном хозяйстве — выкопанный канал, устроенный порт, приобретенная провинция, потерянная крепость, вновь установленная мануфактура достаточно для того, чтобы изменить всю систему торговли зерном в обширном государстве<sup>2)</sup>». Вот почему недостаточно общих принципов; необходимо считаться с конкретными условиями. Вывозить хлеб может лишь страна, обладающая хлебными излишками. Однако, такими излишками нельзя признать случайный остаток от обильного урожая, который может на другой год смениться недородом и вызвать голод, а за ним ввоз хлеба из других стран. Вывоз допустим только в том случае, если в государстве имеется достаточно большой, накопленный за ряд лет запас хлеба. Однако, определить размеры этого запаса, находящегося в распоряжении нации, нельзя общими аргументами и теоретическими исчислениями. Галиани предпочитает опытную проверку, приводя в защиту своей склонности к эмпирическим приемам научного исследования такую яркую аналогию. «Положим, вы хотите узнать емкость фарфоровой чаши, и сколько в ней поместится воды. Есть на это два способа: 1) послать большому математику измерить вашу чашу. Математик ее рассматривает, поворачивает на все стороны и находит, что она есть тело вращения некоторой кривой около ее оси и представляет род опрокинутого коноида, который вы, всякие профаны, зовете чашей». Через шесть месяцев подсчет математика готов, и он «посылает вам на листочке бумаги уравнение, нашивочное иксами, игреками и зетамч, которое вы с успехом могли бы прочесть в Академии. Но не советую вам на него полагаться; ибо, если ученый муж в рассеянности вместо плюса где-нибудь поставил минус, вы будете думать, что известное количество пунша не наполнит вашей чаши, а на деле оно перельется через край. Есть другой, менее точный, но более простой: это — позвать какого-нибудь деревенщину и сказать ему: любезный, вымеряй пожалуйста, сколько в этой чаше помещается воды. Простец, прежде всего, ставит чашу по возможности горизонтально; берет кружку воды и выливает ее, если этого мало, берет другую и т. д., пока вода не начнет переливать через край. Тогда он вам скажет: «барин, в вашей чаше помещается три кружки без полуштофа, и

<sup>1)</sup> Неккер, назв. соч., стр. 47—48.

<sup>2)</sup> Галиани, назв. соч., стр. 9.



вы можете на это смело положиться»<sup>1)</sup>. Декрет 1764 г. дал возможность эмпирически проверить, сколько зерна может быть поглощено самой Францией и сколько его «переливается через край» при свободе хлебной торговли. Галиани предпочел применить метод «деревенщины», предоставляя физиократам подражать ученому математике. Против ожидания физиократов, экспорт хлеба был очень невелик. По их собственному признанию, «вывоз за последние четыре года, несмотря на полную свободу, был весьма мал»<sup>2)</sup>. Таким образом, крайне просто доказывалось, что Франция большими излишками хлеба не обладает.

Но можно ли вообще считать значительный хлебный вывоз признаком благосостояния страны? По мнению Галиани, экспортируют зерно, главным образом, страны остальные и бедные. Избыток зерна обнаруживает, что страна не располагает достаточно многочисленным собственным населением, которое могло бы поглотить урожай страны целиком. Галиани говорит о «несчастной привилегии иметь излишек зерна при обыкновенном урожае» и советует предоставить эту славу Турции и Египту, Алжиру, Марокко, Польше<sup>3)</sup>. Избытками собственного хлеба следует кормить промышленное население своей страны. Иначе при дороговизне хлеба внутри страны может начаться отлив за границу людей, а вместе с ними и промышленных навыков. Галиани высказывает подозрение, что свобода хлебного вывоза из Англии и вызванная ею дужаная дороговизна припасов была причиной отлива в Америку и людей, и английских мануфактур, откуда они взирают угрожающим оком на их неблагоприятную метрополию<sup>4)</sup>.

Галиани стоит за предпочтительное перед земледелием развитие мануфактур в стране. «Торговля мануфактурным товаром растет пропорционально количеству рук, а торговля жизненными припасами уменьшается пропорционально количеству рук. Так как назначение всякого хорошего правительства заключается в увеличении народонаселения, то из этого и следует, что его истинная цель — развивать мануфактуры, которые растут пропорционально населению и могут, так сказать, развиваться до бесконечности; что, след., оно должно радоваться уменьшению вывоза жизненных припасов; можно даже дойти до полного прекращения этой

торговли, когда население будет потреблять все то, что дает почва. Тогда земледелие даст народу его продовольствие, а мануфактуры привлекут в государство деньги и богатство; можно даже перейти за эти границы и увеличить население до того, что своего хлеба доставать не будет, и придется покупать его в странах малонаселенных на выручку, доставляемую мануфактурными произведениями. И тогда искусство править достигнет своей высшей степени, ибо высшая степень искусства в том, чтобы, наперекор природе, дать возможность на известном пространстве жить большому числу людей, чем ее силы и средства на этом пространстве прокормить могут»<sup>1)</sup>.

Оппозиция Галиани против выдвинутой физиократами программы свободы хлебного вывоза показывает как нельзя лучше, что в этих горячих и страстных спорах скрестились мечи не только двух противоположных теоретических мировоззрений, но и двух интересов. Свобода хлебного вывоза должна была обеспечить высокие цены на хлеб и процветание земледелия. Но она была невыгодна чувствовавшей свои возраставшие силы и значение промышленности. При низких ценах на хлеб город обогащается за счет деревни, при высоких ценах благосостояние деревни увеличивается за счет города. Это противоречие интересов постоянно вновь всплывает в экономической истории последних полутора веков, и мы увидим, что те же позиции, которые были представлены во Франции физиократами и Галиани, защищались в Англии в период господства классической школы Рикардо и Торренсом, с одной стороны, Мальтусом — с другой.

Мы изложили уже всю экономическую систему физиократов и пока не обмолвились ни одним словом об экономической таблице, которой представители «секты» приписывали такое огромное значение. Это объясняется тем, что, как правильно указано Онкеном, экономическая таблица и не представляет собой какой-нибудь самостоятельной части физиократической доктрины, а является лишь методологическим приемом, дающим возможность постигнуть, путем ознакомления с арифметической иллюстрацией, сущность всего учения. Онкен удачно сравнивает экономическую таблицу с аппаратом, освещающим рентгеновыми лучами весь социальный организм<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Галиани, назв. соч., стр. 88.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 170.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 99.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 100.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 98.

<sup>2)</sup> Онкен, назв. соч., стр. 399; срв. также Schelle, Le docteur Quesnay, стр. 262.

Экономическая таблица, по словам Шелля, обнаруживает, что, став экономистом, Кенз не перестал быть доктором. Он изучает кровообращение в народном хозяйстве. Но циркуляция крови в обществе заменяется круговоротом богатства. Жизнь народного хозяйства складывается из ряда последовательных процессов, в которых общественный капитал уничтожается и вновь воспроизводится. В этом движении воспроизводства, набросанном грубыми, но уверенными штрихами Кенз и детально разработанным Марксом (особенно во второй книге «Капитала»: Процесс обращения капитала), находит себе выражение идея закономерности общественной жизни, отличающая в развитии экономической мысли доисторическую эпоху от исторической.

Расскажем, прежде всего, вкратце историю экономической таблицы. Она была впервые напечатана в 1758 или 1759 г. в Королевской типографии, и это дало основание физиократам пустить в оборот легенду о том, что король принимал участие в этом предприятии и что он будто бы сочувствовал физиократическим идеям. В настоящее время история напечатания экономической таблицы может быть представлена в более правдивых и реалистических тонах. Пресыщенный король скучал, и маркиза Помпадур всячески старалась развлекать его. Кенз внушил ей мысль о том, что королю было бы полезно заняться разными ремеслами. Сначала король получил токарные инструменты и стал снабжать весь двор деревянными табакерками. Потом решено было оборудовать для короля миниатюрную типографию; все принадлежности типографского искусства были для него выделаны с особым мастерством. Кенз было поручено заведывание типографией. Король и маркиза очень развлекались новой выдумкой Кенз; королю типографское искусство пришлось гораздо более по вкусу, чем токарное ремесло. Между тем, у Кенз его идеи к этому времени сложились во вполне законченную систему, и ему хотелось посвятить в них короля и маркизу; он не решался, однако, выступить в роли их наставника открыто. Воспользовавшись тем, что король увлекся работой в типографии, Кенз предложил ему для напечатания свою «арифметическую формулу». Он передал Людовику XV свое произведение, говоря: «Ваше величество, вы видели во время охоты множество земель, ферм и работников... Вы изобразите теперь, как эти люди создают (*font naître*) все ваши богатства»<sup>1</sup>).

<sup>1</sup>) Schelle, назв. соч., стр. 245.

Текст экономической таблицы был очень сложен и загадочен. Она состояла из нескольких столбцов, соединенных перекрещивающимися линиями, над которыми значились замысловатые надписи. У короля не хватило терпения довести дело до конца. Но таблица все же была отпечатана в крайне ограниченном числе экземпляров. Ее нет, утверждает Шелль, ни в одной публичной библиотеке. Даже в семье Кенз не сохранилось ни одного экземпляра. До конца XIX века она считалась вообще утерянной в полном своем виде (сохранилась лишь небольшая ее часть в форме так наз. «tableau abrégé»), и лишь около 1894 г. австрийский экономист Стефан Бауэр нашел ее среди бумаг маркиза Мирабо, и в указанном году, по случаю двухсотлетия со дня рождения Кенз, она была вновь напечатана Британской экономической ассоциацией.

В глазах физиократов, экономическая таблица была замечательным изобретением. Мирабо находил, что это открытие не уступает по своему значению изобретению книгопечатания и денег. Вместе с ним и другие физиократы считали, что только экономическая таблица дает возможность превратить политическую экономию в точную науку. Она представляет всеобъемлющую формулу воспроизводства и распределения богатства; и если у вас есть конкретные статистические данные, которыми могут быть заменены входящие в нее условные цифры, то вы безошибочно можете поставить диагноз экономического состояния общества. Физиократы относились к таблице с какой-то особенной любовью и в своей среде фамильярно называли ее «энigma» (таблица, как уже сказано, была исполнена взаимно перпендикуляющимися линиями). Некоторым членам «секты» она далась, впрочем, не без труда. Сам Мирабо, которому на первых же порах было поручено заняться ее популяризацией, едва преодолел трудности этих «арифметических иероглифов». Немудрено, что спустя более ста лет после ее напечатания и исчезновения Энгельс назвал ее «загадкою сфинкса». Лишь современным экономистам, положившим много труда на ее изучение, удалось разгадать тайну ее «кабалистики».

Итак, обратимся к содержанию таблицы. По словам Маркса, «Кенз в экономической таблице немногими крупными штрихами изображает, как годовой продукт национального производства определенной стоимости распределяется посредством обращения так, чтобы при прочих равных условиях могло совершаться простое воспроизводство этого продукта, т. е. воспроизводство в прежнем масштабе. Исходным пунктом периода производства по существу



дела является урожай последнего года. Бесчисленные индивидуальные акты обращения с самого начала объединяются в характерно-общественное массовое движение, — в обращение между крупными функционально-определенными экономическими классами общества» <sup>1)</sup>.

В обществе существует три таких класса: земледельцы, землевладельцы и бесплодный класс. Земледельцы обрабатывают землю, извлекают из нее чистый доход и передают его целиком классу землевладельцев, оставляя себе лишь необходимое пропитание <sup>2)</sup>.

Класс землевладельцев выполняет в обществе высшие функции управления и суда. В незапамятной древности он произвел необходимые затраты на приведение земли в годный для обработки вид, и на этом основываются его притязания на присвоение чистого продукта. Бесплодный класс, охватывающий ремесленников, торговцев и представителей свободных профессий, занимается лишь переработкой материалов, перемещением продуктов с места на место и оказанием нематериальных услуг. Этот класс не создает никакого приращения богатства, добавляя к ценности перерабатываемого им вещества лишь ценность средств пропитания, потребленных во время производственного процесса.

Между этими тремя классами и должен распределяться в каких-то пропорциях урожай. При этом не только должны быть удовлетворены необходимые потребности всего общества, но должен быть также восстановлен тот фонд материального богатства, который обеспечил жителям данной страны возможность получения известного чистого продукта. Хотя в условиях современного мелкого хозяйства отношения распределения облекаются в костюм денежного обмена, но весь процесс круговорота общественного богатства можно отлично изобразить и без всякого посредства денег. Тогда все движение общественного богатства будет заключаться в том, что часть годичного урожая, олицетворяющая собою чистый продукт, переходит от земледельцев к земельным собственникам и начинается затем растекаться по желобкам общественной системы, обмениваясь на другие продукты, созданные общественным трудом. По предположению физиократов, чистый продукт, поступивший в руки землевладельцев, потребляется ими целиком, рас-

пределяясь поровну на две части, из которых одна обменивается на естественные произведения, оставшиеся у земледельцев, а другая поступает бесплодному классу в обмен на всякие мануфактурные товары. Согласно с общими принципами своего учения, физиократы полагают, что каждая частица общественного богатства, возвратившаяся к земледельцам, вновь воспроизводится ими с приращением чистого продукта в размере 100% <sup>1)</sup>. Другая же часть поступившего землевладельцам чистого продукта, ушедшая в обладание бесплодного класса, только восстанавливается в своей ценности, но никакого прироста богатства не дает. Вновь появившийся чистый доход, составляющий 100% той половины прежнего чистого дохода, которая была возвращена собственниками земли классу земледельцев в обмен на продукты сельского хозяйства, опять переходит в руки собственников и вновь распределяется на те же две части. Таким образом, класс земледельцев вновь получает половину этого чистого дохода, составляющую уже только  $\frac{1}{4}$  первоначального, вновь воспроизводит его с прибытком в 100% и опять-таки отдает этот чистый продукт землевладельцам. Вслед за этим, он получает обратно уже только  $\frac{1}{8}$  первоначального чистого продукта и т. д. Другими словами, в гипотезе Кенэ земледелие получает в форме ежегодных авансов и восстанавливает в чистом продукте половину плюс  $\frac{1}{4}$ , плюс  $\frac{1}{8}$ , плюс  $\frac{1}{16}$  и т. д. первоначального чистого продукта. Так как сумма этих дробей равна единице, то земледелие восстанавливает такое же количество чистого продукта, какое было им получено. Вся эта схема покоится на предположении, что класс землевладельцев целиком расходует получаемый им чистый продукт; вместе с тем, он так распределяет свои расходы между приобретением продуктов сельского хозяйства и мануфактурных товаров, чтобы земледелие как раз получило возможность воссоздать в следующем операционном году такое же количество чистого продукта, какое было отдано классу землевладельцев и истрачено им. Экономическая таблица изображает схему статического хозяйства. Производство и потребление всегда совершаются в одних и тех же рамках, и чистый продукт выражается постоянно одной и той же величиной. Экономическая таблица, таким образом, изображает народное хо-

<sup>1)</sup> К. Маркс, Капитал, т. II, кн. 2-я. Пропесс обращения капитала. М., 1907, стр. 829.

<sup>2)</sup> Напоминаем об ограничениях, внесенных в этот принцип самими физиократами, и об их колебаниях в этом вопросе.

<sup>1)</sup> То обстоятельство, что физиократы допускают в экономической таблице прирост чистого продукта в размере 100%, показывает, что народное хозяйство перешло целиком к крупной культуре, дающей именно такую норму чистого продукта, и, следовательно, достигло высшей степени совершенства.

зайство в состоянии абсолютного равновесия. Если бы классу землевладельцев вздумалось изменить пропорции, в которых он распределяет свои траты между продуктами сельского хозяйства и промышленности, то это немедленно привело бы к некоторому изменению характера воспроизводства общественного богатства. Если бы большая часть полученного землевладельцами чистого продукта пошла в обмен на продукты сельского хозяйства, то это необходимо вызвало бы увеличение общей суммы богатства, достоящейся земледельцам, и так как в руках последних богатство дает прирост в 100%, то к следующему году и вся масса чистого продукта, передаваемая землевладельцам, возросла бы. Из этой увеличившейся массы снова большая часть поступила бы в распоряжение сельского хозяйства, в результате чего сумма чистого продукта к следующему году получила бы еще больший прирост. Таким образом, при этой системе распределения народное хозяйство переходит в состояние прогрессивной динамики и дает схему расширенного воспроизводства общественного капитала. Наоборот, если бы класс землевладельцев обнаружил склонность к усиленным «непроизводительным» расходам на предметы, изготовляемые промышленностью, то народное хозяйство перешло бы на рельсы регрессивной динамики и дало бы картину убывающего воспроизводства. Экономическая таблица может служить поэтому средством распознавания того состояния, в котором пребывает народное хозяйство.

Изложенное нами содержание экономической таблицы могло бы быть также воспроизведено в форме обращения денег. Можно предположить, что в руках класса земледельцев находится некоторое количество денежных знаков, соответствующее сумме чистого дохода, которая должна быть ими уплачена классу собственников. Эти деньги частью возвращаются земледельцам, частью поступают в распоряжение бесплодного класса. Это введение денежных знаков в схему круговорота общественного богатства ничего не прибавляет к первоначальной схеме. Все также воспроизводится и потребляется общественное богатство, все также появляется вновь и вновь чистый продукт в одном и том же количестве. Деньги выполняют лишь роль посредника при распределении годичного урожая между общественными классами. Это их подчиненное положение в схеме экономической таблицы еще лишний раз подчеркивает отличие физиократической точки зрения на деньги от взгляда меркантилистов. Деньги не представляют собою олицетворения бо-

гатства. Между этими двумя величинами существует даже прямое количественное несоответствие. Общая масса обращающихся денег значительно меньше суммы ежегодного дохода страны. Так, в схеме физиократов ежегодный урожай оценивается в 5 миллиардов франков, а для распределения его между общественными классами оказывается достаточной денежная сумма в 2 миллиарда.

Чтобы покончить с физиократическим учением, нам остается вкратце изложить его теорию налогов. Собственно говоря, политическая экономия возникла именно на почве искания новых обильных источников доходов для казны. Поэтому финансовая наука очень долго сохраняла живую связь с политической экономией, и каждая экономическая система служила основанием и для построения теории налогов. Уже очень рано в меркантилистической литературе сложилось убеждение, что длительное благополучие государственного казначейства достижимо лишь в том случае, если налоги захватывают лишь часть национального дохода, но не посягают на основной капитал страны. Если государственные поборы так велики, что нации приходится понемногу продавать свое богатство, то рано или поздно это должно вызвать ощутительное сокращение национального дохода, еще более сжать источники получения для фиска и сделать необходимым еще больший нажим на основной капитал. Таким образом, если налоги берутся с основного капитала, то тем самым подрываются корни общественного благосостояния и, вместе с тем, процветание государственного аппарата.

Исходя именно из такой точки зрения, физиократы старались согласовать ее с основными положениями своего учения. Весь чистый доход поступает землевладельцу. Другие классы получают лишь необходимые средства к жизни. Если обложить их налогами, они вынуждены будут прибегнуть к позимствованию из капитала, участие которого в сельско-хозяйственном производстве является залогом национального преуспеяния и получения чистого дохода. Если бы даже эти классы населения могли сжать свои необходимые потребности, то это вызвало бы сокращение спроса на предметы первой необходимости, и значит, в частности, продуктов сельского хозяйства, что опять-таки вызвало бы падение чистого дохода. Поэтому во всех тех случаях, когда налог падает не на чистый доход, плательщику его приходится тем или другим способом добывать переложения выпавшей на него доли налогового бремени на более могучие плечи класса землевладельцев. Отсюда физиократы приходят к делению всех налогов на прямые и кос-



венные. Прямые налоги непосредственно взимаются с чистого продукта. Косвенные налоги падают на всякие другие объекты, но затем одними или другими путями перебрасываются все равно на чистый доход. Отсюда ясно, что гораздо рациональнее организовать налоговую систему так, чтобы она непосредственно захватывала соответствующую часть чистого дохода у первоисточника. Таким путем достигается значительная экономия на издержках собирания налогов.

Физиократы были, таким образом, сторонниками единого налога на чистый продукт. А так как чистый продукт поступает в распоряжение землевладельцев, то естественным выводом отсюда было предложение физиократов о взимании всех налогов с этого класса и об освобождении от них всего прочего населения. Эта программа налоговой политики физиократов отлично согласовалась с самым представлением физиократов о природе землевладельческого дохода. Землевладельцы не выполняют никаких экономических функций. Их обязанности в обществе носят административно-организаторский характер. Этим служением общественному благу они и наполняют свой досуг. Иерархическая лестница государственных чинов возглавляется государем, который и должен рассматриваться, как «первый между равными». Он является как бы идеальным участником в собственности любого землевладельца на его участок земли. Поэтому неудивительно, что он может притязать на получение известной доли этого чистого дохода. Физиократы полагали, что в минуту общественной неурядицы эта отбираемая казною часть чистого дохода может возрастать до 50%.

Но если учение физиократов о налогах вполне соответствовало их теоретическим построениям, то оно очень резко расходилось с налоговой практикой их времени. Оно, правда, представляло огромный прогресс в том отношении, что исходило от намерения возложить налоговое бремя на наиболее гильные в имущественном отношении общественные элементы, тогда как во Франции в предреволюционную эпоху широкие народные массы буквально стояли под игом тяжелых и жестоких государственных поборов. Но эта реформа, проектировавшаяся физиократами, была односторонней, так как она предполагала взвалить всю тяжесть налогов на сельское хозяйство и освободить от них промышленность. Она исходила, таким образом, не столько от имущественного положения плательщика налогов, сколько от участия его в той или другой отрасли народного хозяйства. Отсюда осуществление физиократического

проекта единого налога неизбежно привело бы к новой неравномерности в распределении налогового бремени, так как единый налог одинаково поражал бы и мелкого и крупного собственника земли, в то же время совершенно не настигая состоятельных элементов «бесплодного» класса. Никто не показал этого лучше, чем Вольтер в своей знаменитой сатире «L'homme à quarante écus» сделавшей раз навсегда смешною налоговую программу физиократов в глазах современников. «Вольтер изображает положение трудолюбивого французского крестьянина, который живет в страшной бедности, но которому удается получить из своей земли чистый доход, равный 40 экю. Приходит сборщик податей, находит, что крестьянин может постараться удовлетворить свое тело и душу и на 20 экю, и отнимает у него другую половину. Затем крестьянин встречает своего старого знакомого, бывшего бедняка, которому по наследству досталось состояние в деньгах и процентных бумагах, дающее 400 тыс. экю годового дохода. Он едет в карете, запряженной шестеркой лошадей, с 6-ю лакеями, из которых каждый получает жалованья вдвое больше, чем весь доход крестьянина; его метр-д'отель получает 2.000 экю жалованья и крадет на 20.000; его содержанка стоит ему 80.000 в год. «Вы, конечно, платите половину вашего дохода—200 тыс. экю—государству», спрашивает его крестьянин. «Вы шутите, мой друг», отвечает тот, «я не земледелец, как вы. Сборщик податей был бы дураком, если бы он обложил меня; ведь все, что я получаю, идет, в конце концов, от земли и, след., налог уже кем нибудь был уплачен. Заставить платить также и меня—это было бы возмутительнейшим двойным обложением... Так, так, мой друг, платите исправно свой единый налог, пользуйтесь спокойно вашим чистым доходом в 40 экю, служите хорошо своему отечеству и заходите иногда пообедать с моим лакеем. О, да, единый налог—это замечательная вещь». Эта картинка, прибавляет Селигман, может быть более, чем все другое, сделала бесплодными труды физиократов<sup>1)</sup>.

Действительно, эта бессмертная сатира Вольтера показала в весьма ярком свете, к какому абсурду приводит на практике прямолинейное осуществление физиократических идей. Нет в действительности того резкого противоположения сельского хозяйства и промышленности, которое рисовалось воображению физиократов.

<sup>1)</sup> Э. Селигман и Р. Стурм. Этюды по теории обложения. СПб, 1908, стр. 108—109.

Рента, как и всякий другой доход, не вырастает из земли, а является продуктом известных общественных условий. При одном соотношении цен на продукты сельского хозяйства и промышленности становится более производительным сельское хозяйство, при другом — промышленность. Несчастье физиократов заключалось в том, что они выступили на общественную арену как раз в то время, когда подготавливалось в недрах народного хозяйства величайшее торжество промышленности. Немудрено поэтому, что их теории после кратковременного, но эфемерного успеха потерпели полное поражение и были так основательно забыты.

### ГЛАВА III.

#### АПОЛОГИЯ 'ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ.

(Адам Смит).

«Смит-практик, черпающий выводы из мира экономических будней, Смит, последовательный индивидуалист, Смит, тесно связывающий производительность с количеством о благих, поступающих в продажу, и говорящий о людях, как о «других благах», Смит, проникнутый утилитаристскими тенденциями, стремился выдвинуть на первый план материальные вещи; и это был преобладающий Смит. Этому Смиту человеческая карьера представлялась предопределенной средой, разделение труда воздействующим на характер скорее, чем наоборот; и люди — пешками в машинообразной игре природы. Но был и другой Смит, правда, наполюну незаметный в «Богатстве народов»: этот Смит несколько ограничивал свой индивидуалистический оптимизм, молчаливо дедуцировал свои выводы из идеалистических предпосылок, подчеркивал социальную точку зрения и противопоставлял долг и нравственные основания «естественным». Это был Смит, написавший «Теорию нравственных чувств», обнаруживающий явные следы идеалистических тенденций».

Напееу. The history of economic thought.

Физиократическое учение выросло ярким метеором в тьму меркантилистических заблуждений; но его свет очень быстро угас. Идеализация аграрного капитализма пришлась не ко времени. Физиократы мечтали оплодотворить поля несметными капиталами и ждали от этого феерических результатов. Мобилизация капи-

талов действительно произошла, но густая их масса хлынула не в земледелие, а в промышленность. Промышленная революция сделала возможным дешевое массовое производство, дающее капиталисту большие барыши. Капитал не заражен теоретическими предассудками: он не придает значения тому, чтобы его чистый доход происходил из «приращения вещества», — лишь бы он был велик. В погоне за прибылью он свободно переливается из одной отрасли народного хозяйства в другую, не считаясь с желаниями теоретиков. Планы физиократов были поставлены на голову. Если и произошло перераспределение капиталов, то оно свелось к отливу их из земледелия в промышленность. Физиократы были твердо убеждены в природной мощи сельского хозяйства, дающей ему возможность сразиться с промышленностью в честном бою, — при полном отсутствии государственного покровительства той или другой стороне. Поэтому программа свободной торговли казалась им лучшим способом произвести это единоборство, которое должно было кончиться блестящей победой земледелия. До промышленной революции, может быть, это мнение и не было утопией. Но, опираясь на усовершенствования производственной техники, промышленный капитализм удесятерил свои силы и сам выдвинул требование полной свободы торговли. Меркантилистическая регламентация потеряла для него значение. Он не нуждался более в искусственном благоприятствовании, в теплой атмосфере. И когда, после долгой и упорной борьбы, все остатки покровительственной системы были сметены, капиталистическое превосходство промышленности над земледелием обнаружилось в полной мере.

Англия была родиной этого переродившегося, распухшего на дрожжах капитализма. Она становится «мировой фабрикой». Неведомо, что и капиталистическая идеология зарождается и получает законченное выражение в этой же стране. Исходной точкой этого замечательного научно-общественного течения была бессмертная книга Адама Смита: «Богатство народов». Автором ее был тихий, скромный ученый, не имевший сам, повидимому, никакого вкуса к капиталистической наживе. Смит не создал школы в полном смысле этого слова: он не был окружен толпой преданных последователей, жадно ловящих благовест его учения. Как отлична была от возбуждающей, вызывающей нервный подъем атмосферы, в которой жили физиократы, обстановка покоя и уюта, окружавшая Смита! Можно ли сравнить с пышными, театрально-торжественными физиократическими ассамблеями скромный клуб поли-



тической экономии в Глазго, бывший, повидимому, по словам биографа Смита, первым в мире учреждением этого рода, так как он был учрежден еще в 40-х годах XVIII столетия! Смит еженедельно в течение 13 лет посещал этот клуб, встречая там своих друзей. Шла, вероятно, солидная, в английском стиле, беседа, содержание которой не выходило, однако, за стены клуба. Среди участников клуба один только Смит приобрел впоследствии славу экономиста. «Богатство народов» появилось в эпоху глубокого равнодушия и общественной апатии к общественным вопросам. И все же семена смитова учения дали богатые всходы. Они вырастили классическую политическую экономию.

Однако, тусклый фон, на котором вырисовались идеи «Богатства народов», в то же время поспособствовал необыкновенному литературному успеху этой книги. Она облетела весь свет и сделала популярным имя автора даже в широких общественных кругах, глубоко равнодушных, по общему правилу, к научным сочинениям.

Адам Смит целиком принадлежит блестящему XVIII веку. Родившись в небольшом шотландском городе Киркальди, едва насчитывавшем в его дни 1500 жителей <sup>1)</sup>, и проведя большую часть своей спокойной тихой жизни либо у себя на родине, либо в небольших университетских городах Великобритании, он, тем не менее, сумел впитать в себя энциклопедическую просвещенность эпохи, давшей миру Монтескье, Вольтера, Руссо, Дидро, Кондорсе. В течение сравнительно недолгого «13-летнего периода активной академической работы», представлявшегося впоследствии Смигу «самым полезным и поэтому счастливейшим и почетнейшим периодом» его жизни <sup>2)</sup>, он читал курсы нравственной философии, в котором развертывал перед слушателями широкую картину научных достижений его времени. Он умел сочетать в своей работе историю астрономии и физических наук, изучение формирования языков, теорию нравственных чувств и учение о богатстве <sup>3)</sup>. Весьма ценным документом, характеризующим интеллектуальную широту Смита, является опубликованный в 1896 г. проф. Кеннаном манускрипт, найденный в архиве одного эдинбургского адвоката Macopochie и представляющий студенческую запись курса по

юриспруденции, читанного Смитом <sup>4)</sup>. В строгой последовательности здесь проходят перед читателем отделы, посвященные публичному, семейному, частному праву, основным вопросам народного благосостояния, государственным доходам, организации армии, международному праву. Будучи ревностным поклонником классической древности, А. Смит при изложении в своей «Теории нравственных чувств» различных систем нравственной философии обнаруживает одинаковую осведомленность в учениях Платона, Зенона, Эпиктета и Цицерона, а также и в теориях своего учителя нравственной философии Гетчесона, к которому он относился с необыкновенным почетом и любовью <sup>5)</sup>. До конца дней своих он мечтал об опубликовании комментария к «Духу законов» Монтескье, надеясь превратить этот комментарий в изложение законов развития человеческих обществ. Незадолго до кончины Смита, журнал *Moniteur Universel*, сообщая об этом предстоящем литературном событии, выражал убеждение, что эта книга «составит эпоху» в истории политики и философии <sup>6)</sup>.

В своем бессмертном «Богатстве народов», представляющем конденсированный продукт упорного 12-летнего труда в уединении, из которого тщетно старался вытащить Смита его близкий друг знаменитый философ Д. Юм, Смит счастливо избежал цеховой замкнутости современных узких специалистов, — замкнутости, которая неприятно поражает уже в отечественных математических формулах Рикардо. В каждой строке «Богатства народов» вы вдыхаете аромат философских настроений века. Исторические, социологические, психологические концепции громадятся одна на другую в мозгу нашего шотландского философа, и он спешит пропитать их насыщенным раствором свои экономические категории. Недаром один из ранних смитианцев Генрих Шторх, обучавший политической экономии русских великих князей и составивший для них обширный курс, в котором он так же «вобрал» Смита, как за полвека до него Екатерина II «вобрала» президента Монтескье, находит у него все же «избыток понятий», на который жалуются все читающие Смита <sup>4)</sup>. Благодаря этому «избытку

<sup>1)</sup> Lectures on justice, police, revenue and arms, delivered in the university of Glasgow by Adam Smith, Oxford, 1896.

<sup>2)</sup> Срв. А. Смит. Теория нравственных чувств. СПб., 1868, стр. 347 и 63.

<sup>3)</sup> Ingram. A history of political economy. Edinburgh, 1888, стр. 92.

<sup>4)</sup> Цит. по русск. пер. Вернадского. Г. Шторх. Курс политической экономии, т. I. СПб. 1881, стр. 50.

<sup>1)</sup> J. Rae. Life of A. Smith. London and New-York, 1895, стр. 17.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 42.

<sup>3)</sup> H. Denis, назв. соч., т. I, стр. 205.

понятий», у Смита можно, например, найти в зародыше самые разнообразные ответвления теории ценности и распределения, получившие развитие в последующей эволюции экономической мысли, а новейшие истории идей так охотно обвиняют его в «эклектизме». В защиту Смита можно сказать словами Бем-Баверка, что «ни одному основателю какой-либо научной системы не было суждено довести до конца все хотя бы только важные мысли, которые составляют ее... Даже самый глубокий ум должен довольствоваться многими гипотетическими построениями и исключать в свою систему, не вдаваясь в серьезную критику, мысли, исчерпать которые ему не суждено»<sup>1)</sup>.

Смит не был, однако, книжным червем. Академическая образованность не удовлетворяла его. Всем сердцем он тянулся к блистательному Парижу, бывшему в то время умственным центром, в богатых салонах которого наука справляла пышные триумфы. В 1765 г. Смит, наконец, попал в Париж в скромной роли гувернера молодого герцога. Благодаря Д. Юму, Смит нашел доступ в высшие литературные сферы, в которых сам Юм «вращался подобно полубогу в течение предшествовавших двух лет. Философ был тогда в Париже королем, а Юм был королем философов, так что все, имевшее вес при дворе и в салонах, повергалось перед ним ниц и повиновалось ему»<sup>2)</sup>. Английская философия все более и более входила в моду. «Пустые, мечтательные гипотезы» француза Декарта должны были уступить место «великой, стройной во всех своих частях теории» англичанина Ньютона<sup>3)</sup>. Значительно возрастает влияние Локка. По словам Смита, «ранние английские экономисты примыкают к философии Бэкона и Гоббса, между тем как впоследствии «философом политической экономии для Англии, Франции и Италии стал Локк»<sup>4)</sup>. Сам Смит в ранней своей статье, помещенной в 1756 году в *Edinburgh Review*, указывает, что французские энциклопедисты «оставили свою традиционную картезианскую систему, чтобы принять английские системы Бэкона и Ньютона».

Смит, очутившись в 1765 г. в Париже, познал первые плоды этого влияния английской философии. Он, в сущности, даже не нуждался в рекомендации своего приятеля, так как его собственное имя было достаточно хорошо известно в литературных кругах Парижа благодаря очень скверному переводу его «Теории нравственных чувств» на французский язык, сделанному по инициативе известного материалиста барона Гольбаха (этот первый французский перевод вышел под названием «Метафизика духа»; впоследствии появилось еще несколько переводов, лучший из которых принадлежит перу вдовы Кондорсе). В качестве философа Смит, главным образом, и фигурировал в парижских салонах<sup>1)</sup>. Правда, он познакомился у Кенэ и с представителями «секты экономистов», но не произвел на них особенного впечатления. Дюпон-де-Немур впоследствии писал Сэ, что физиократы видели в нем «не более, чем обыкновенного, здравомыслящего и простого (simple) человека, так как Смит в то время еще не обнаруживал материала, из которого он был сделан»<sup>2)</sup>. Лучше других Смит, повидимому, познакомился с аббатом Морелле, бывшим одновременно и метафизиком, и экономистом. В своих мемуарах аббат вспоминает о беседах со Смитом о разных экономических материях: «теории торговли, банковом деле, государственном кредите и других частях большого сочинения, которое Смит тогда замыслил». Смит встречался довольно часто и с Тюрго, к которому относился с большим уважением и даже восторженно, преклоняясь перед его умом и характером<sup>3)</sup>.

Мы остановились сравнительно подробно на пребывании Смита в Париже, так как, во-первых, этот эпизод был едва ли не единственным крупным «событием» его однообразной жизни, и так как, во-вторых, он дал возможность Смицу близко познакомиться с физиократическим учением, которое было столь influentially во Франции, оставаясь в то же время почти неизвестным на родине Смита. После посещения Франции Смит уединился в Киркальди, где, как уже сказано, и провел несколько лет над своим замечательным сочинением, вышедшим в 1776 году. Остальные 14 лет своей жизни он прослужил в качестве таможенного чиновника, работая, повиди-

<sup>1)</sup> Бем-Баверк, Капитал и прибыль. СПб. 1909, т. I, стр. 91.

<sup>2)</sup> Рае, назв. соч., стр. 196.

<sup>3)</sup> Слова Мальтуса. Срв. Р. Мальтус. Опыт о законе народонаселения. СПб, 1868, т. II, стр. 13.

<sup>4)</sup> К. Маркс, Капитал, кн. I, перев. под ред. П. Струве. СПб, 1906, стр. 207.

<sup>1)</sup> Гасбах, положивший много труда на восстановление философского учения Смита из сохранившихся обрывков его взглядов, признает Смита «одним из наиболее выдающихся философов Англии». Срв. Hasbach, Untersuchungen über A. Smith. Leipzig, 1891, стр. 110.

<sup>2)</sup> Рае, назв. соч., стр. 215.

<sup>3)</sup> Там-же, стр. 201—202.



тому, над новыми трудами, так и не увидевшими света. Он тихо скончался в 1790 г. 67 лет от роду.

Несмотря на замкнутую жизнь, которую вел Смит, несмотря на то, что почти все время он отдавал кабинетной работе, несмотря на совершенно исключительную неловкость в обществе и рассеянность, по поводу которой существует ряд анекдотов, один другого изумительнее, Смит не был отвлеченным доктринером. Опасения друзей (о которых рассказывает биограф Смита), что последний, стоя далеко от коммерческой жизни, не сумеет дать в «Богатстве народов» ясного представления о реальных экономических отношениях, совершенно не оправдались. Можно даже утверждать, что Смит оказался лучшим наблюдателем, чем теоретиком. Удивительно занимательный рассказчик, пока он повествует о явлениях внешнего мира, о том, что он сам видел или что он может ясно, выпукло себе представить, Смит охотно повествует в начале своего «Богатства народов» о разделении труда и его причинах, о свойствах металлов, употребляемых в качестве денег, живо изображает зарождение обмена и т. д. Слово умышленно Смит начинает свой труд не с отвлеченных теорий, а с описания материальных процессов, происходящих во внешнем мире. Он как бы медлит расстаться с конкретными физическими образами вещей. Вы чувствуете, что Смит на время унывает, когда подходит вплотную к проблеме относительной или меновой ценности благ. Даже наметив уже тему исследования, расчленив ее для удобства на три отдельных вопроса, он считает нужным «очень серьезно попросить у читателя терпения и внимания; его терпения — для изучения деталей, которые могут, пожалуй, в иных местах показаться ненужно скучными; и его внимания — для понимания того, что, быть может, после самого полного объяснения, какое я способен дать, покажется еще до некоторой степени неясным (obs-cure)». С такими оговорками подходит Смит к вопросу о ценности, самый предмет которого представляется ему «по своей природе крайне абстрактным»<sup>1</sup>. Эта робость Смита перед проблемой ценности не случайна: повидимому, он чувствовал себя гораздо свободнее среди материальных предметов, чем среди идей и представлений. Недаром он замечает: «Большая часть людей понимает лучше, что значит количество какого-нибудь блага, чем количество

труда. Одно представляет явный и осязаемый предмет (plain and palpable object); другое — абстрактное понятие, которое, хотя и может быть сделано достаточно доступным разуму (intelligible), но совсем не является столь же естественным и очевидным»<sup>1</sup>).

Эта природная живость воображения и неиссякаемый интерес ко всему, что может быть воспринято человеческими чувствами, прекрасно сочетались у Смита с его философским мировоззрением. Для правильного уяснения социологических и экономических взглядов Смита некоторое знакомство с его философскими построениями положительно необходимо.

Недаром Авг. Ойкен, отвергая заявленные некоторыми историками экономической мысли притязания на почетную роль «отца политической экономии» для Кантильона, выдвигает утверждение, что работе Кантильона «не достаёт в особенности той великой морально-философской основы, которая характеризует системы Кенэ и Адама Смита»<sup>2</sup>). Эта «великая морально-философская основа» была, повидимому, всесторонним отражением того широкого умственного течения, которое получило имя английского просвещения. Мы уже познакомились с его содержанием, когда характеризовали выше французский материализм XVIII ст. Стремление копировать методы естествознания, признание принципиального тождества физических и нравственных законов, отрицание врожденных идей, ограничение человеческого знания пределами чувственного опыта и возможными в нем комбинациями представлений — таков философский багаж английского просвещения. Виндельбанд в своей «Истории новой философии» тонко подмечает одно внутреннее противоречие, часто повторяющееся у великих натуралистов 18—19 в.в., особенно в Англии. «Два значительных скопления идей: с одной стороны, религиозного воспитания и метафизической потребности, с другой — научная система механической причинности лежат у этих людей, повидимому, вполне отдельно друг от друга, без всякой внутренней связи, и при этом каждое из них опирается на столь прочную субъективную уверенность, что внутреннее противоречие, в котором они находятся, совершенно подавляется, ибо они не в состоянии вытеснить друг друга»<sup>3</sup>). Это горячее стремление сочетать материализм с известными религиозными началами было общим и физиократам, и Смицу.

<sup>1</sup>) Smith. W. of N., стр. 14.

<sup>2</sup>) Ойкен, назв. соч., стр. 284.

<sup>3</sup>) Виндельбанд. История новой философии. Т. I, СПб., 1908, стр. 263.

<sup>1</sup>) Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations, 1838, конец гл. IV, кн. I (ed. by Mac Culloch).

Смит был далек от крайнего материализма. Однако, несмотря на не раз прорывающуюся у него веру в какое-то высшее существо, «невидимой рукой» направляющее человеческие поступки к достижению общего блага, материализм также сохраняет у него достаточную яркость красок.

В этом отношении весьма интересно рассуждение Смита о философских системах, которое, как нам кажется, ясно рисует стремление нашего профессора нравственной философии превратить социальные науки в физические, избавив их от необходимости вторгаться в дебри человеческой психики. Смит приветствует принятое греческой философией разделение ее на три больших отдела: физику или естественную философию, этику или нравственную философию и логику. Натурфилософия, в представлении Смита, объясняет причинную связь явлений природы. «Великие явления природы: перевороты в небесных телах, затмения, кометы, гром, молнии и другие исключительные атмосферные явления, зарождение, жизнь, рост и гибель растений и животных» — таково смитовское перечисление явлений, подлежащих ведению натурфилософии. Нравственную философию, под которой Смит разумет нормы поведения живущего в обществе человека, он строит по аналогии с физикой так, чтобы «правила общего поведения были упорядочены известным методическим способом и связаны между собой немногими общими принципами, подобно тому, как пытались упорядочить и связать явления природы». Наконец, логика учит правильному мышлению, умению отличать «обманчивые» доказательства от «убедительных», основанных на опыте.

В этой системе греческой философии, одобряемой Смитом, нет места метафизике, в противоположность современной ему философии, где метафизика до тех пор расширялась, пока, наконец, «наука о духе, которая представляет так мало данных для познания, не заняла, в конце концов, в системе философии столько же места, как наука о телах, которая дает так много материала для познания». К науке о духе Смит вообще относится с изрядным пренебрежением, так как она представляет «предмет, в котором после немногих очень простых и почти очевидных истин даже самое изощренное внимание не откроет ничего, кроме темных и недоверенных мест, и, след., не может создать ничего, кроме неуживучих тонкостей и софизмов (subtleties and sophisms)».

Не представляя себе, повидимому, возможности зарождения в человеческой душе сложных самостоятельных психических явле-

ний, способных активно воздействовать на внешний мир, Смит давал и довольно уничижительную оценку человеческих способностей вообще. Даже Хут, автор интересной работы о Смите, при всей его высокой оценке смитовской социологии, должен признать, что Смит довольно скептически относится к человеческим способностям. Он говорит в своей «Теории нравственных чувств» о «слабых усилиях человеческого разума», о «медленных и ненадежных стремлениях нашего разума» «подобрать надлежащие средства», приписывает человеку «слабость сил и узость понимания»<sup>1)</sup>. Естественно, что при таком явном пренебрежении к психическим дарованиям человека Смит, стремясь внести известную координацию в свои представления о народном хозяйстве, предпочитал поставить явления хозяйственной психики в зависимость от вещей и физических процессов. В этом отношении он идет по стопам физиократов, распространивших, как мы видели, идею космической закономерности в равной мере на мир физических и нравственных явлений. В тесной связи с этой тенденцией стоит и развиваемое им учение о природной одинаковости всех людей. Ему, чье имя прославлено учением о разделении труда, т. е. о дифференциации функций, выполняемых отдельными хозяйствующими субъектами в обществе, казалось бы, особенно ясной должна была быть мысль о природном несходстве человеческих способностей как первооснове разделения труда. Заслуживает быть отмеченным, что еще Платон, впервые отчетливо сформулировавший идею общественной полезности разделения труда, видел в нем как бы закон природы, и именно потому, что «люди не одинаковы, они рождаются с индивидуальными различными задатками»<sup>2)</sup>. Однако, упомянутый натурализм XVII—XVIII в. в. решительно отступает в этом отношении от Платона. По словам профессора Спекторского, «упрощение человеческой природы проявилось в том, что все люди были признаны равными друг другу. Так, Гоббс учил, что от природы, душой и телом, все люди равны»<sup>3)</sup>. На Смита, однако, повлияли не столько Гоббс, сколько Локк с его представлением о человеческой душе, как о *tabula rasa*, и особенно Д. Юм, у которого та же идея встречается в многообразных вариациях. «Всеми при-

<sup>1)</sup> H. Huth. *Soziale und individualistische Auffassung im 18. Jahrhundert*, vornehmlich bei A. Smith und A. Ferguson. Leipzig, 1907, стр. 72.

<sup>2)</sup> Р. Пельман. *История античного коммунизма и социализма*. СПб, 1910, стр. 123—124.

<sup>3)</sup> Е. Спекторский. *Проблема социальной физики в XVII столетии*, т. II, Киев, 1917, стр. 407.



знано», пишет, напр., он, «что существует сильное единообразие в поступках людей всех наций и эпох, и что человеческая природа всегда остается одинаковой во всех своих принципах и проявлениях»<sup>1)</sup>. Смит в этом вопросе даже еще более резок. Различия в людях он готов признать «не столько причиной, сколько следствием разделения труда». Его пренебрежение к человеческой индивидуальности столь велико, что он разражается такими сентенциями: «Различие между самыми несходными характерами, между философом и уличным разносчиком, напр., кажется, происходит не столько от природы, сколько от привычек, обычая и воспитания. Когда они являются на свет божий, в течение первых 6 или 8 лет их существования, они, пожалуй, очень похожи друг на друга, и ни их родители, ни сверстники не могли бы заметить каких-нибудь значительных различий». У животных, по мнению Смита, индивидуальность проявляется в большей мере, чем у людей. «Многие породы животных, принадлежащие к одному и тому же роду, получают от природы гораздо более заметные отличия в способностях, чем это имеет место между людьми до влияния на них обычаев и воспитания. По природе философ и наполовину так не отличается от уличного разносчика по способностям и дарованию, как дворянка отличается от борзой, или борзая от болонки, или эта последняя от овчарки»<sup>2)</sup>.

Это мнение Смита о природном сходстве людей следует сопоставить с его же учением о неизменности субъективных пожелтваний, т. е. неприятностей, связывающихся в человеческом сознании с процессом труда. «Равные количества труда всегда и всюду, можно сказать, имеют одинаковую ценность для рабочего. При обычных условиях здоровья, силы и состояния духа, при обычной степени ловкости и искусства он должен отдавать всегда одно и то же количество своего покоя, своей свободы и своего счастья»<sup>3)</sup>. Справедливо замечает по этому поводу Бонар: «Предпосылка состоит здесь в том, что человеческая раса не изменяется на всем

<sup>1)</sup> Д. Юм. Исследование человеческого разума. СПб, 1902, стр. 92; срв. также след. выдержку: «Люди, если оставить в стороне полученное ими воспитание, почти все равны как по телесной силе, так и по умственным способностям». Из французских философов этой эпохи мысль о природном сходстве людей с особенной силой развивал уже известный нам Гельций. Срв. Schatz. L'individualisme économique et social. Paris, 1907, стр. 123.

<sup>2)</sup> A. Smith. W. of N. кн. I, гл. II.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 15. Эту мысль Смит, повидимому, заимствовал у своего предшественника Гетчесона, срв. Hasbach, Untersuchungen, стр. 150.

протяжении ее истории, и что физиологическая стоимость труда всегда одинакова на действительном основании этой неизменности расы. Это та же самая идея, какая была отмечена в отношении разделения труда. Человеческие существа во все времена одинаковы, и мы можем исходить от их сходства»<sup>4)</sup>. Это игнорирование человеческой индивидуальности, выраженное как-будто умышленно в столь резкой, почти утрированной форме, конечно, не случайно. Оно вполне гармонирует со стремлением Смита перебросить мост между вещью и человеком, изучать общественную жизнь как совокупность материальных процессов и явлений. При умении Смита воспринимать жизнь во всем ее многогранном разнообразии, он не дошел до превращения политической экономии в чисто математическую дисциплину, занимающуюся изучением движений человеческих автоматов, как это впоследствии случилось с некоторыми представителями классической школы. Живые люди все время врываются у Смита в механическую картину мира. Но нельзя отрицать того, что философские тенденции Смита влекли его именно в этом направлении.

Для характеристики смитовского натурализма необходимо еще остановиться на отношении его учения к физиократической доктрине, в основе которой лежало, как мы видели, убеждение в том, что в земледелии происходит настоящий физический прирост вещества.

Несмотря на то, что Смит подверг учение физиократов жесткой критике, при внимательном анализе его построения нельзя не убедиться в том, что в этой идейной борьбе сам Смит подвергся интенсивной физиократической инфекции<sup>5)</sup>. Август Онкен в своей вступительной статье к изданному им собранию сочинений Кеэ заподозревает даже Смита в недостаточной добросовестности его критики<sup>6)</sup>. Находятся писатели, готовые объявить Смита чуть ли не физиократом. Как и всякая слишком общая характеристика, и это мнение является преувеличением. Опубликованные Кенаном лекции Смита, читанные до его поездки во Францию и до знакомства с физиократическим учением, обнаруживают, что у Смита довольно рано сложилась своя экономическая методика, впоследствии

<sup>4)</sup> Bonar. Philosophy and political economy in some of their historical relations, London, 1893, стр. 157.

<sup>5)</sup> Подробное доказательство этого — у В. Э. Дэна. О ценности. (ПБ., 1896, оперк, посвященный А. Смиту (стр. 3—66).

<sup>6)</sup> «On doit malheureusement dire, qu'Adam Smith n'a pas apporté une très grande bonne foi dans sa critique. Qu'es a'y. Oeuvres, стр. XIV.

лишь развившаяся и дополненная под влиянием физиократической доктрины (особенно в теории ценности и распределения). Во всяком случае, подчеркивание исключительного влияния физиократов на А. Смита является большой ошибкой. Как показано Гасбахом, система Смита явилась, вместе с тем, и развитием, и усовершенствованием экономических доктрин представителей немецко-английского естественного права Гуго Гроция, Пффендорфа, Гетчесона и др. Оба эти предшествовавшие Смигу течения представляли себе совершенно по разному народохозяйственный процесс: для теоретиков естественного права он сводился к отдельным актам обмена благ и продуктов труда, физиократы же пытались охватить одной мыслью весь процесс производства, распределения и потребления благ. «Немецко-английская политическая экономия предполагает меновое общество, французская же — народохозяйственный организм»<sup>1)</sup>. Французское и английское влияния проходят через всю работу Смита непримиренными. Ему не удалось найти для них объединяющего синтеза. Но, перебирая и разворачивая перед читателем чужие мысли, Смит все же пытается оплодотворить их общей идеей, которая и позволяет противопоставить его систему доктрине физиократов.

В основе всего построения Смита лежало убеждение, что величайшей производительной силой является труд, и что источником возобновляющегося из года в год фонда благ, находящегося в распоряжении общества, является «годовой труд каждой нации».

Это, казалось бы, достаточно ясно. Однако, мы знаем уже, что Смит не всегда оставался верен самому себе, почему и в этом кардинальном вопросе его изложение несвободно от противоречий. Еще Лодердель, английский экономист начала XIX ст., обладавший очень ясной головой, сумел составить уничтожающий Смита ряд выписок из «Богатства народов» по вопросу об источниках создания богатства. Уже указано, что Смит считал труд «первоначальным фондом», снабжающим человечество всеми предметами необходимости и удобства. Но в другом месте он утверждает, что «земля, рудники и рыбные промыслы воспроизводят с прибылью не только капиталы, затраченные в них, но и все прочие капиталы, потребляемые в обществе». «Однако», справедливо замечает Лодердель, «то, что возвращает все капиталы в общество, и то, что является источником, откуда они черпают свою прибыль, должно быть единственным

источником богатства. Таким образом, выходит, что человечество получает все свое богатство из земли». Затем, очень часто Смит говорит о том, что реальное богатство страны состоит из «ежегодного продукта ее земли и труда». Однако, мы находим у него и такое утверждение: «Земля и капитал (capital stock) являются первоначальными источниками всякого дохода как частного, так и государственного (public): капитал уплачивает заработную плату производительного труда, независимо от того, занят ли он в земледелии, промышленности или торговле». Лодердель снова прибавляет от себя: «Земля и капитал рассматриваются здесь, как единственные источники богатства, а труд представляется получающим от них свою заработную плату, ничего не прибавляя к богатству общества». Наконец, Лодердель находит у Смита выдержку, позволяющую заключить, что Смит считал и труд, и землю, и капитал источником всяких доходов<sup>1)</sup>.

Подобранная Лодерделем коллекция цитат очень убедительна. Смит несомненно уличен, по меньшей мере, в небрежном выражении своих мыслей. Но если не быть придирчивым, то все же в пестроте смитовских мнений можно отличить подлинные мысли от случайных недомолвок. Источником богатства, как сказано, у Смита является труд. Но это не мешает ему быть сторонником физиократического мнения об особой производительности земледельческого труда, благодаря способности почвы давать чистый избыток. Смит высказался с достаточной определенностью о сравнительной производительности земледельческого и промышленного труда в специальной главе, посвященной анализу «земледельческих систем». Что он отнюдь не склонен отрицать того, что только земледелие дает чистый доход, доказывается его примером с браками разной плодотворности. «Как брак, дающий трех детей, без сомнения, плодотворнее брака, доставляющего только двоих, таким же точно образом труд фермеров и сельских работников, бесспорно, производительнее труда купцов, ремесленников и фабрикантов». Однако, Смит считает более важным факт участия их в валовой производительности общества, определяющей, по его мнению, «действительный доход» последнего. «Если бы даже мы предположили, напр., как принимается этой системой, что ценность того, что потребляется этим (бесплодным» В. III.) классом в продолжение дня, месяца, года, совершенно

<sup>1)</sup> Hasbach, назв. соч., стр. 166.

<sup>1)</sup> Lauderdale, An inquiry into the nature and origin of public wealth and into the means and causes of its increase, Edinburgh, 1804, стр. 118—119.



равна тому, что производится им в продолжение того же дня, месяца, года, то из этого вовсе не следует, что труд его ничего не прибавил к действительному доходу общества, к действительной ценности годового производства земли и труда страны... Даже при предположении, что ценность, создаваемая ремесленником, ни на одно мгновение не превышает ценности, потребленной им, тем не менее, ценность всех товаров, находящихся в действительности на рынке, вследствие работы его, в каждую минуту превышает ту, какая была бы без него». Но валовое производство общества, отожествляемое Смитом с действительным доходом, может быть увеличено двумя способами: усовершенствованием производительных сил полезного труда или увеличением количества занятых производительным трудом лиц. Вернейшее средство на первом пути—возможно более широкое проведение принципа разделения труда, а отчасти и усовершенствование машин. Между тем, Смит неоднократно высказывал мысль, что в земледелии разделение труда поставлены более тесные границы, чем в промышленности. Второй путь требует увеличения количества капитала, которым полезный труд «приводится в действие». Капитал увеличивается за счет сбережений. Кем же производятся сбережения? «Если, как это действительно предполагается этой (т. е. физиократической В. Ш.) системой, купцы, ремесленники и фабриканты отличаются естественной склонностью к сбережению и привычкою к экономии более, чем поземельные собственники и земледельцы, то, по всей вероятности, они наиболее способны увеличить количество полезного труда в обществе, к которому принадлежат, и, след., умножить действительный доход этого общества, действительное годовое производство его земель и труда». И все же, несмотря на полную, казалось бы, убедительность этих соображений в пользу большей или, по крайней мере, равной с сельским хозяйством производительности промышленности, Смит возвращается, в конце концов, к вере в особую физическую производительность земли.

Он склоняется к мысли, что «в земледелии вместе с человеком работает природа; и хотя труд последней достается даром, тем не менее то, что производится ею, имеет такую же ценность, как и то, что изготовляется самыми дорогими работниками». Что земледелие кажется Смигу более производительным занятием, чем промышленность, совсем не вследствие какой-либо особенной производительности сельско-хозяйствен. труда, а именно вследствие физического плодородия самой почвы, явствует из следующей выдержки:

«Люди и рабочий скот, употребляемые в земледелии, не только возвращают, подобно фабричным работникам, ценность, равную их содержанию или капиталу, затраченному на них, с присоединением к ней прибыли владельца капитала, но производят еще большую ценность». Этот излишек прямо трактуется как «результат сил природы». Особенно замечательна эта постановка рядом с людьми рабочего скота. С тем же основанием Смит мог бы упомянуть еще и о сельско-хозяйственных орудиях, удобрениях и т. д. Смит здесь окончательно впадает в иллюзию физиократов, что земельная рента вырастает из земли, а не из общества<sup>1)</sup>.

Такова была живучесть физиократических идей. Даже отрекшись от них, представители классической школы продолжали жить во власти сотворенных ими образов. Эта преемственность веры в какую-то особенную, физическую плодородность земли не обрывается даже на Смита. Ярким ее выразителем был, напр., Мальтус, считавший, что страна, лишенная земледелия, живущая в условиях «торговой системы», осуждена на прозябание. Земля должна пропитать рабочего. Для поддержания населения в стационарном состоянии необходимо, чтобы рабочий мог на свою заработную плату содержать семью из трех человек, не считая его самого: «крайний предел для населения представляется условием, чтобы почва могла доставить последнему возделывающему работнику возможность содержать около четырех лиц<sup>2)</sup>. Но обычно земля щедрее: ее плодов хватает для пропитания значительно большего числа людей. Отличительная черта земледелия—«доставлять избыток, за покрытием производства. Этот избыток увеличивался в размерах труда и знания, прилагаемых к земледелию, и доставил большому числу людей досуг и возможность посвятить себя тем разнообразным изобретениям, которые скрашивают жизнь человеческого общества<sup>3)</sup>».

При таком взгляде на значение физического плодородия почвы для общественного благополучия естественно, что Смит и его последователи считали земледелие фундаментом народного хозяйства и совершенно не предвидели подготавлившегося уже в их время грандиозного размаха английской промышленности, который должен был затмить сельское хозяйство и отеснить его на задний план. Следя шаг за шагом за отдельными этапами смитовской системы,

<sup>1)</sup> К. Маркс. Капитал, кн. I, стр. 37.

<sup>2)</sup> Мальтус, назв. соч., т. II, стр. 123.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 104.

вы не чувствуете у него предвосхищения грядущего преобразования английского народного хозяйства в чисто промышленное государство. Мысль его глубоко статична. Из его системы как бы выхвачена основная пружина всякой динамической идеологии—идея развития производительных сил. Никто не сумел высказать этого упрека Адаму Смиту с большей силой, чем Фр. Лист. Смит «главным предметом исследования поставил не производительную силу, но продукт, материальное богатство или, вернее, только ту ценность, какую имеют предметы при обмене... Эта система все рассматривает с точки зрения купца... Развитие производительных сил она предоставляет случаю, природе, господу богу»<sup>1)</sup>. Интерес купца, между прочим, заставляет его заботиться только о непосредственной, ближайшей выгоде. Его не трогают возможность накопления в обществе новых умственных сил и нравственных способностей, которые затем превращаются в блестящий поток нового богатства для будущих поколений, если это достижение требует немедленного принесения материальной жертвы. Протестуя против этой концепции со всей пылкостью своего неугомонного темперамента, Лист выдвигал тезис: «способность создавать богатство важнее самого богатства»<sup>2)</sup>.

По словам Листа, «она внешнюю торговлю нельзя смотреть только как на торговлю отдельных коммерсантов, исключительно с точки зрения теории ценности, т. е. с одной только точки зрения получаемой в данный момент чистой прибыли от данных имуществ; нация должна при этом иметь в виду все те условия, от которых зависит ее будущее положение, благосостояние и имущество»<sup>3)</sup>.

Смит, однако, не доискивал великих потенций торгово-промышленной деятельности. Он не чувствовал пульса экономического прогресса. Для него земледелие было основой народохозяйственного благополучия Англии. Еще в своих лекциях, т. е. до знакомства с физиократической системой, он утверждал, что «земледелие является самым благотворным для общества промыслом (agriculture is of all other arts the most beneficial to society), и все, что ведет к приращению его развития, представляется крайне предосудительным с точки зрения общественного интереса». И далее он приводил арифметический расчет, который должен был убедить студентов в том, что «продукт земледелия превышает продукт любой другой отрасли

промышленности». Согласно этим вычислениям выходило, что «ежегодное потребление» страны не превосходит 100 миллионов (ливров), тогда как ценность одного только сельскохозяйственного продукта достигает 72 мил.; на долю всей обрабатывающей промышленности остается не более 28 мил. 1).

В «Богатстве народов» Смита одолевают в вопросе о будущем экономическом развитии Англии так часто раздирающие его систему внутренние противоречия. В общем и целом, его работа проникнута оптимистическим настроением. Все свои упования он связывает с прогрессирующим разделением труда. Пределы для использования этого замечательного средства в целях повышения благосостояния нации установлены, как увидим ниже, лишь размерами общественного капитала, а при наличии правового порядка и обеспеченности собственности в современном государстве, возникшем на развалинах феодальных отношений с сопутствующей им социальной неурядицей, капиталы должны расти достаточно быстро. Какие, однако, отрасли народного хозяйства должны быть оплодотворены золотым дождем этих капиталов? Местами Смит прославляет возможные успехи земледельческого промысла с чисто физиократическим энтузиазмом. «Пусть сравнят медленные успехи европейских стран, богатство которых зависит большею частью от торговли и промышленности, с быстрым развитием наших американских колоний, все благосостояние которых зависит от земледелия. В большей части Европы, как полагают, нужно по крайней мере 500 лет, чтобы население удвоилось, между тем как в наших северо-американских колониях, говорят, что оно удваивается большей частью в 20 или в 25 лет»<sup>2)</sup>.

Непостижимо, как с приведенными цитатами у Смита уживаются в мирном соседстве с ними следующие замечания: «...кажется, ни в какой части Европы выгоды, получаемые от земледелия, не представляют никакого преимущественства перед каким бы то ни было другим употреблением капитала. Правда, в последнее время во всех концах Европы явились спекуляторы, забавляющие общество великодушными исчислениями прибыли, какую можно получить от обработки и улучшения земель. Не входя в подробный разбор этих вычислений, достаточно будет одного простого наблюдения, чтобы обнаружить всю ложность их выводов. Мы встречаем ежедневно самые блестящие состояния, приобретенные путем торговли и про-

<sup>1)</sup> Lectures of A. Smith, стр. 224.

<sup>2)</sup> Smith, W. of. N., стр. 185.

<sup>1)</sup> Фр. Лист. Национальная система политической экономии. СПб. 1891, стр. 380—381.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 184.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 184.



мышленности в продолжение жизни одного человека, часто начавшего дело с ничтожным капиталом, а иногда и вовсе без него. Подобное состояние, полученное путем земледелия в такое же короткое время и с такими же ничтожными средствами, представило бы событие, в подтверждение которого нельзя привести ни одного примера в Европе в продолжение текущего столетия»<sup>1)</sup>. Резкость этого полемического выпада против «забавляющих общество спекуляторов», под которыми следует разуметь физиократов, т. е. почти что идейных единомышленников Смита, которым он курил финням в других частях «Богатства народов», тем более непонятна, что в данном случае Смит явно опровергает свое же собственное мнение о благодетельности земледелия и о способности его к скачкообразному росту, в духе американских колоний. Однако, Смит не останавливается и перед конкретными выводами из теоретического своего скептицизма в отношении сельско-хозяйственного прогресса, когда касается вопроса об английском земледелии. По его словам, «невозможно оказать большее поощрение земледелию, чем это делается в Англии; при всем том, оно находится в незавидном положении». А между тем, этот покровительственный эксперимент длится достаточно долго: «В настоящее время протекло более 200 лет от вступления на престол Елизаветы,—это достаточно длинный период для окончательного установления человеческого благополучия»<sup>2)</sup>.

Такова эволюция воззрений Смита: начав с естественной склонности к физиократизму, еще до того, как познакомился с ортодоксальными представителями этого учения, Смит пришел, в конце концов, к сомнениям и колебаниям в вопросе о роли сельско-хозяйственного производства в народнохозяйственном целом. Весь ход рассуждений по этому вопросу заключается, впрочем, у Смита примирительным аккордом: «как бы то ни было, но капиталы, скопляющиеся в стране и отдаваемые торговле и промышленности, представляют собою ценность случайную и весьма ненадежную, если некоторая их часть не будет употреблена на обработку и улучшение земель»<sup>3)</sup>.

В после-смитовской литературе отзвуки физиократической доктрины о кардинальном значении земледелия для народного хозяйства подчас раздаются с новой силой, несмотря на энергичные protesty самой жизни, все более и более подчеркивающей торжество промышленности и превосходство скрытых в ней производительных

сил. Уже цитированный нами Лодердель утверждал, напр., что «промышленность играет очень второстепенную роль (subordinate part) в образовании прироста богатства каждого общества, если только последнее свободно от всяких стеснений со стороны закона (legal restriction) или насильственного перераспределения собственности»<sup>1)</sup>. По его мнению, это отношение между сельско-хозяйственной и мануфактурной промышленностью, установленное самою «природою вещей», «никогда не сможет быть изменено (never can be altered)»<sup>2)</sup>. Даже Рикардо, выразитель интересов почувствовавшего свою силу промышленного и финансового капитала, громко и ясно заявлял в парламенте, что «невозможно, чтобы Англия могла быть чем-либо иным, кроме земледельческого государства»<sup>3)</sup>. Такова была сила традиции, придававшая земледелию в глазах людей той эпохи, характер какого-то особенного хозяйственного промысла, на котором почил божье благословение.

Переходим теперь к изложению теоретической системы Смита и начнем с учения о ценности.

В смитовских лекциях 1763 года теории ценности совсем нет. В двух-трех местах он говорит о деньгах как о «мериле ценности», но в остальном ограничивается описанием процесса образования рыночных цен, в основе которого, по его мнению, лежит механизм спроса и предложения. Цена регулируется тремя моментами: 1) спросом или потребностью в благе, 2) обилием или редкостью блага сравнительно с потребностью в нем и 3) богатством или бедностью лиц, предъявляющих спрос. Третий из указанных пунктов сопровождается особенно любопытными комментариями. Если произведено недостаточное количество товара для полного насыщения спроса, то цена определяется исключительно размерами денежных ресурсов потребителей. Процесс образования цены очень напоминает аукцион. «Если два лица стремятся в равной мере к приобретению книги, ее получит тот из них, у кого больше денег (whose fortune is largest)»<sup>4)</sup>. Сообразно с этим, высота цены определяется финансовым положением того общественного слоя, который потребляет данное благо. Что же касается монопольной цены, то, по мнению Смита, «цена монополизированных благ поднимается выше предела, доста-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 167.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 186.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 186—187.

<sup>1)</sup> Lauderdale, назв. соч., стр. 278—279.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 281.

<sup>3)</sup> Дильб. Комментарий к «Основным Началам» Рикардо ч. I, СПб., 1912, стр. 287.

<sup>4)</sup> Lectures of A. Smith, стр. 176—177.

точного для того, чтобы вызвать затрату труда». Только свободная конкуренция является залогом понижения цен; при условии же монополии, участники последней получают любую цену, какая заблагорассудится (make the price what they please)<sup>1)</sup>.

Рядом с этим реалистическим описанием рыночных процессов, лишь случайно проскальзывает у Смита идея «естественной» цены, отличной от рыночной, и ей вовсе не уделяется внимания.

Совсем по иному подходит Смит к вопросам цены-ценности в «Богатстве народов». Сквозь несовершенную оболочку номинальной или денежной цены благ, хотя она и «определяет в конечном счете рациональность и нерациональность всех покупок и продаж и таким путем регулирует почти всю обыденную практику хозяйственной жизни»<sup>2)</sup>, Смит старается увидеть загадочные для него очертания реальной цены или ценности. Расхождение этих величин неизбежно; «одна и та же реальная цена всегда имеет одну и ту же ценность (is always at the same value), но вследствие изменений ценности золота и серебра, та же самая номинальная цена иногда представляет очень различную ценность»<sup>3)</sup>. Что же остается неизменным в этом бурном, изменчивом потоке рыночных цен? По мнению Смита, меняются цены товаров, и только ценность труда для рабочего выражается всегда одною и тою же величиной. Выше была уже приведена выдержка, из которой явствует, что Смит представлялсь недоступной влиянию времени и места субъективная жертва, сопряженная с трудом. Вот почему он считал труд лучшим измерителем ценности. «Только труд, никогда не изменяющийся в своей ценности, является окончательным и реальным мерилom (standard), при помощи которого ценность всех благ во все времена и во всех местах может устанавливаться и сравниваться»<sup>4)</sup>.

Однако, далеко не всегда товары, поступающие в обмен, расцениваются людьми, непосредственно участвовавшими в их создании своим трудом. В первобытном хозяйстве случаи обмена редки, и меновые отношения определяются относительными затратами труда: «Естественно, что продукт двухдневного или двухчасового труда имеет двойную ценность сравнительно с обычным продуктом однодневного или одночасового труда»<sup>5)</sup>. После введения разделения

труда каждый потребляет продукты не столько своего, сколько чужого труда. Он вынужден покупать предметы, произведенные другими, и тем богаче, чем больше его покупательная сила. Поэтому ценность предметов, предназначенных им для обмена, равна власти распоряжения продуктами чужого труда. Здесь мысль Смита делает произвольный скачок: между продуктами труда и самим трудом ставится знак равенства. Власть, предоставляемая всяким владением, всяким богатством, заключается в «покупательной силе», в командовании над всем трудом или над всеми продуктами труда, имеющимися на рынке. «Его имущество (fortune) может почитаться большим или меньшим в точном соответствии с размерами этой власти, или с количеством труда других людей, или, что сводится к тому же, продуктов труда других людей, которое она позволяет ему купить или предоставляет в его распоряжение». Таким образом, ценность товаров определяется, по Смигу, количеством труда, которое можно на них купить или заказать. Вместе с тем, отпадает представление о создающем ценность труде как о субъективной жертве рабочего. Появляется на сцену предприниматель, организующий совместный труд наемных рабочих и продающий произведение их рук; казалось бы, его мало должна трогать субъективная жертва, которую приносит рабочий, и у него нет оснований образовывать с нею запрашиваемую за товар цену. Как утверждает сам Смит, «хотя равные количества труда всегда имеют равную ценность для рабочего, однако, для наняющего его лица они должны иногда представлять большую, иногда меньшую ценность. Он покупает их иногда за большее, иногда за меньшее количество благ, и в его представлении цена труда изменяется подобно цене всех других предметов. Она кажется ему в одном случае дорогой, в другом—дешевою. В действительности же блага в одном случае дешевле, в другом дороже»<sup>6)</sup>. Отсюда Смит выводит, что и труд имеет реальную и номинальную цену: реальная цена состоит в приобретаемых рабочим предметах необходимости и удобства номинальная— в получаемой им сумме денег.

Таким образом, в условиях капиталистического предприятия труд приобретает не одну, а две «реальных цены»: под одной разумеется «неизменная» субъективная жертва, другая обозначает количество материальных благ, получаемых рабочим в обмен на труд.

<sup>1)</sup> Smith, W. of N., стр. 15.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 179.

<sup>3)</sup> Smith, W. of N., стр. 29.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 15.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 15.

<sup>6)</sup> Там же, стр. 22.



Что же касается до цены производимых таким предприятием товаров, то к ней приложимо, казалось бы, только второе из этих понятий; при назначении цены предприниматель может не интересоваться тягостностью трудовой затраты для рабочего, но размер реальной заработной платы очень отражается на его калькуляции.

Правда, одна из задач, которую ставил себе Смит в теории ценности,—отыскать неизменное, устойчивое мерило ценности,—безнадежно проваливалась. Это отметил еще Мальтус, говоря о двойственности понятия «реального» у Смита. «Если ценность труда постоянно изменяется, с переменами в количестве предметов необходимости и удовольствия, которое она может доставить рабочему, то только при крайней непоследовательности можно делать ее мерилем ценности»<sup>1)</sup>. Но зато, с другой стороны, устанавливалась теоретически весьма существенная зависимость между ценой продукта и размерами заработной платы. Количество труда, которое можно купить на данное благо, определяется, в конце концов, рыночной ценой труда, т. е. заработной платой. А так как заработная плата являлась во времена Смита важнейшим элементом издержек производства, то Смита можно признать до известной степени родоначальником теории издержек производства. Рикардо даже категорически утверждал, что «как Адам Смит, так и все последователи его, без всякого исключения, поддерживали ту мысль, что всякое повышение в цене труда имеет необходимым последствием возвышение цены товаров»<sup>2)</sup>. Рикардо, со своей стороны, считал это мнение «ни на чем не основанным» и настаивал на том, что «уменьшение в заработной плате повышает прибыль, но не оказывает никакого действия на цену благ» и, наоборот, «повышение денежной заработной платы не вызывает роста цен благ; такое повышение всегда влияет на прибыль». Это, на первый взгляд, незначительное и невинное, чисто теоретическое различие точек зрения обнаруживает, в действительности, коренное расхождение обоих мыслителей. Рикардо цена блага представлялась строго зафиксированной до всякого обмена условиями его производства. Участникам производства остается делить ее на части, которые поэтому оказываются обратно пропорциональными. Точка же зрения Смита допускает возможность предложения повышения заработной

платы на потребителя. Мнение Рикардо неизбежно приводит к пессимистическим выводам, сделанным теорией фонда заработной платы: если предельно определена общая сумма дохода, которую могут располагать капиталисты и рабочие, то доля рабочих может возрастать лишь за счет прибыли, да и то в очень скромных пределах. В построении Смита больше бодрости и надежды: предприниматель может повышать заработную плату, отыгрываясь на взвешивании товарных цен.

Здесь мы подходим к весьма существенному практическому значению, которое имеет теория издержек производства у Смита. Он, в сущности, хочет установить существование тесной круговой поруки между всеми ценами. В системе цен, сложившейся в той или иной стране, проявляется стройная гармония, так что каждая цена построена на предположении существования целого ряда других цен известной величины. Если равновесие нарушается, сейчас же во всей системе начинается сложный процесс перемещений и переоценок, завершающийся установлением нового равновесия. С особенной силой Смит развивает эту мысль в главе о вывозных премиях. Лица, домогающиеся предоставления им таких премий, обычно ссылаются на то, что премии откроют им возможность продавать свои товары на иностранных рынках по той же цене, что их соперники, или даже дешевле их. Смигу рисуется совсем иная перспектива. Пусть введена, напр., премия на вывоз хлеба. Увеличение хлебного вывоза и сокращение количества хлеба, остающегося для внутреннего потребления, немедленно вызывают подъем внутренней хлебной цены. Между тем, «денежная цена хлеба управляет ценою всех других производимых внутри страны товаров»<sup>1)</sup>. Отсюда следует, что «денежная цена труда и всякого произведения земли и труда необходимо должна повышаться или понижаться, смотря по цене хлеба»<sup>2)</sup>. Таким образом, премия на вывозный хлеб лишь вызывает рост всех внутренних цен или, другими словами, понижение ценности денег. Обратное действие она производит на иностранных рынках. Прилив дешевого хлеба понижает его цену; за хлебом дешевеют и все прочие товары. Ценность денег повышается. Премия не только благодетельствует иностранного потребителя, получающего дешевый хлеб, но и усиливает конкуренцию производимых этими странами промышленных изделий с

<sup>1)</sup> В вышепеч. в 1827 г. труде «Об определениях в политической экономии». Цит. по франц. пер.: *Oeuvres de Malthus*, Paris, 1846. *Des définitions en économie politique*, т. 2, стр. 418; см. также сочинения Д. Рикардо, стр. 4.

<sup>2)</sup> Сочинения Д. Рикардо, стр. 25.

<sup>1)</sup> Smith, W. of N, стр. 226.

<sup>2)</sup> Там же.

нашими, так как рост дороговизны внутри страны препятствует промышленникам доставлять за границу свои произведения по прежней низкой цене и, наоборот, дешевизна всех товаров за границей, создавая привозным дешевым хлебом, понижает у них издержки производства и, след., цены. Таков неожиданный эффект вывозных премий. Такую же аргументацию, как мы видели выше, развивал против физиократов Неккер, доказывая, что землевладельцы ничего не выиграют от повышения хлебных цен, так как, вслед за хлебными, поднимутся и все другие цены. Правда, Неккер ратовал за сохранение запрещения хлебного вывоза, а Смит стоял за свободу торговли. Однако, задача у них была общая — обеспечить потребителю дешевый хлеб. Оба они влохновлялись интересами городского промышленного населения. И под влиянием этого практического мотива Смит готов даже отступить от своей первоначальной теории ценности, признававшей труд единственным неизменным мериллом ценности, и допустить существование также неизменной цены хлеба. По его словам, «действительная ценность всякого товара окончательно определяется и измеряется отношением, существующим между среднюю денежную его ценою и среднюю денежную ценою хлеба. Среди всех возможных колебаний действительная ценность хлеба остается неизменной». Колесания эти ограничиваются действительной ценностью денег<sup>1)</sup>.

С теорией ценности и богатства у Смита тесно связано проводимое им разграничение между производительным и непроизводительным трудом. И здесь у Смита обнаруживается избыток понятий. Марксом прекрасно показано, что Смит хочет совместить две глубоко различные точки зрения. Согласно первому варианту, «производитель — только труд, производящий капитал»<sup>2)</sup>. Национальный продукт резко делится на две части: одна представляет постоянно воспроизводящийся капитал, который вновь может быть употреблен в производство с прибылью, другая составляет доход и потребляется целиком без воспроизводства. Первая часть, правда, так же потребляется, как и вторая, но ее потребителями являются производительные рабочие, не только возмещающие то, что было ими потреблено, но еще и дающие некоторый избыток, прибавочную ценность. Таким образом, чем большая часть национального дохода приобретает форму капитала, тем больше становится впоследствии чистый

доход общества. Посредством сбережения некоторой части чистого дохода «приводится в деятельность добавочное количество труда, а трудом умножается ценность годового производства»<sup>3)</sup>. «Владелец такого вновь накопленного капитала превращается как бы в учредителя общественной мастерской и основывает, так сказать, капитал на вечное содержание нового числа производительных работников»<sup>4)</sup>. Физиократы, как мы видели, полагали, что концентрация больших масс капитала в земледелии должна привести к сказочному приросту чистого дохода и, следовательно, лечь в основание создания нового общественного богатства, которое может быть приложено к земле. Смит тоже был занят отысканием этой чудесной субстанции, способной создавать прибавочную ценность, из которой может быть создан новый капитал с тем же удивительным свойством самовозрастания. Но тогда как у физиократов капитал представляет собою накопленный фонд чистого дохода, полученного в земледелии, по Смигу он воплощается только в труде производительных рабочих. Вот почему тема о производительном и непроизводительном труде оказывается у него тесно связанной с вопросом о «скоплении капиталов». Сбережения, принявшие форму капитала, превращаются в заработную плату, оплачиваемый ею труд наемного рабочего производит чистый продукт или прибавочную ценность, а за счет последней образуется новый капитал. Мысль Смита лучше всего уясняется на им же приводимом противопоставлении труда фабричного рабочего — с одной стороны, прислуги — с другой. «Труд фабричного рабочего, вообще, прибавляет к ценности обрабатываемого материала стоимость своего содержания и прибыль хозяина. Труд служителя, напротив того, не прибавляет ничего ни к какой ценности. Первый, несмотря на получаемую им заработную плату, в сущности, ничего не стоит своему хозяину, так как стоимость заработной платы вместе с прибылью входит вообще в ценность предмета, к которому труд был приложен. Но содержание, потребленное служителем, не возвращается более. Человек обогащается, употребляя в дело множество производительных рабочих, и разоряется содержанием многочисленной прислуги»<sup>5)</sup>.

В сущности, подобная схема соотношения между производительным и непроизводительным трудом в обществе была отлично разобрана еще Кантильоном, с тем выгодным отличием от Смита, что он при-

<sup>1)</sup> Smith, W. of N., стр. 220.

<sup>2)</sup> К. Маркс. Теория прибавочной стоимости, кн. I, стр. 204—205.

<sup>3)</sup> Smith, W. of N., стр. 149-150.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 149—150.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 145—146.



менил ее не к отдельному хозяйству или предприятию, а ко всему народному хозяйству, взятому в целом. Ссылаясь на подробные расчеты, данные в приложении к его труду (к сожалению, эти расчеты не были напечатаны и, повидимому, погибли), Кантильон утверждает, что «труда 25 взрослых людей достаточно, чтобы снабдить всем необходимым для жизни 100 человек, тоже взрослых, по нормам потребления нашей Европы». Из кого же составляется, по мысли Кантильона, остальная масса в 75 человек, живущая за счет чужого труда? Из ста человек около трети должны представлять лица «слишком старые или слишком молодые для повседневного труда». Шестую часть составляют «собственники земель, больные и различные категории предпринимателей, не принимающие трудом рук своих участия в удовлетворении человеческих потребностей». Остается еще «25 человек, которые в состоянии работать, но которым нечего делать». Их Кантильон делит на два в корне различных разряда: одни занимаются военным делом, поступают в услужение в богатые дома и т. д.; другие «применяют прибавочный труд для улучшения качества предметов первой необходимости». «Государство», замечает в заключение Кантильон, «должно считаться богатым пропорционально этому добавочному труду, хотя он ничего не прибавляет к количеству предметов, необходимых для существования и содержания (à la subsistance et à l'entretien) людей»<sup>1)</sup>.

Нельзя не признать, что в изображении Кантильона получается весьма яркая картина содержания всего общества за счет физического труда одного из общественных классов, и что мысль Смита движется всецело в той же плоскости, что и у его почти забытого предшественника. Было бы, однако, значительным преувеличением, если бы в этом построении мы признали законченную теорию прибавочной ценности. Бесспорно, Смигу не чужда была мысль о том, что прибыль и рента являются вычетами из создаваемой трудом рабочего ценности. Он прямо говорит о том, что прибыль составляет часть «ценности, которую рабочие придают материалу в процессе производства, и что рабочие должны «делиться» продуктами своего труда с собственником капитала»<sup>2)</sup>. Однако, было бы неправильно утверждать, что по Смигу только наемные рабочие создают прибавочную ценность или чистый доход. Для наемных рабочих у Смита существуют термины: workmen, labourers. В главе о производитель-

ном и непроизводительном труде у него появляется новая группа: manufacturers, которых Маркс считает «мануфактурными рабочими». Повидимому, перевод Маркса правилен, так как manufacturer имеет своего master'a<sup>3)</sup>. Но у Смита, далее, категория производительных рабочих расширяется путем включения в нее—рядом с labourers и manufacturers—группы artificers, которые также «воспроизводят с прибылью ценность своего годовичного потребления»<sup>4)</sup>. Это понятие, повидимому, означает у Смита ремесленников. Наконец, в части его сочинения, посвященной критике физиократического учения, Смит вспоминает, что в главе о производительном и непроизводительном труде он поместил в первую категорию artificers, manufacturers and merchants, а ко второй отнес домашнюю прислугу<sup>5)</sup>. Таким образом, и купцы сопричислены к группам производительных рабочих, создающих прибавочную ценность. С другой стороны, мы уже привели выше выдержанную в строго физиократическом стиле сентенцию Смита о том, что «люди и рабочий скот, употребляемые в земледелии, не только воспроизводят стоимость своего содержания и прибыль, но производят еще большую ценность»<sup>6)</sup>. Для марксиста это, разумеется, жесточайшая ересь: рабочий скот представляет постоянный капитал и не может участвовать в создании прибавочной ценности. Таким образом, первая версия понятия производительного труда, опирающаяся на создаваемый трудом прибавочный продукт, не продумана до конца и далеко не свободна от противоречий.

Однако, у Смита есть еще второе определение производительного труда, а именно—как «труда, производящего товары»<sup>7)</sup>. Производительный труд может воплощаться только в материальных ценностях. Он овеществляется в продажном товаре, который существует хоть немного дольше, чем труд, его производящий. Дело обстоит так, словно накопилось и сохранялось известное количество труда с той целью, чтобы, в случае надобности, впоследствии воспользоваться им. Наоборот, услуги, которые не производят материальных предметов, «исчезают в момент их выполнения». К этой категории Смит относит даже труд «наиболее заслуживающих уважение классов общества»; например: «государь, как и все нахо-

<sup>1)</sup> Cantillon, изд. соч., стр. 115—117.

<sup>2)</sup> Smith, W. of N., стр. 223.

<sup>3)</sup> Smith, W. of N., стр. 119.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 305.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 161.

<sup>6)</sup> Там же, стр. 116.

<sup>7)</sup> Маркс, Теория, стр. 205.

дящиеся у него на службе гражданские и военные чины, вся армия, весь флот представляют работников непродуцибельных»<sup>1)</sup>.

Шторх удачно суммирует мотивы, по которым Смит исключил нематериальные ценности из общей суммы национального богатства. Предметы, входящие в состав богатства, должны обладать тремя признаками: 1) быть способными к длительному существованию, 2) быть годными объектами для накопления и 3) обладать способностью быть вновь проданными после того, как были куплены<sup>2)</sup>. Эти условия тесно связаны с предпосылками, на которых построена уже изложенная теория прибавочной ценности Смита. Накопленный капитал употребляется на содержание производительных рабочих, создающих чистый доход. Нематериальные услуги исчезают в момент их оказания. Значит, их нельзя скопить и, потом продав, нанять некоторое количество производительного труда. Служба непродуцибельных работников, «несмотря на всю необходимость ее, полезность, несмотря на все уважение, какого она заслуживает, не производит ничего, за что можно было бы впоследствии до быть такую же службу. Защита, общественное спокойствие, охранение общественных интересов, составляющие результат годовой службы их, не представляют ценности, за которую можно было бы купить защиту, общественную безопасность и охранение общественных интересов, необходимые для следующего года»<sup>3)</sup>. Маркс категорически протестовал против «упомянуемого по-шотландски овеществления и т. д. труда», сводящего в изложенном построении. «Возможно, что конкретный труд, результатом которого является товар, не оставляет на нем никакого следа». Его целью является лишь изменение формы предмета, а иногда даже только его перемещение. «Здесь непонятно было бы, в чем состоит овеществление труда в товаре». Исправляя Смита, Маркс дает такое широкое определение производительного труда: он разумеет под ним труд, который или производит товар, или непосредственно создает, обучает, развивает, поддерживает, воспроизводит рабочую силу<sup>4)</sup>. Таким образом, прибавочная ценность создается не только физическим, но и некоторыми видами интеллектуального труда. Поэтому приобретенные нацией духовные способности, т. е. «интеллектуальный капитал», не

в меньшей мере способствуют росту «годового производства страны», чем накопление материального богатства. Сбережения могут затрачиваться не только на «создание общественной мастерской на вечные времена», но и на развитие дремлющих в народе производительных сил. Сам Смит входит в противоречие со своим учением, считая частью национального капитала «полезные дарования, приобретенные жителями и членами общества», и предлагая смотреть на «усовершенствованную ловкость рабочего, как на машину или на рабочий инструмент, облегчающий и сокращающий с прибылью затраченный на него капитал»<sup>1)</sup>.

Если труд является в системе Смита чудесной субстанцией способной к самовозрастанию, то естественно было его стремление создать наиболее благоприятные условия для развития заключенной в труде плодотворной силы. Физиократы, признав ту же магическую способность к самовозрастанию за землей, пропагандировали привлечение капиталов в сельское хозяйство. Смит занят той же проблемой, но он видоизменяет ее применительно к тому производительному фактору, которому он придал почетную роль «творца новых ценностей».

Богатство общества, состоящее в предметах необходимости и жизненного удобства, с первых слов его сочинения объявляется результатом «годового труда каждой нации», а производительность этого труда ставится в зависимость от двух моментов: «от умения, ловкости и сообразительности, с которыми труд вообще применяется», и от пропорции между числом производительных и непродуцибельных рабочих. «Умение, ловкость и сообразительность» получают необыкновенное развитие, благодаря разделению труда. Смит прославил свое имя образным описанием благотворительных результатов разделения труда, и его знаменитая булавочная мануфактура, повышающая производительность труда «не менее, чем в 240, а может быть даже в 4.800 раз», на долгое время сделалась школьным примером.

Впрочем, еще Маркс указал на то, что учение Смита о разделении труда не представляет собой какого-нибудь необыкновенного новшества в политической экономии. Смит «не установил ни одного нового положения относительно разделения труда. Но для него в качестве обобщающего экономиста мануфактурного периода характерно это ударение, с которым он говорит о разделении труда»<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Smith, W. of N., стр. 146.

<sup>2)</sup> H. Storch. *Considérations sur la nature du revenu national*, цит. по парижскому изд. 1852 г., стр. 24.

<sup>3)</sup> Smith, изв. соч., стр. 146.

<sup>4)</sup> Маркс, Теория, стр. 219.

<sup>1)</sup> Smith, W. of N., стр. 122.

<sup>2)</sup> К. Маркс. Капитал, кн. I, стр. 230.



Не говоря уже о том, что еще Платон, Ксенофонт и даже египтяне, по свидетельству Геродота и Диодора Сицилийского, констатировали, что применение разделения труда увеличивает количество и улучшает качество производимого продукта <sup>1)</sup>, непосредственный предшественник Смита Ад. Фергюсон в своей книге: *History of civil society*, вышедшей несколько раньше «Богатства народов», посвятил проблеме разделения труда специальную главу, в которой писал: «Усовершенствование в мануфактурах состоит в возможности обходиться без работы мысли: так что мастерская, работающая без всякой помощи человеческой головы, может быть свободно рассматриваема как большая машина, частями которой являются люди... В такую эпоху, когда разделение проводится во всем, искусство мыслить может тоже выделиться в особое ремесло» <sup>2)</sup>.

Тем не менее, блестящие страницы смитовского труда, посвященные учению о разделении труда, принадлежат к числу наиболее удачных частей «Богатства народов». Смит не ограничивается изложением выгод, протекающих от разделения труда и выражающихся в возможности полного приспособления рабочего к возлагаемой на него трудовой операции, в экономии времени, которое теряется при переходе от одной операции к другой, и в облегчении изобретения рабочих машин, упрощающих несложную механическую работу, которую ему приходится выполнять, но также дает яркую характеристику социальных последствий, вырастающих на почве разделения труда. Разделение труда вызывает взаимную зависимость всех участников производства друг от друга, благодаря чему общество превращается в «подлинный организм» <sup>3)</sup>. Смит указывает также на ограничение разделения труда размерами рынка и степенью накопления капиталов, на большую доступность для разделения труда промышленности, нежели земледелия, и т. д. Он ставит степень общественного разделения труда в тесную зависимость от хода экономического прогресса. Для широкого проведения принципа разделения труда необходимо скопление большого количества капитала, а оно становится возможным только при известном развитии производительных сил. Разделение труда приводит к специализации каждого участника производственного процесса на производстве какого-нибудь одного предмета или даже незначительной его частицы, вследствие чего

обмен между производителями становится неизбежным. Однако, в меновом хозяйстве каждый должен «иметь достаточно времени не только для того, чтобы окончить произведение своего труда, но и найти сбыт для него. Необходимо, стало быть, чтобы существовал где-либо на это время запас разных произведений, скопленных заранее». Дальнейшее подразделение труда также становится возможным только в размерах постепенно скопляющегося капитала». Благоприятная успешности труда, количество сырья, перерабатываемого каждым, значительно возрастает. Применяется также «множество новых машин для облегчения и ускорения всякой работы» <sup>1)</sup>. Таким образом, Смит создал, повидимому, что «скопление запасов» должно происходить не только в форме предметов потребления рабочих, но и в виде средств производства и сырья. С другой стороны, для увеличения количества производительных рабочих за счет непроизводительных также необходимо, по мнению Смита, применение некоторого добавочного количества капитала: «Что касается числа производительных работников, то оно ни в коем случае не может увеличиться иначе, как вследствие умножения капиталов или запасов, предназначенных на их содержание» <sup>2)</sup>.

Здесь уже между капиталом и фондами для потребления рабочих ставится знак равенства. Вместо того, чтобы складываться из орудий производства, мостов, каналов и т. д., которые скопляются обществом благодаря превращению производства над потреблением, капитал превращается в «пищу, одежду и жилища», потребляемые производительными рабочими. Принимая такую точку зрения, Смит расходится со своей собственной концепцией капитала. Рядом с капиталом у Смита есть более широкое и неопределенное понятие «запасов» (stock), включающее, по словам Кеннана, все виды личной собственности (personal property), кроме земли. Из этой совокупности имущества каждого индивида выделяется известная часть, предназначенная для производительного использования с целью приращения денежного дохода, которая и составляет капитал в собственном смысле. Пользуясь образным примером Кеннана, можно сказать так: «Запасы Джона Броуна, булочника, выражаются во всем его, Джона Броуна, имуществе, кроме земли, но его «капитал» представляет только ту часть его имущества, которая употребляется в кондитерском промысле» <sup>3)</sup>. Для современного эконо-

<sup>1)</sup> H. Denis, назв. соч., стр. 262.

<sup>2)</sup> Цит. у Маркса, Ницше философии, рус. пер. С. А. Алексеева, СПб., 1906, стр. 131.

<sup>3)</sup> H. Denis, назв. соч., стр. 262.

<sup>1)</sup> Smith, W. of N., стр. 119.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 132.

<sup>3)</sup> E. Cannan, A history of the theories of production and distribution in english political economy from 1776 to 1848, изд. 2-ое, London, 1903, стр. 56—57.

миста совершенно ясно, что накопление капитала происходит в форме расширения отраслей народного хозяйства, изготовляющих средства производства, и что в процессе распределения общественного дохода в условиях «расширенного воспроизводства» капитала доля общественного дохода, затраченная на создание машин, орудий и т. д., все возрастает за счет предметов годового потребления. У Смита нельзя найти даже намека на возможность такой точки зрения. В его представлении цена каждого продукта разлагается без остатка на заработную плату, прибыль и ренту, а весь национальный доход распределяется между тремя общественными классами и бесследно поглощается ими.

Правда, в одном месте Смит сам отмечает неизбежность разделения «годового продукта земли и труда» на две части, из которых одна («и часто наибольшая») — идет на восстановление производственного капитала <sup>1)</sup>. Однако, рядом с этим, он решительно утверждает, что накопление происходит в форме предоставления соответствующей части национального дохода для потребления производительных рабочих. Вместе с тем, по мнению Смита, ценность средств производства вообще не входит в ценность продукта. «В цене хлеба, напр., одна часть оплачивает ренту поземельного собственника, другая — заработную плату или содержание работника и рабочего скота <sup>2)</sup>, а третья часть составляет прибыль фермера. Эти три части непосредственно и окончательно составляют всю цену хлеба. Повидимому, можно было думать, что к ним можно присоединить еще четвертую часть, необходимую для возвращения капитала фермера и для вознаграждения за его рабочий скот и сельскохозяйственные орудия. Но если вникнуть хорошенько в этот предмет, то нетрудно заметить, что цена каждого орудия для земледельца — как, напр., лошади — сама состоит из этих же трех частей: из дохода с земли, на которой она взрошена, из труда работника, который кормил ее и присматривал за нею, и из прибыли фермера, который оплатил доход с земли и содержание работника. Поэтому, хотя хлеб должен оплатить также и цену лошади, и ее содержание, тем не менее, полная цена ее всегда может быть разложена, непосредственно или в конечном результате, на одни и те же составные части: ренту, труд и прибыль».

У Маркса мы находим отповедь этой точке зрения. «Ад. Смит ввел в моду изображать накопление, только как потребление при-

<sup>1)</sup> Цит. у Салпана, назв. соч., стр. 65.

<sup>2)</sup> Здесь у Смита содержание скота оказывается «заработной платой»!

бавочного продукта производительными рабочими, или капитализацию прибавочной ценности, как простое превращение ее в рабочую силу... Ад. Смит посредством совершенно превратного анализа приходит к тому нелепому выводу, что если даже каждый индивидуальный капитал и делится на постоянную и переменную составные части, то общественный капитал превращается только в переменный капитал или расходуется только в виде рабочей платы. Напр., фабрикант сукна превращает 2.000 ф. ст. в капитал. Одну часть денег он затрачивает на покупку труда ткачей, другую на покупку шерстяной пряжи, машин и т. д. Но те, у кого он покупает шерсть и машины, также частью полученных денег оплачивают труд и т. д., пока все 2.000 ф. ст. не будут потреблены производительными рабочими. Мы видим, что вся сила этого аргумента заключается в словах «и т. д.», которые отсылают нас от Понтия к Пилату. Действительно, Ад. Смит обрывает исследование как раз там, где начинается его трудность <sup>1)</sup>. Туган-Барановский называет это рассуждение Ад. Смита «любопытным образчиком наивного софизма» и, в свою очередь, делает выпад против него: «Ведь совершенно с тем же основанием, с каким Смит скидывает со счетов одну составную часть расхода производства — расход на средства производства, он мог бы скинуть со счетов и любую другую часть, мог бы, напр., утверждать, что только средства производства составляют окончательный расход производства, а заработная плата совсем не является статьей расхода. Можно было бы, напр., сказать, что хотя заработная плата входит в состав цены продукта, но ведь предметы потребления рабочего создаются при помощи средств производства, которые и являются поэтому окончательным элементом цены. С таким же правом можно было бы утверждать, что предки каждого человека — только мужчины, а не женщины: хотя каждый и имеет мать, но ведь мать существовала лишь потому, что она имела отца, и т. д.» <sup>2)</sup>.

Таким образом, смитовская концепция капитала была крайне односторонней. Но, во всяком случае, скопление каких-то запасов является непременным условием и широкого разделения труда, и увеличения числа производительных работников. Эти запасы, правда, не обладают способностью сами по себе давать прибавочную ценность. Они должны быть оплодотворены трудом. Но и труд без

<sup>1)</sup> Маркс. Капитал, кн. I, стр. 420—421.

<sup>2)</sup> Туган-Барановский. Периодические промышленные кризисы, 3-е изд. СПб. 1914, стр. 187.



них не мог бы проявлять всей своей чудодейственной мощи. И в этом пункте Смит лишь следует физиократической традиции. Способность земли давать чистый доход вполне проявляется лишь в том случае, если к земле привлечены достаточно большие капиталы, дающие возможность перехода к крупной культуре. Таким образом, объявляя землю источником богатства, физиократы заставляли капитал принять за кулисами участие в его производстве. Аналогичное смещение понятий мы находим у Смита. Труд — основа богатства; разделение труда творит чудеса. Но возможность применения разделения труда создается лишь на основе накопления достаточного фонда капиталов. Любопытно, что ни физиократы, ни Смит даже не сознают этой двойственности их учения об источниках богатства и не затрагивают проблемы самостоятельной производительности капитала. В дальнейшей истории экономических учений по этому вопросу обнаружилось глубокое противоречие: одно течение эклектически признало значение источников богатства одновременно за природой (землей), трудом и капиталом; другое, представленное К. Марксом, объявило труд единственной субстанцией ценности, но при этом избегло отмеченной нами недоговоренности смитовского учения, категорически отказав постоянному капиталу (орудия производства, сырью и т. д.), в отличие от переменного (живой рабочей силы), в свойстве увеличивать свою ценность в процессе производства. Возвращаемся, однако, к Смицу.

Общая масса находящихся в распоряжении общества запасов может быть разделена на три части. Первая должна доставить «удовольствие в настоящем» и предназначается для немедленного потребления. Вторая и третья должны сослужить «пользу в будущем» путем принесения дохода. Вместе они составят капитал общества. Но одна его часть, которую можно назвать неизменным капиталом, приносит доход, оставаясь в руках владельца, вторая, составляющая оборотный капитал, получает доход «посредством оборота». К неизменному капиталу Смит относит орудия труда, приносящие доход алаяния, улучшение земель и «полезные дарования». В состав оборотного капитала входят: деньги, а также запасы продовольствия, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, предназначенные для продажи или дальнейшей переработки. Годовой продукт каждой нации делится на две части: одна составляет доход и посвящается непроизводительному потреблению, другая обращается в капитал и употребляется на восстановление изношенной части капитала и на

создание нового капитала. Таким образом, одна часть этого продукта гибнет безвозвратно, а другая, наоборот, не только воспроизводит себя, но и дает чистый излишек, за счет которого могут питаться непроизводительные работники. Так как капитал, как мы видели, отождествляется Смитом с фондом на содержание рабочих, то следовало ожидать, что Смит включит в доход, посвящаемый непроизводительному потреблению, прибыль и ренту, а заработную плату признает составной частью второго вида годового продукта — капитала. В действительности же заработная плата исключается Смитом в понятие чистого дохода. По его словам, «валовой доход всех жителей большой страны состоит из всей массы годовой производительности их земли и труда, а чистый доход из того, что у них остается в очистку, за покрытие расходов на содержание, во-первых, их неизменного, а во-вторых, их оборотного капитала или, другими словами, из того, что они могут, не растративая своего капитала, обратить в запасы для своего потребления, т. е. для израсходования на предметы необходимости, удобства и удовольствия. Действительное их богатство тоже зависит от чистого, а не от валового их дохода»<sup>1)</sup>. Таким образом, в отличие от физиократов, Смит включает заработную плату в чистый доход общества.

Повидимому, он не вполне усвоил смысл принятого ими противопоставления необходимого минимума, составляющего заработную плату, и чистого дохода. Как мы видели, физиократы хотели подчеркнуть этим противоположением, что накопление капитала может происходить только за счет чистого дохода; а так как капитал является могучим рычагом увеличения производительности земли, то задачу экономической политики они усматривали в поощрении роста не валового, а чистого дохода. Смит, как сейчас будет указано, в гораздо большей степени, чем физиократы, увлеклся идеей накопления с целью поднятия общественного благосостояния. Если он, тем не менее, считал критерием процветания страны не чистый, а валовой доход страны, то это, повидимому, объясняется гуманистическими мотивами, столь вообще характерными для его взглядов. Он не мог примириться с мыслью, что заработная плата составляет часть «издержек производства» общества. Однако, это не мешало ему причислять заработную плату к оборотному капиталу. Вместе с тем, план накопления капитала у него целиком покоится на идее капитализации чистого дохода, представляющего свободный фонд

<sup>1)</sup> Smith, W. of N, стр. 124.

ход, каким образом он распределяется между различными классами общества, в каких местах он исчезает и где вновь производится». Из этого источника Смит, нужно думать, и заимствовал понятие распределения. Первая книга «Богатства Народов» носит заглавие: «О причинах развития производительных сил труда и об естественном порядке, согласно которому его продукт распределяется среди различных слоев народа». Каждая цена, по мнению Смита, складывается из трех частей: заработной платы, прибыли на капитал и земельной ренты. Если сложить цены всех производимых обществом продуктов или самые продукты, то и эта масса товаров или цен первоначально распадается на те же три части, достигающиеся при таком общенациональном распределении уже не отдельным индивидам, а общественным группам: рабочим, землевладельцам и капиталистам. В каждом обществе существует «естественный» уровень всех этих видов дохода, и в своей совокупности они образуют естественную цену, к которой тяготеют, как к центру тяжести, рыночные цены. В первоначальном распределении участвуют только три названных группы; все другие доходы носят производный характер. Таков, напр., по мнению Смита, процент на капитал, уплачиваемый из прибыли, которая реализована предпринимателем благодаря применению в своем предприятии полученного в ссуду капитала <sup>1)</sup>.

Перо Смита рисует гораздо более сложную схему распределения, чем прямолинейная доктрина физикозлатов, знающая лишь два типа дохода: полугодный минимум или чистый доход. Как всегда, у Смита и в теории распределения конструкции награждаются друг на друга, иногда восполняя одна другую, иногда резко расходясь в разные стороны. Смит хотел уложить в свою систему слишком много мыслей, а переходная эпоха «промышленной революции» даже как бы требовала такой многогранности и эклектизма. В процессе распределения общественного дохода у Смита, как мы только что видели, участвуют три класса: рабочие, капиталисты и землевладельцы. Смит чутко воспринимает этот процесс, как результат социальной борьбы, и не удовлетворяется в теории распределения отвлеченными категориями, а хочет отдать себе отчет в степени справедливости и целесообразности производного дележа. Смит не скрывает своих симпатий и антипатий. Его постоянные заботы направлены на улучшение жребия трудящихся

<sup>1)</sup> Smith. W. of N., стр. 24.

масс. «Слуги, земледельцы и рабочие различных категорий составляют наибольшую часть каждого большого политического общества. Но то, что улучшает положение большинства, никогда не может почитаться неудобством для всех. Никогда не может процветать и быть счастливым общество, в котором преобладающее большинство членов бедно и осуждено на страдания». Справедливость требует, чтобы этот класс людей находился в достаточно сносных условиях существования, так как именно они «питают, одевают, снабжают жилищами все общество» <sup>1)</sup>.

Мы уже возражали против истолкования смитова учения в духе чистой теории эксплуатации, т. е. присвоения капиталистами производимой рабочими прибавочной ценности. Предпринимателям Смит приписывает довольно большую роль в деле народохозяйственного строительства. «Планы и проекты владельцев капитала регулируют и направляют все наиболее важные трудовые операции... Купцы и промышленники (master manufacturers) представляют... два класса людей, обычно распоряжающихся большей частью общего капитала и привлекающих к себе своим богатством особенно живой общественный интерес. Так как в течение всей своей жизни они погружены в планы и проекты, они часто отличаются большей остротой ума, чем большая часть сельских хозяев» <sup>2)</sup>. Однако, эти дарования предпринимателей не вызывают у Смита особенного к ним сочувствия, так как при всей изоэтичности их интеллекта им не хватает добродетели. Их превосходство направляется ими на службу не общественному, а личному интересу. В глазах Смита, сельские хозяева далеко не так корыстолюбивы, как промышленники. «К чести поземельных собственников и фермеров должно сказать, что они менее всякого другого класса заражены гнусным духом монополии... Сельские собственники и фермеры, рассеянные по различным местностям страны, не могут так легко стаянуться между собою, как фабриканты и купцы, собранные в городах и привыкшие к господствующему между ними завистливому, корпоративному духу, а потому естественно стремящиеся к исключительным привилегиям» <sup>3)</sup>. Промышленники же искусно пользуются своим социальным превосходством над рабочими, чтобы снизить заработную плату до минимума. Фалькнер удачно суммирует элементы, из которых у Смита складывается убеждение в превосходстве социальной силы на стороне

<sup>1)</sup> Smith, W. of N., стр. 96.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 116.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 203.



покровительственную таможенную политику во внешней торговле<sup>1)</sup>.

Для Смита монополии того или другого вида были даже «единственной пружиной меркантильной системы»<sup>2)</sup>. и, вставая против них, он стремился опереться и на теоретические соображения; и на конкретные указания злоупотреблений, пустивших глубокие корни в монополистических организациях. Теоретические соображения состояли в том, что монополии искусственно привлекают капиталы в монополизированную отрасль промышленности и торговли, нарушая естественное их распределение, которое одно только в состоянии гарантировать обществу наибольшую выгоду. Эта мысль иллюстрируется примером торговли Англии с ее колониями. Монополизировав эту торговлю в своих руках, Англия вынуждена вводить в нее все возрастающую долю своего национального капитала, так как молодые в хозяйственном отношении колониальные страны развиваются гораздо быстрее, чем метрополия, и поэтому количество свободных капиталов, которыми располагает английское народное хозяйство, увеличивается гораздо медленнее, чем потребность в них колониальной торговли. Это приводит к относительно чрезмерному расширению этой отрасли народного хозяйства за счет других. «При настоящем положении», говорит Смит, «Великобританию можно сравнить с болезненным организмом, в котором одно жизненное отправление приняло чудовищные размеры и который поэтому подвержен более опасным болезням, чем в том случае, когда бы все его отправления находились в большем согласии. Малейшее засорение в этом громадном кровеносном канале, который раздулся у нас далеко за свои естественные пределы искусственным образом, и по которому насильственно протекает чрезмерное количество промышленной и торговой деятельности народа, угрожает опасными болезнями всему политическому организму. Вот почему никакая испанская армада, никакие опасности французского вторжения не поражали таким ужасом английского народа, как опасение разрыва с колониями»<sup>3)</sup>.

К этим теоретическим рассуждениям Смит присоединяет красочную характеристику хозяйничанья привилегированных компаний в колониях, рисуя в особенно мрачных тонах деятельность голландцев

на Молуккских островах и английской Ост-Индской компании. Забывая о важных государственных задачах, которые, казалось бы, ложатся на эти монополистические организации в силу предоставленной им суверенной власти, руководители этих предприятий все приносят в жертву своей ненасытной жажде барыша. «Торговать или перепродавать купленное всегда считается главным делом такого рода людей, которые по непонятному безумию верховную власть свою принимают за придаточное право к своим купеческим свойствам, за качество подчиненное, которое может им только служить средством покупать в Индии товары, чтобы перепродать их в Европе с большими барышами»<sup>4)</sup>. Не ограничиваясь злоупотреблениями своей властью для увеличения доходов компаний, их главарь усиленно торгуют и за свой счет всякими неблагоприятными способами, надеясь, что дальность расстояния скроет эти их подвиги от взоров соотечественников. Впрочем, Смит не замечает особенной щепетильности и у монополистов, орудующих непосредственно у себя на родине. Говоря о промышленных монополиях, Смит утверждает, что самые жестокие фискальные законы Англии «отличаются мягкостью и умеренностью, сравнительно с некоторыми наказаниями, исторгнутыми от законодательной власти нашими фабрикантами для поддержания своих несправедливых и безумных монополий. Об этих законах можно сказать то же, что говорилось о законах Дракона, — что все они написаны кровью». Приведенные выдержки, казалось бы, в достаточной мере доказывают, что критика меркантильной системы и защита промышленной свободы были предприняты Смитом не в интересах промышленников, а, наоборот, ради ограждения от беззастенчивой эксплуатации с их стороны потребительских масс.

Следует указать еще и на то обстоятельство, что Смит не был слепым и безоговорочным проводником системы *laissez faire, laissez passer*, каким его часто изображают. Здравый смысл и разумная осторожность в практических предположениях нигде, пожалуй, не выражены у Смита так отчетливо, как в его суждениях о дефектах меркантильной системы и необходимости ее упразднения. Идеал промышленной свободы представляется ему не программой сегодняшнего дня, а как бы далекой путевой звездой, по которой должен ориентироваться законодатель. По его мнению, «надеясь на полную свободу торговли в Великобритании было бы таким же безумием, как ожидать осуществления в ней республик Утопии или Океании»<sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> H. Levy, Die Grundlagen des ökonomischen Liberalismus in der Geschichte der englischen Volkswirtschaft. Jena, 1912, стр. 18—43.

<sup>2)</sup> Smith, W. of N., стр. 284.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 272.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 288.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 297.

Даже в вопросе, при обсуждении которого тон негодующей критики возвышается у Смита до наиболее резкой ноты, а именно в вопросе о монополиях, он высказывается, напр., лишь за «умеренное и постепенное ослабление законов, установивших исключительную монополию в колониальной торговле, пока эта торговля не получит совершенной почти свободы»<sup>1)</sup>. По справедливому замечанию Маршалла, Смит «открыл целый ряд важнейших исключений из естественного закона свободы, и эти открытия редко были априорными; почти все они подкреплялись индуктивным изучением окружающего его мира»<sup>2)</sup>. Известно, с каким сочувствием он относился к навигационному акту, который был назван им «мудрейшим из всех торговых законов Англии». Допуская установление разных стеснительных мер при ввозе иностранных товаров из государств, которые уже ввели у себя подобного рода запретительные мероприятия, и становясь, таким образом, на сторону принципа возмездия, Смит надеется на то, что «раскрытие большого иностранного рынка более нежели вознаградит за временное неудобство вздорожания некоторых товаров на короткий срок». Здесь Смит готов признать принцип взаимности уступок в торговой политике, явно враждебный духу чистой свободы торговли. Несколько раз Смит допускает возможность быстрого создания, под сенью покровительственных пошлин, новых отраслей промышленности, которые могли бы производить товары «так же дешево, или даже дешевле, чем заграничные». Смит, наконец, отказывается от неограниченной свободы эмиссии и в банковом деле<sup>3)</sup>.

Впрочем, эти исключения не столь велики, чтобы изменить производимое «Богатством народов» общее впечатление. Основные институты меркантилистической политики: стеснения ввоза, всякого рода премии, монополии, колониальная политика, пошлина за чеканку монеты и т. д. для него — лишь мнимые «чудесные меры»<sup>4)</sup>, от которых тщетно было бы ожидать увеличения национального благосостояния. В неограниченной конкуренции он видел ту мощную силу, которая должна уничтожить накопль злоупотреблений со стороны монополистических организаций и дать наибольший простор личной инициативе, этому самому ферменту общественного бо-

гатства. С этой верой в совпадение личного интереса и общего блага и связан, как известно, неискоренимый оптимизм нашего шотландского философа. XIX век, безжалостно разбивший светлые надежды смитовой школы на неограниченную конкуренцию и свободную торговлю, не мог, вместе с тем, не привести к возрождению идеи государственного вмешательства в экономическую жизнь. Это возрождение шло в двух направлениях. С одной стороны, воскресает в новых формах меркантилизм. «Мы живем в эпоху расцвета неомеркантилизма, в котором вновь оживают все основные положения и все даже давно позабытые мероприятия, как, напр., вывозные пошлины и премии»<sup>1)</sup>. С другой стороны, выдвигается социалистическое учение с многочисленными его ответвлениями, в основе которого лежит представление о планомерном, руководимом из единого центра народном хозяйстве. Но, тем не менее, для своего времени система Смита была прогрессивным учением, осуществление которого должно было очистить путь для победоносного крупного производства.

#### ГЛАВА IV.

### Экономический прогресс и накопление нематериального богатства.

(Французская субъективная школа начала XIX века).

Обычно при изложении истории экономической мысли веками служат отдельные, приобревшие особенную популярность творения великих экономистов. Между «Богатством народов» Адама Смита и «Основами политической экономии» Рикардо прошел немалый срок в 40 лет. Что же происходило в области экономических идей в течение этого периода? Читая учебники истории политической экономии, приходишь к убеждению, что все это 40-летие наполнено прославлением Смита и что появившиеся за это время сочинения носили характер пересказа мыслей «великого шотландца». В частности, французский экономист Ж. Б. Сэ изображается при этом, как глава смитианской школы, бывший наиболее усердным

<sup>1)</sup> Там же, стр. 272—273.

<sup>2)</sup> Marshall. *Industry and trade*, стр. 747.

<sup>3)</sup> Более подробно об этом у И. Янжула. *Английская свободная торговля*, т. I, М. 1876, стр. 173—180.

<sup>4)</sup> Smith. *W. of N.*, стр. 248.

<sup>1)</sup> Levy, назв. соч., стр. 2.



популяризатором и даже вульгаризатором «Богатства народов». Стоит, однако, погрузиться в чтение авторов конца XVIII и начала XIX столетия для того, чтобы убедиться в поверхностности и неосновательности изложенной точки зрения. Прежде всего, бросается в глаза, что в самой Англии, на родине Смита, экономическая мысль обнаруживает полнейшей застой. По словам американского профессора Голландера, «если устранить А. Смита и Дюгальда Стюарта, мы напрасно будем искать в период до 1800 г. сколько-нибудь значительного влияния экономического общественного мнения на политические события. Масси (Massie), который никогда не имел широкого круга читателей, давно был забыт. Political Discourses Юма еще за поколение до этой эпохи сделались необходимой составной частью публицистического арсенала и превратились в общее место. Объемистые томы труда Джемса Стюарта пропитывались пылью на книжных полках. Political Justice Година, книга, которой было предназначено произвести глубокое впечатление на следующее поколение, встретила общее равнодушие, что, по замечанию Питта, является неизбежным уделом сочинения, продаваемого по три гинеи. Бентам, выступивший со своими первыми произведениями, говоря словами Дюмона, «никогда не бывший историком, а претендовавший на роль законодателя», обнаруживал живость темперамента, но едва ли что-либо сверх того. «Опыт о законе народонаселения», через два года после его обнародования, был пока еще лишь сытотатственным пасквилом, за который его анонимный автор, никому еще неведомый преподобный Т. Р. Мальтус, заслуживал разве только того, чтобы быть расстриженным»<sup>1)</sup>.

Иную картину представляет экономическая мысль Франции в эту эпоху. Физиократы приучили общественное мнение Франции интересоваться проблемами народного хозяйства, и, несмотря на то, что их учение быстро вышло из моды, вызванный им интерес к экономической теории продолжает гореть ровным и спокойным огнем. Правда, мы не встречаем уже здесь сплоченной школы, которая исповедывала бы общее им экономическое вероучение с тою страстью, на которую были способны физиократы. Однако, одно за другим выходя в свет сочинения, представляющие вполне законченный и осмысленный уклон экономической идеологии, а именно— первое в истории экономических учений выражение субъектив-

<sup>1)</sup> J. H. Hollander. The economist's Spiral, в журн. The American Economic Review, March, 1922, стр. 3—4.

ной точки зрения на экономические явления. Кроме уже упомянутого Сэ, можно назвать имена Сисмонди, Канара, Гарнье, Гангилля, Дестют-де-Трасси, не говоря уже о Тюрго и Кондильяке, которые в некоторых отношениях могут быть признаны родоначальниками этого направления. К этой плеяде ученых нужно присоединить Шторха, немца по происхождению, жившего в Петербурге и преподававшего политическую экономию великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам, но писавшего на французском языке. Эти писатели восприняли схему возникновения общественного богатства из чистого дохода, созданную физиократами; во многих пунктах они исправляют и дополняют Смита; но в основу всего построения кладется новая субъективная теория ценности, угрожающая завести политическую экономию в дебри психологии и превратить ее в общую науку о счастье и благоденствии человеческого рода. Этот субъективизм мог быть, правда, в очень незначительной степени почерпнут и у А. Смита, но в гораздо большей мере он питался идеалистической реакцией, воцарившейся в умах французской буржуазии, особенно после террора великой революции. Гельветий и другие философы-материалисты становятся грозным призраком, напоминающим об эксцессах 1793 года. Но, с другой стороны, опыт революции обогатил французскую общественную мысль новой идеей вечной смены экономических форм и заставил с особенной остротой почувствовать, что общество пребывает в состоянии непрерывной эволюции. Перевариванием этих отдельных влияний и попытками соединить эти многообразные элементы в единую синтетическую систему и наполнена история 40 лет, отделяющих Смита от Рикардо. На это время политическая экономия становится снова французской наукой, с тем, чтобы под эгидой Рикардо окончательно приобрести свою прирожденную английскую национальность.

Оракулом этого направления является Ж. Б. Сэ. Нельзя назвать Сэ привлекательной личностью. Для его характеристики достаточно привести два факта: когда русские войска вступили в Париж, свергнув Наполеона, Сэ поспешил выпустить 2-ое издание своего «Трактата политической экономии», которое не было пропущено наполеоновской цензурой, с посвящением Александру I. «Могущество ваших армий», говорилось в этом посвящении, «поддерживаемое усилиями ваших великодушных союзников.., сломило железные цепи, в которые была закована вся либеральная мысль и избавила нас от варварства, быстрые успехи которого мы на-

блюдали с ужасом»<sup>1)</sup>. Нужно обладать очень покладистой совестью, чтобы приветствовать мнимое «освобождение» мысли, принесенное иноземными штиками. Другим эпизодом является конфликт между Сэ и Шторхом, разыгравшийся на почве болезненного самолюбия обоих авторов. В 1815 г. Шторх выпустил в Петербурге на средства Александра I-го курс лекций, читанных им великим князьям. В предисловии Шторх открыто признавался в многочисленных позаимствованиях, сделанных им у Смита, Бентама, Сэ, Сисмонди и Дестют-де-Трасси. В 1823 г. курс Шторха был без разрешения автора переиздан в Париже с примечаниями Сэ, причем издатели сочли необходимым сделать всюду точные указания относительно позаимствований и поставить все цитаты в кавычки. Жестоко разобивленный Шторх ответил на это новым сочинением: «*Considérations sur la nature du revenu national*», в котором резко раскритиковал Сэ, обнаружив в его сочинениях ряд противоречий, недомолвок и т. д. Он обвинил его также в краже литературной собственности. Сэ не остался в долгу. В письме в редакцию *Revue Encyclopedique* (январь 1825 г.) Сэ обрушился на Шторха, доказывая, что по крайней мере  $\frac{3}{4}$  его сочинений представляют «текстуальную копию» других авторов, и что в его курсе имеются даже целые главы, переписанные из «Трактата» Сэ от первого слова до последнего, включая заглавие<sup>2)</sup>.

Между тем, желание Сэ унизить авторитет Шторха отнюдь не согласовалось с действительным положением вещей, так как, наряду с позаимствованиями, объемистый курс Шторха содержал ряд вполне самостоятельных построений. Что современники далеко не были на стороне Сэ, показывает хотя бы отзыв о курсе Шторха друга Рикардо и наследника рикардianских традиций Мак-Келлока. «Сие сочинение доставило великую известность своему автору и делает честь правительству, на издании коего оно издано. Кроме ясного и искусного изложения важнейших начал относительно производства богатства, свободы промышленности и торговли, сочинение Шторха содержит много превосходных разсуждений о предметах, которые мало привлекали внимание английских и французских экономистов. Мысли его о бумажных деньгах в различных континентальных государствах весьма любопытны и поучительны. Без малейшего желания унизить труды других писателей я думаю, что сочинение Шторха по всей справедливости можно поставить

во главе всех сочинений о политической экономии, привезенных с континента в Англию»<sup>3)</sup>.

Таким образом, желание отстоять свою гегемонию среди экономистов превратило Сэ в жестокого врага Шторха, бывшего по общему складу его теоретических построений ближайшим единомышленником Сэ. При чтении вступления к его «Трактату» вообще неприятно поражает высокомерный тон, в котором он говорит о своих предшественниках. Сравнительно высокой оценки удостоивается у него лишь А. Смит, «вышедший из шотландской школы, давшей столько перворазрядных литераторов, историков, философов и ученых». Но все же он находит и у Смита много прегрешений. Смит преувеличивает значение разделения труда. У него чрезвычайно спутанное представление о том, каким образом торговля может быть производительна. Его теория распределения неудовлетворительна. Смит часто недостаёт ясности, и у него постоянно чувствуется отсутствие метода<sup>4)</sup>. В другом месте, в письмах к Мальтусу, Сэ, признавая Смита своим учителем, все-же заявляет категорически: «Теперь я не принадлежу ни к какой школе. Я не признаю других законов, кроме заповеди вечного разума и говорю без колебаний: Адам Смит не дал достаточно полного и общего изображения производства и потребления благ»<sup>5)</sup>. Еще менее почтительно Сэ отзывался в позднейших изданиях «Трактата» о Рикардо и его последователях: «После смерти Рикардо вокруг этого автора образовалась секта, отличающаяся чрезмерной склонностью к абстракции». Его последователи, «освободившись от контроля опыта, ударились в метафизику, не имеющую приложения. Они превратили политическую экономию в науку слов и аргументов»<sup>6)</sup>. Не удивительно после всего этого, что Сэ высказывает такое мнение: «Однако, до сих пор не было еще настоящего (*véritable*) трактата по политической экономии», и... сам выступает с таким трактатом. Посмотрим же, насколько основательны были эти безмерные притязания Сэ, и каковы действительные достижения его и других экономистов начала XIX века.

С Сэ начинаются попытки осмыслить методологические предпосылки политической экономии. Сэ вдохновлен задачей превращения

<sup>1)</sup> И. Р. Мак-Келлок. О начале, успехах, особенных предметах и важности политической экономии. М., 1834, стр. 93—94.

<sup>2)</sup> J.-B. Say. *Traité d'économie politique*, 6-е изд. Paris, 1841, стр. 32—35.

<sup>3)</sup> Цит. по немецкому пер. Malthus und Say, über die Ursachen der jetzigen Handelsstockung, Hamburg, 1821, стр. 83—84.

<sup>4)</sup> Say, *Traité*, стр. 37.

<sup>1)</sup> R. Gonnard, наав. соч., т. II, стр. 253.

<sup>2)</sup> Oeuvres diverses de J. B. Say. Paris, 1848, стр. 286—287.



политической экономии в точную науку, пользующуюся экспериментальным методом и целиком основанную на фактах. Ничто не вызывает у него большего негодования, чем всякие оторванные от жизни абстракции. Для каждой теории он требует эмпирической проверки. В формулировке Гоннара политическая экономия представляется Сэ «экспериментальной физикой фактов, относящихся к богатству» <sup>1)</sup>. Однако, его позиция в этом вопросе не вполне последовательна. Так, мы находим у него и суждения, вроде следующего: «Политическая экономия, наряду с точными науками, состоит из небольшого числа основных принципов и большого числа выводов или дедукций из этих принципов. При этом, однако, прогресс науки зависит от того, чтобы эти принципы представляли естественное познание из данных опыта» <sup>2)</sup>. Таким образом, политическая экономия должна быть не описательной, а теоретической наукой, и лишь предпосылки ее должны быть получены эмпирическим путем.

Шторх приписывает политической экономии несколько иную природу. Он впервые резко отделяет ее от естественных наук, ставя ей задачу изучения «одной из сторон деятельности человека». Разумеется, такая трактовка метода политической экономии гораздо лучше вяжется с субъективной теорией, выдвигающей на первый план человеческую личность и ее сознание. Естественные науки, «опираясь на факты физические, подчиняющиеся строгой оценке, принадлежат к области наук точных; политическая же экономия, наоборот, основываясь на фактах нравственных, то-есть произведенных нашими способностями, нуждами и волею, не подчиняется вычислению и входит в область наук нравственных. Этого наблюдения достаточно, чтобы показать бесполезность приложения алгебраических формул к политико-экономическим показаниям, как пытались делать некоторые писатели» <sup>3)</sup>. Этим, однако, нисколько не колеблется идея закономерности народного хозяйства. Знания политические и нравственные «вытекают из природы вещей так же неопределимо, как и законы мира физического. Они управляют людьми, стоящими во главе других, и никогда не нарушаются безнаказанно». Для всего нравственного мира человечества Шторх находит даже единое общее понятие, являющееся как бы скрепляющим отдельные факты цементом. «Элементы, из которых слагаются богатства и про-

<sup>1)</sup> K. Gonnard, назв. соч., стр. 254.

<sup>2)</sup> Say, Traité, стр. 13.

<sup>3)</sup> Шторх, назв. соч., стр. 15.

свещение, имеют то общее, что состоят из ценностей: этим тождеством их природы они образуют один предмет для умозрения, а потому и прилично соединить в одной науке законы, которыми они управляются» <sup>1)</sup>.

Новое направление коренным образом расходится с физиократами и Смитом во взгляде на природу богатства. До него экономическая мысль находилась под обаянием материалистической точки зрения. Богатство представлялось в форме великого множества разного рода предметов, удовлетворяющих человеческие потребности или доставляющих человеку удовольствие. Накопление массы этих предметов увеличивает богатство, хотя-бы ценность их при этом и падала. Субъективисты превращают политическую экономию в науку о ценностях, а не о вещах, и поэтому в их представлении богатство лишается телесности и превращается в совокупность приятных или полезных человеку переживаний. Правда, Сэ приписывает Смит, что он будто бы «возвел в ранг богатств абстрактную вещь, ценность» <sup>2)</sup>. Но Смит, во всяком случае, не оставался верен этому взгляду. Сэ в этом пункте гораздо последовательнее Смита. Мы знаем уже (см. выше, стр. 42), что для него и его школы всякое увеличение богатства заключается лишь в изменении формы находящихся в обладании человека предметов, направленном на приведение их в более годное для потребления состояние, так как человеку вообще не дано увеличивать количество материи в окружающем его мире. По его мнению, «все наши доходы бестелесны». Ведь в противном случае «вся масса материи, из которой состоит земля, должна была бы ежегодно иметь новый материальный доход. Мы в действительности не создаем и не уничтожаем ни одного атома, но изменяем лишь соединение атомов, и все, что мы для этого делаем, не имеет телесного существования, представляя собою ценность» <sup>3)</sup>. Сообразно с этим, Сэ понимает и под капиталом абстрактную сумму ценностей, воплощенных в материальную форму, но постоянно меняющих свою оболочку. Материальные блага, входящие в состав капитала, уничтожаются и вновь возрождаются, но сумма ценностей остается неизменной. Но «так как именно ценность вещества, а не самое вещество образует богатство, то становится понятным, я надеюсь, что производительный капитал, хотя бы он несколько раз изменил материальную форму,

<sup>1)</sup> Шторх, назв. соч., стр. 17.

<sup>2)</sup> Say, Traité, стр. 124.

<sup>3)</sup> Malthus und Say, стр. 77.

остается, несмотря на это, постоянно одним и тем же капиталом»<sup>1)</sup>).

Это представление о богатстве, как о бестелесной субстанции, целиком покоится на психологической теории ценности, развиваемой Сэ и его школой. С их точки зрения ценность есть лишь суждение о значении блага для удовлетворения потребностей,—об его полезности, образующееся в человеческом сознании. Эта теория, если оставить в стороне археологические раскопки, еще в физиократическую эру была набросана, независимо друг от друга, двумя авторами, близкими к физиократам: Тюрго и Кондильяком. В незаконченном отрывке «Ценности и деньги» Тюрго явственно намечает основания субъективной теории. По его словам, «уже с первого шага нашего исследования мы натолкнулись на одну из самых глубоких истин и самых новых, которую заключает в себе общая теория ценностей. Это та истина, которую аббат Галиани высказал 20 лет тому назад в своем трактате о монете с такою ясностью и энергией, по почти без надлежащего развития, сказав, что общему мерю всех ценностей является сам человек»<sup>2)</sup>. Ценность—это «достоинство, годность вещи по отношению к нашим потребностям»<sup>3)</sup>. Эта ценность является руководящим критерием даже в поведении изолированного человека. «Имея возможность выбора между разными вещами, пригодными для его целей, наш изолированный человек может оказывать предпочтение одной вещи сравнительно с другой; он может считать апельсин более приятным, чем каштан, мех более годным для защиты от холода, чем хлопковую ткань; он составит себе суждение, что одна вещь ценнее другой, он станет производить в своем уме сравнение, он будет оценивать ценность вещей»<sup>4)</sup>. Однако, «в громадном магазине природы» вещи добываются трудом. При выборе состава своего потребления хозяйствующему субъекту приходится считаться не только со значением выбранных вещей для его существования и благополучия, но и с необходимой для их производства трудовой жертвой. «А эта оценка, разве она является чем-либо другим, как не тем отчетом, который он дает самому себе относительно доли своего времени и труда, или, желая выразить эти две вещи в одном слове, долею сил, которые он может употребить для отыскания предмета, так или иначе

оцененного, без пожертвования теми предметами, которые равно или более полезны»<sup>1)</sup>).

Рядом с беглым, незаконченным эскизом Тюрго теория Кондильяка кажется вполне отделанным продуктом научной мысли. Кондильяк был одним из самых талантливых представителей материалистической философии XVIII века. Он был убежденным, последовательным сенсуалистом, т. е. считал, что все человеческие переживания, хотя бы и самые сложные, представляют сочетания пассивных отражений явлений внешнего мира в человеческом сознании. Уже в старости Кондильяк выступил в свет в 1776 г., одновременно с выходом «Богатства народов», свой труд: «Le commerce et le gouvernement». Сочинение Кондильяка было очень скоро забыто, и лишь с середины XIX столетия начинают воздавать должное его автору. Так, Маклеод причисляет себя к «школе Кондильяка», которую он ставит рядом с физиократами и Смитом<sup>2)</sup>. Труд Кондильяка замечателен тем, что в нем экономические построения тесно переплетаются с философскими, причем субъективная теория ценности покоится на материалистическом базисе. Человеческие потребности лежат в основе всех явлений сознания. В своих философских сочинениях Кондильяк старался показать, что внешние чувства являются отправным пунктом для всех умственных процессов. «Подобным же образом удовольствие и страдание сопровождают чувства, имеющие какое-нибудь отношение к нашим потребностям и их удовлетворению. Они определяют собой известные движения, имеющие целью избегать всего того, что причиняет страдание, и стремиться ко всему тому, что является источником наслаждения». Таким образом, потребности становятся исходным моментом, определяющим и ценность благ. Ценность покоится на нашем субъективном определении степеней способности предметов служить удовлетворению потребностей. Она находится в сознании и предшествует обмену. Чем острее испытываемая потребность, тем выше ценность. Но потребность тем сильнее, чем меньше в нашем обладании количество предметов, служащих ее удовлетворению. Отсюда связь ценности с редкостью благ. «Ценность предметов возрастает при их редкости и уменьшается при изобилии»<sup>3)</sup>. След., не существует

<sup>1)</sup> Say, Traité, стр. 110.

<sup>2)</sup> Тюрго, назв. соч., стр. 71.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 67.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 67.

<sup>1)</sup> Тюрго, стр. 70; о теории ценности Тюрго срв.: Франк. Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд. СПб, 1900, стр. 321.

<sup>2)</sup> Denis, назв. соч., стр. 153—154.

<sup>3)</sup> Condillac. Le commerce et le gouvernement в сб. «Melanges d'économie politique», Paris, 1847, стр. 252.



абстрактной годности благ для удовлетворения потребностей, а лишь конкретная способность данного блага насыщать потребность определенной величины. Эта идея в зародыше воспроизводит строй мыслей, легший впоследствии в основу так наз. теории предельной полезности. В своем субъективизме Кондильяк доходит до крайних выводов. Он отвергает мысль об эквивалентности благ в обмене, бывшую, как мы видели, столь важным завоеванием новой миротворческой идеологии против грабительских попользований меркантилизма. Если бы, «как это предполагается всеми (comme tout le monde le suppose)», люди всегда обменивались лишь эквивалентами, то масса ценностей или богатства не могла бы возрастать. Между тем, торгывая увеличивает сумму богатства. Ошибка здесь заключается, по мнению Кондильяка, в том, что в обмениваемых вещах предполагается абсолютная ценность. В действительности же один и тот же предмет имеет разную ценность для покупателя и продавца. Мы отдаем излишки, чтобы получить в обмен блага, более необходимые для нашего потребления. «Мы хотим отдать меньшее за большее»<sup>1)</sup>. Таким образом, обмен субъективно всегда выгоден, давая прирост удовлетворения обеим сторонам. Иначе и самого обмена не было бы.

У Сэ в основе ценности также лежит субъективно-осознанная полезность. Эта точка зрения оживленно обсуждалась в переписке Рикардо с Сэ. Рикардо готов был признать, что «полезность благ, бесспорно, является основой ценности». Но он не мог согласиться с возможностью измерения ценности степенью ее полезности<sup>2)</sup>. Разумеется, золото и железо ценятся нами потому, что они полезны. Но как объяснить огромное различие в величине их оценки, если оба металла приблизительно равно полезны для человеческого благополучия? Сэ отвечает на это разграничением естественного и социального богатств, которому он придавал огромное значение. «Слово полезность ведь еще недостаточно. Моя идея ценности отнюдь не складается из одной полезности. Продолжая изучать ее, я сделал наблюдение, что в каждом продукте имеется доля этой полезности, предоставляемая нам бесплатно природой, и другая доля, которую мы создаем (créons), работая и заставляя работать с нами наши капиталы и земли. Но так как каждая из этих различных услуг не предоставляется бесплатно,

то отсюда следует, что, создав эту долю полезности, имеющую стоимость (qui est coûteuse), мы не соглашаемся уступить наши права на нее, иначе как в обмен на другую долю полезности, созданную таким же способом и с такими же издержками»<sup>3)</sup>. Сэ полагает, что такая постановка вопроса легко объясняет расхождение между величинами полезности и ценности, о которых говорил Рикардо. «Допуская вместе с вами, что в ливре железа столько же полезности, как и в ливре золота, хотя ценность его в 2.000 раз меньше, я говорю, что в железе имеются 1.999 долей полезности (degrés d'utilité), за которые природа нас не заставляет платить... 1.999 долей полезности, нами не оплачиваемых при потреблении железа, составляют часть наших естественных богатств, подобно воздуху и воде, которыми мы пользуемся бесплатно»<sup>4)</sup>. Нашему изучению в политической экономии подлежат лишь социальные богатства, а их ценность зависит от полезности. Здесь Сэ незаметно подменяет полезность издержками производства, так как отличие полезности, образующей социальные богатства, в том именно и заключается, что эта полезность создается оплачиваемыми услугами.

Со ссылками на Кондильяка и Гарнье развивает субъективную теорию ценности и Шторх. Ценность, по мнению Шторха, образуется в результате отражения в нашем сознании (jugement) отношения, существующего между нашими потребностями и полезностью вещей. Для создания ценности необходимо сочетание трех обстоятельств: 1) ощущения потребности, 2) существования вещи, способной удовлетворить эту потребность, 3) сознания полезности вещи<sup>5)</sup>. Укажем, наконец, и на английского экономиста Лодерделя, который считает необходимым соединение двух элементов для образования ценности: 1) блага, будучи полезно или привлекательно (delightful) для человека, должно быть объектом его желания, и 2) оно должно быть редким<sup>6)</sup>.

Производство сводится у Сэ к соединению трех производственных элементов: земли, труда и капитала, создающих продукт своими совместными услугами. Это учение, согласно которому ценность создается нематериальными услугами участвующих в производстве элементов, приводит Сэ к установлению равноправного

<sup>1)</sup> Там же, стр. 267.

<sup>2)</sup> Say. Oeuvres, стр. 409.

<sup>3)</sup> Say. Oeuvres, стр. 419.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 420.

<sup>5)</sup> Шторх, и. с., стр. 22—23.

<sup>6)</sup> Lauderdale, назв. соч., стр. 12.

значения для образования ценности всех трех указанных «факторов». Каждый из них одинаково необходим при создании новых ценностей. Каждый также требует платы за свои услуги. Доля каждого входит в ценность благ. Таким образом, теория источников богатства приобретает у Сэ новый вид: у Смита, как было сказано выше, в создании богатства участвуют труд и природа, но производительность их усилий зависит от размеров участия капитала в производстве. Сэ поставил точку над «и» и сделал отсюда вывод, что и капитал является одним из факторов создания богатства. Этим самым эклектизм классической теории в вопросе об источнике ценности был доведен до логического конца, и только Маркс разграничением постоянного и переменного капитала положил начало новой монистической теории богатства.

К учению о нематериальном богатстве у сторонников субъективной теории тесно примыкает концепция экономического прогресса.

Схему прогресса набрасывает, прежде всего, Канар. Мы знаем, что у физиократов единственный способ накопления богатства сводился к сбережению получаемых, благодаря превышению производства над необходимым потреблением, избытков. Накопленное таким образом богатство, в свою очередь, служит мощным орудием повышения производительности народного хозяйства и, следовательно, дальнейшего накопления. «Огромная разница между цивилизованным и естественным человеком (*l'homme civilisé et l'homme naturel*) заключается, также и по мнению Канара, в том, что естественный человек ограничивает свою деятельность стремлением обеспечить минимум удовлетворения, тогда как цивилизованный обладает желанием избыточных наслаждений (*le désir des jouissances superflus*) и необходимыми для их удовлетворения способностями»<sup>1)</sup>. Отсюда следует различать во всякой хозяйственной деятельности элементы необходимого для сохранения человеческой породы и избыточного труда. Возможность применения избыточного труда является уделом наиболее экономных и активных. Их избыточный труд, свободный от тягостной необходимости заботиться об обеспечении необходимым голодным пайком, принимает форму накапливаемого богатства. «Человек мог выйти из дикого состояния и последовательно создать все виды искусств, все машины и все средства умножения продуктов труда путем их упрощения лишь благодаря накоплению некоторого коли-

чества избыточного труда (*en amassant une quantité de travail superflu*)»<sup>1)</sup>. Только затрата этих сгустков избыточного труда на улучшение производящих способностей земли наделила последнюю свойством давать приростный продукт. Такие источники чистого дохода, созданные применением избыточного труда, Канар называет рентами. Земледелие, промышленность и торговля приносят соответственно 3 вида ренты: промышленную, промышленную и движимую (*la rente mobilière*). Происхождение промышленной ренты Канар изображает таким образом: «Большая часть людей, обладающих незначительным богатством, т. е. небольшими количествами избыточного труда, употребляют его на приобретение знаний какого-нибудь искусства или ремесла, которые становятся для них собственностью такого же рода, как и поземельная собственность»<sup>2)</sup>. Таким образом, в самом человеке накаплиются способности, становящиеся для него источником получения ренты. Вместе с тем, Канар признает, что в человеке живет особая активная сила, которую он называет энергией и которая является отличительным признаком всякой прогрессирующей нации: «Именно энергия помогает людям выдаваться своими способностями: она является принципом отваги в военном деле, гения—в артисте и писателе, добродетели—в администраторе и активности—в предпринимателе»<sup>3)</sup>. Одни и те же нации обыкновенно блистают и на поле брани и в науках, искусстве и торговле, и это именно те нации, в которых живительным ключом бьет энергия.

Шторх попытался создать стройную научную теорию цивилизации, дающую всестороннее объяснение зарождения, проявления и исчезновения в человеке этих «внутренних благ» (*biens internes*), являющихся одним из видов накопления чистого дохода. Еще Сэ горячо спорил против стремления Смита ограничить круг богатства материальными предметами. Мы видели, что нежелание Смита признавать нематериальные услуги частью богатства всецело объяснялось его мнением, что услуги исчезают в момент их оказания и неспособны к длительному существованию. Но всякое богатство представляет собою накопление чистого продукта, частицы которого должны в той или иной форме облегчать человеческий труд в будущем. Смит указал, что услуги врача, профессора, артиста не могут играть такой роли. Возражая Смит, Сэ не мог, однако, опровергнуть его мнения относительно эфемерности существования

<sup>1)</sup> Canard, назв. соч., стр. 5.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 8.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 86.

<sup>1)</sup> N. F. Canard, *Principes d'économie politique*. Paris, An X (1801), стр. 3.



услуг. Только Шторх удалось найти в этом вопросе убедительные аргументы. Шторх считал внутренним благом не самые услуги, оказываемые человеком человеку, а результаты этих услуг. Врач, прописав больному рецепт, спасает ему жизнь. Эта услуга мгновенно исчезает. Но исцеление больного сохраняется в качестве длящегося результата действий врача. Разве спектакль, спрашивает Шторх, не оставляет в нас часто более глубокого следа, чем какое-нибудь съестное блюдо, когда мы живем полученными от спектакля впечатлениями в течение дней и недель? Разве спасение адвокатом состояния своему клиенту имеет для него более проходящее значение, чем мебель или одежда, поставляемые ему ремесленниками и кушачами? Разве не из всю жизнь сохраняет каждый из нас плоды обучения? Разве мир, заключенный страной с неприятелем, не предоставляет ей, на более или менее долгое время, внешнюю безопасность, подобно тому, как плотины защищают ее от наводнения, пока их не прорвет бурная волна? <sup>1)</sup>

Шторх называет внутренние блага «нравственной собственностью» человека и считает, что политическая экономия занимается рассмотрением тех из этих «продуктов», которые воплощаются в человеческих способностях, совершенствуя их <sup>2)</sup>. Сходство между богатством и внутренними благами заключается в том, что: «1) они представляют собою ценности, т. е., что наше сознание признает за ними полезность по отношению к нашим потребностям, 2) что они могут быть предметами присвоения и 3) что они произрастают из тех же источников, т. е. от природы и труда» <sup>3)</sup>. Главнейшее отличие состоит в том, что материальные блага не только могут быть предметом присвоения, но что право собственности на эти предметы может быть передано и другим лицам. Поэтому они имеют не только ценность, но и рыночную цену. Однако, «если внутренних благ нельзя переуступить посредством менового акта, то я могу, по крайней мере, сделать их полезными моим близким посредством моего труда, который может быть отчужден» <sup>4)</sup>. Таким образом, и это свойство не служит коренным отличием богатств от внутренних благ. Что же касается возможности накопления последних, то она бесспорна, и успехи цивилизации в том именно и заключаются, что всякие таланты, способности и навыки умножаются и закрепляются в обществе.

«Внутренние блага могут быть накапливаемы, как и богатства, и могут образовывать капиталы, употребляемые на восстановление нематериальных капиталов, разрушающихся путем либо потребления, либо смерти их обладателей» <sup>1)</sup>. Создание внутренних благ достигается преимущественно трудом. Таков, напр., труд обучения, воспитания и т. д. Нематериальные услуги являются продуктом уже заключающегося в человеке капитала и в подавляющей своей части производятся для обмена. «Напр., кто хотел бы изучать медицину или правовые науки единственно для того, чтобы беречь собственное здоровье или вести собственные судебные процессы?» <sup>2)</sup> Но, во всяком случае, часть внутренних благ потребляется «непроизводительно» для собственного удовольствия, и лишь другая часть для целей воспроизводства нематериального капитала. Сообразно с этим, «нематериальный фонд» разделяется на потребительный фонд нематериальных благ и на нематериальный капитал. «С того момента, как внутреннее благо не употребляется на воспроизводство подобного же блага, оно становится бесплодным для цивилизации» <sup>3)</sup>.

Возможность разделения труда в деле создания внутренних благ ограничивается, как и для материального богатства, размерами достигнутого накопления капитала. «Напр., в государстве, где просвещение еще не настолько распространено, чтобы позволить разделение научного труда, профессионально-ученым приходится быть специалистами по всем отраслям знания» <sup>4)</sup>... Таким образом, наличность сбережений является первейшим условием производительности интеллектуального труда. Приемы накопления нематериального капитала также не отличаются особым своеобразием. Та же экономия, пещом которой был А. Смит, должна быть здесь путеводной звездой. Внутренние блага не должны потребляться бесплодно. Каждое поколение должно передавать следующему бережно хранимый, пополняемый и совершенствуемый фонд цивилизации. Наконец, возможно даже позимствование нематериальных капиталов в чужих странах; но в этих случаях необходима «трансплантация» и индивидов, обладающих этими внутренними благами <sup>5)</sup>.

Циркуляция нематериальных услуг в обществе определяется не одними только мотивами денежного свойства. Шторх полагает,

<sup>1)</sup> H. Storch, *Considérations sur la nature du revenu national*, стр. 26—27.

<sup>2)</sup> H. Storch, *Cours d'économie politique*, т. III, Paris 1823, стр. 221.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 227.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 231.

<sup>1)</sup> Шторх, н. с., стр. 236—237.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 241.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 301.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 303.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 304.

том, что в глазах Сен-Симона общество должно быть организовано, тогда как для Сэ оно организуется стихийно»<sup>1)</sup>.

С именем Сэ связывается еще теория рынка, изложенная им в 1803 г. в «Трактате политической экономии», затем воспринятая Рикардо и его учениками и вызвавшая еще в начале XIX века резкую оппозицию со стороны Мальтуса и Сисмонди. В пылу этой полемики Сэ пришлось сделать довольно существенные уступки своим противникам, и в результате в его теории получилось немало несогласованных друг с другом наслоений. Поэтому Туган-Барановский, напр., передав содержание теории Сэ, замечает: «По всей вероятности, читатель, который не был раньше знаком с сочинениями Сэ, был немало изумлен приведенным изложением знаменитой теории рынков, стяжавшей своему автору такую громкую известность. Трудно представить себе большую путаницу и большую непоследовательность, чем те, которые обнаруживаются в приведенных взглядах Сэ»<sup>2)</sup>. Мы предпочитаем поэтому изобразить конструкцию Сэ в ее «первобытном» и, вместе с тем, наиболее законченном виде. Сэ исходит от предположения натурального товарообмена между людьми. Участие денег в меновом обороте, по его мнению, мало изменяет общую картину. Каждый производит при этом товары с исключительной целью обеспечить себе соответствующий доход, т. е. возможности предъявить спрос на другие товары. Чем больше производится товаров, тем больше их спрашиваются. Застой в торговле объясняется отсутствием сбыта из-за недостаточной покупательной способности населения. Но увеличение этой способности может произойти только при росте производительной деятельности. Отсюда Сэ приходит к выводам, столь характерным для его миролюбивой экономик. Каждая страна может рассчитывать на внешние рынки лишь в том случае, если население стран, с которыми она хочет торговать, достаточно богато. Мы заинтересованы, таким образом, в процветании, а не в подрыве благосостояния наших соседей. «В Италии и в других местах имеется множество не находящих сбыта английских товаров, потому что не хватает итальянских товаров, которые могли бы быть приобретены англичанами»<sup>3)</sup>. Какая пропасть отделяет этот взгляд от бряцающего оружием меркантилизма, думавшего только об ограждении соседних стран! Однако, как много в этих словах и на-

ивного оптимизма, еще не искушенного опытом империалистической политики новейшего времени!

Сэ, однако, не отрицает возможности перепроизводства товаров того или другого сорта. Ему представляется невозможным лишь общее перепроизводство. При неорганизованности рынка всегда возможны некоторые временные неправильности в распределении капитала между отдельными отраслями производства, в результате которых одних товаров производится слишком много, других — слишком мало. Однако, эти организационные ошибки рано или поздно исправляются, и тогда достигается гармоническое сочетание производительной деятельности всех отраслей народного хозяйства.

## ГЛАВА V.

### Социальная механика и калькуляция счастья.

(Общая характеристика классической школы).

«Здесь господствует только свобода, равенство, собственность и Бентам. Свобода! Ибо покупатель и продавец товара, напр., рабочей силы, определяются в своих действиях лишь своей свободной волей. Они заключают договоры в качестве свободных равноправных личностей. Контракт есть конечный результат, в котором их воли находят себе общее юридическое выражение. Равенство! Ибо они вступают в отношения друг к другу только как владельцы товаров и обменивают эквиваленты на эквиваленты. Собственность! Ибо каждый располагает только тем, что ему принадлежит. Бентам! Ибо каждый из них заботится только о себе. Единственная сила, которая их сводит друг с другом и ставит во взаимные отношения, это — их эгоизм. Их личная выгода. Их частный интерес. Именно потому, что каждый думает только о себе и никто не думает о другом, все они, в силу предубежденной гармонии вещей или под покровительством мудрого провидения, творят взаимную выгоду, общее благо, общий интерес».

Маркс. Капитал. Книга I-я.

Субъективизм начала XIX века оборвался на полуслове. У его создателей не хватило творческой мысли, чтобы довести до конца задуманную концепцию и положить психологическое начало

<sup>1)</sup> Gonnard, назв. соч., т. II, стр. 259.

<sup>2)</sup> Туган-Барановский, назв. соч., стр. 184.

<sup>3)</sup> Malthus und Say, стр. 59.



в основу всей экономической системы. Их интеллектуального размаха было достаточно для создания отдельных остроумных положений, в их построениях немало блестящих мыслей, интересных и подчас парадоксальных сопоставлений, они далеко не лишены способностей к критическому анализу. Но они не сумели сочетать все свои построения в гармоническую, цельную систему. Вот почему субъективизм был скоро заслонен могучей фигурой Рикардо и завял, не успев расцвести.

Экономическая мысль снова переносится с континента в Англию. Течение, приобретшее впоследствии, почетное имя классической школы политической экономии, развивается широким стремительным потоком, пользуется благоприятной общественно-политической почвой, вызвавшей интерес к экономическим вопросам. В период наполеоновских войн весь привычный уклад социальных и экономических отношений Англии был нарушен. Необычайная дороговизна хлеба, расстройство денежного обращения, пауперизм—все эти наболевшие вопросы требовали разрешения и приковывали к себе общественное внимание. И хотя классическая школа выступила с арсеналом довольно тяжеловесных теорий, на первый взгляд не имеющих прямого отношения к явлениям реальной действительности, но, тем не менее, при ближайшем анализе оказывалось, что эти абстрактные построения дают вполне удовлетворительный ответ на запросы жизни. Практическим выводом из теорий классической школы было требование свободной торговли, что как нельзя лучше согласовалось с пожеланиями быстро развивающегося промышленного класса. Наполеоновские войны дали Англии возможность монополизировать почти всю мировую торговлю, правда, выражавшуюся в то время микроскопическими на наш современный масштаб величинами. Сообразно с этим, английская промышленность значительно увеличила свою продукцию, считая, что ее удел—стать «фабрикой мира». Капиталистический микроб, вместе с тем, расшевелил в промышленности дух неутомимого расширения, явившийся психологическим подспорьем для притязаний английской промышленности на мировое господство. Но для беспрепятственного проникновения английских товаров во все уголки земного шара требовалось уничтожение всяких стеснений торговли. Вот почему торговый класс Англии так быстро проникается новым учением, проповедующим устранение всяких таможенных преград. В 1820 году английские купцы подали в парламент знаменитую петицию о свободной торговле, написанную известным экономистом Туком. А в следующем

году, по инициативе того-же Тука, для фритредерской агитации создается лондонский клуб политической экономии, которому суждено было сыграть столь исключительную роль в развитии классической доктрины. История этого клуба вкратце такова.

У Рикардо, бывшего большим хлебосолом, с некоторого времени начинают собираться к завтраку или обеду друзья, и за столом ведется оживленная беседа на волнующие всех экономические темы. Затем у Тука появляется мысль о создании «нейтрального» учреждения, где такие беседы происходили бы регулярно. Рикардо и его друзьям рисовалась в отдаленной перспективе даже возможность превратить их детище в экономическую «академию». 18 апреля 1821 г. состоялось организационное собрание из 9 человек. В конце месяца уже в более многочисленном заседании была принята «конституция» клуба. Среди организаторов клуба преобладали коммерсанты, было некоторое количество политических деятелей, чиновников, публицистов и «профессиональных» экономистов, Мальтус был среди них единственным профессором<sup>1)</sup>. Собрания клуба происходили ежемесячно за обеденным столом. Число членов клуба было первоначально ограничено 30 лицами. Чтобы не стеснять свободы мнений, в протоколы клуба не вносилось изложение имевших место в заседании клуба суждений. В архиве клуба сохранился лишь перечень обсуждавшихся в нем вопросов. Подсчитано, что за время с 1821 по 1846 г. их было 242 и что «абстрактные вопросы» стояли на первом месте: их было 35 %. Среди проблем экономической политики более всего поспострадало в этот период денежное обращение, хлебным законом, законом о бедных<sup>2)</sup>. Главной своей задачей клуб ставил установление «истинных принципов» политической экономии. Считая прессу «мощным орудием распространения знаний или заблуждений», члены клуба обязывались зорко следить за тем, чтобы не пропагандировались «доктрины, враждебные здравым взглядам в политической экономии»<sup>3)</sup>.

Рикардо был душой классической школы политической экономии до 1823 г., когда его жизнь была оборвана ранней смертью. Он был биржевиком по профессии, но не по призванию. Поразительная коммерческая интуиция соединялась у него с полным отсутствием подлинного жизненного опыта. По словам Мальтета,

<sup>1)</sup> Political economy club, founded in London, 1821. Centenary volume, London, 1921, стр. VIII—XII.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 341.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 3—4.

близко знавшего Рикардо, у последнего «знание людей и политического общества было заимствовано преимущественно из книг»<sup>1)</sup>. Это, впрочем, не мешало ему разбогатеть на биржевых операциях. В момент своего появления на бирже Рикардо имел около 800 ф. стерл.; расставаясь с нею, он обладал огромным для того времени капиталом в 500.000 ф. ст. Однако, богатство это создалось не на почве каких-нибудь сомнительных махинаций, служащих часто на бирже орудием феерического обогащения. Рикардо обладал удивительной способностью необыкновенно быстро улавливать малейшие повороты в настроении биржи в отношении разных видов бумаг; благодаря этому, он в течение одного дня производил множество продаж и покупок, реализуя таким способом до 200—300 фунтов в день<sup>2)</sup>.

Рикардо не был очень начитан. Английскую литературу он знал довольно поверхностно, был недурно знаком с философией и обладал значительной экономической эрудицией. Кроме книжного знакомства с экономическими теориями, Рикардо очень ценил также непосредственное общение с современными ему экономистами. Он вел переписку на научные темы с Мальтусом, Мак-Келлохом, Троуэром, Сэ<sup>3)</sup>, был очень близок с Джемсом Миллем, часто встречался с Туком, Торренсом, Бентамом, давал критические указания мисс Марсет, автору появившихся в 1816 г. «Бесед по политической экономии» в форме диалогов<sup>4)</sup>, был знаком с многими современными ему французскими экономистами—обоими Сэ, Сисмонди, Гарнье и др.<sup>5)</sup>. В клубе политической экономии Рикардо уделялось немало внимания<sup>6)</sup>. И здесь, в борьбе с Мальтусом, Рикардо вербовал прозелитов. Единство взглядов считалось в то время необходимым условием авторитетности науки. По словам Мальтуса, «почти необходимо, чтобы значительное большинство тех, кто, благодаря своему вниманию к предмету, считаются публично наиболее при-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 208.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 205—209.

<sup>3)</sup> Letters of Ricardo to Malthus, 1810—1823, изд. Бонаром, 1887, Letters of Ricardo to Mac-Culloch, 1810—1823, изд. Голландером, 1895, Letters of Ricardo to Trower and others, 1811—1823, изд. Бонаром и Голландером, 1899.

<sup>4)</sup> Letters to Malthus, стр. 132—133.

<sup>5)</sup> Letters to Malthus, стр. 210 212 и Letters to Trower, стр. 194—197.

<sup>6)</sup> Ср., напр., сообщение Рикардо Мак-Келлоку о заседании клуба, в котором обсуждались одно из применений к тексту 3-го изд. книги Рикардо по вопросу о влиянии налогов на денежное обращение и его позиция в вопросе о влиянии машин на положение рабочего класса, Letters to Mac-Culloch, ст. 127—128.

годными для роли компетентных судей, сходились во мнениях относительно истины»<sup>1)</sup>. Большинство «компетентных судей» и сошлось на доктрине Рикардо. Несмотря на свои расхождения во взглядах с Рикардо, Мальтус «откровенно признается», что он иногда чувствовал себя «почти поколебленным его авторитетом»<sup>2)</sup>, а Бонар, написавший интересное исследование о Мальтусе, свидетельствует, что в борьбе за «гегемонию» в школе «приз был выигран Рикардом»<sup>3)</sup>.

Политическая экономия и ее апостолы быстро приобретают необыкновенную популярность в английском обществе. Рикардо «осчастливил сообщить» в письме к Сэ ст 8-го мая 1821 г., что «экономическая наука все более и более изучается английской молодежью»<sup>4)</sup>. Мак-Келлок провозглашает в 1823 г.: «Недалеко то время, когда знание политической экономии или, по крайней мере, некоторое внимание к ней будет считаться столь же необходимым для законодателя, как знание греческого языка»<sup>5)</sup>. «Идеи властно проникают», пишет современный автор об этой эпохе, «в широкие круги преобразованными и непонятными, что было, разумеется, неизбежным. Книжки mrs. Марсет и miss Мартиню показывают, что даже в женских пансионах, повидимому, пробудился интерес к новым непогрешимым истинам»<sup>6)</sup>. Вторая из только что упомянутых писательниц издала 25 томовых занимательных повестей под общим заглавием «Иллюстрации политической экономии». Русский профессор 40-х годов Степанов излагает заслуги miss Мартиню перед политической экономией в таких словах: «Испытав на себе трудность знания отвлеченной науки, Мартиню решилась изобразить ее в виде простом, обыкновенном; для этого она избрала рассказы. Она выводит на сцену одно семейство на мысе Доброй Надежды, бывшее в числе небольшой колонии. Стои, глава этого семейства, был довольно образован, понимал вполне дело труда. Развивая общественную жизнь в многообразных, постепенно возрастающих отношениях, Мартиню успела самым счастливым пером обозначить добродетели и совершенства труда и ясно, вразумительно высказала истины политической экономии. Нельзя от имени этой науки не изъяснить ей искреннейшей признательности за такое драгоценное

<sup>1)</sup> T. R. Malthus. Principles of political economy. London, 1820, стр. 4.

<sup>2)</sup> Malthus, назв. соч., стр. 23.

<sup>3)</sup> James Bonar. Malthus and his work. London, 1885, стр. 209.

<sup>4)</sup> Say. Oeuvres, стр. 417.

<sup>5)</sup> Hollander, назв. статья, стр. 6.

<sup>6)</sup> Schumpeter. Epochen der Dogmen-und Methodengeschichte. Grundriss der Sozialökonomik. Abt. I, Tübingen, 1914, стр. 53—59.



сочинение. Многие, скучая одними рассуждениями науки, может быть и не захотели бы усвоить их. Но, читая их облеченными в виде разговорном, в виде семейной, исторической жизни, нечувствительно с ними ознакомятся»<sup>1)</sup>. По словам экономиста той же эпохи, Бланки, «поэтическому воображению женщины было предоставлено исполнить то, чего не предпринимал ни один писатель»<sup>2)</sup>. Мария Эджуорс в 1823 г. утверждала, что в кругу знаний, необходимых для гувернантки, политическая экономия заменила обычные дисциплины, и что «сильные чулки стали считать за признак хорошего тона устраивать большие дискуссии по этому предмету»<sup>3)</sup>. Даже в России был период увлечения, в начале XIX века, политической экономией, которое не миновало и тогдашнего «высшего света». Недаром Пушкин упоминает в Евгении Онегине о том, что «иная дама толкует Сея и Бентама», и влагает в уста Евгения, читающего Смита, опровержение меркантилистического учения о деньгах; у него же в Отрывках из романа в письмах находим такие любопытные замечания: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шлаг: нам неприлично было танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, что все это переменилось. Французская кадрили заменила Адама Смита. Всякий волохитса, как умеет». Эти выдержки показывают, какой широкий круг читателей был захвачен в эпоху, следовавшую за французской революцией и наполеоновскими войнами, модной научной дисциплиной.

Классическая политическая экономия представляет весьма своеобразный продукт английского интеллектуального гения. Ее основные идеи остаются непонятными, если не вставить их в рамку общего развития философского мировоззрения англичан. Английские экономисты не были узкими специалистами, замкнувшимися в кругу своей науки. Смит написал, кроме «Богатства народов», «Теорию нравственных чувств», старший Милль был автором выдающегося для своего времени трактата по психологии, младший Милль приобрел громкую известность своей системой логики. Мальтузианство и дарвинизм — ветви одного и того же идеологического древа, а Бокль и Спенсер превосходно дополняют Рикардо

и Сениора. Едва ли кто-нибудь выразил это своеобразное сочетание идей, на основе которых было возведено величественное здание классической политической экономии, лучше Д. Ст. Милля, формулировавшего в автобиографии «основу своих мнений» в следующих словах: «Религиозный скептицизм, утилитаризм, теория обстоятельств и признание важного значения демократии, логики, политической экономии»<sup>4)</sup>.

Из этих элементов мировоззрения классической школы главнейшим был утилитаризм. В начале XIX века утилитаризм становится мировым течением. Так, русский адмирал Мордвинов пишет главе утилитаристов Бентаму, что он причисляет его к четырем гениям, которые сделали и сделают больше, чем кто-либо другой, для счастья человеческой расы. «Бокон, Ньютон, Смит и Бентам, каждый из них — основатель новой науки, каждый — творец»<sup>5)</sup>.

Основной смысл утилитарной философии передается формулой: мерилом добра и зла является наибольшее счастье наибольшего числа людей. Земной жребий человека заключается в стремлении к максимуму удовольствия и наслаждения. Как, однако, от личного счастья перейти ко всеобщему, универсальному? Бентамисты твердо верили в то, что между индивидуальным и всеобщим счастьем нет и не может быть расхождения. Каждый в борьбе за личное наслаждение закладывает, вместе с тем, один из камней общего благополучия. «Необходимо лишь, чтобы человек в вопросах морали был не слепым рабом страстей, а существом рассуждающим и взвешивающим различные удовольствия и страдания»<sup>6)</sup>.

Своеобразной чертой бентамовской философии был, однако, не принцип пользы или удовольствия, как основа морали, так как и до Бентама целый ряд философов пробовал построить науку о нравственности на том же начале. Новым у Бентама является метод. Бентам хотел дать в руки законодателя мочущее орудие для установления такого правопорядка, который способствовал бы в наибольшей мере общественному счастью. Цель всякой правовой нормы — заставить каждого человека действовать или не действовать определенным образом. Законодатель может стремиться к такому регулированию общественного поведения при помощи права, которое доводило бы универсальное счастье до максимума. Но для этой цели он должен иметь возможность производить очень точную

<sup>1)</sup> Степанов. Записки о политической экономии. Харьков, 1844.

<sup>2)</sup> Бланки. Руководство к политической экономии. СПб., 1838, стр. 30.

<sup>3)</sup> Hollander, назв. соч., стр. 6.

<sup>4)</sup> Д. Ст. Милль. Автобиография. М., 1896, стр. 156.

<sup>5)</sup> П. Похромский. Бентам и его время. Петроград, 1916, стр. 292.

<sup>6)</sup> Там же, стр. 339.

оценку удовольствий и страданий, которые явятся результатом воздействия права на общественное поведение. В связи с этой задачей законодателя, Бентам и пытается ввести в научный обиход идею количественного учета удовольствий и страданий. Психологическая деятельность превращается в сплошную калькуляцию положительных и отрицательных, с точки зрения идеала человеческого счастья, величин. Плюсами обозначаются удовольствия, минусами — страдания. Баланс тех и других показывает, в какой мере человек приближается к идеалу. Законодатель же ищет путей для увеличения до максимума активного общественного баланса удовольствий и страданий. Таким образом, сознание превращается у утилитаристов в механический аппарат, регистрирующий с удивительной точностью и безошибочностью сложнейшие переживания. Человек так же измеряет счастье, как термометр — теплоту или гальванометр — электрический ток. Он превращается в «гедониметр».

Утилитаристы понимали свою формулу в том смысле, что необходимо обеспечить наибольшую среднюю величину счастья «на душу населения». Хотя они редко высказывались по вопросу об индивидуальных отклонениях от общей нормы, но «принцип, принимавшийся большинством утилитаристов явно или молчаливо, был принцип чистого равенства; говоря словами бентамовской формулы: каждый считается за одно лицо, и никто не больше, чем за одно»<sup>1)</sup>. Неясно, однако, в какой мере принимались в расчет при этой калькуляции счастья интересы грядущих поколений. Допустимо ли увеличение благосостояния живущего человечества или нации, если оно покупается ценой более значительного пожертвования счастьем потомства? Сиджвик правильно указывает на то, что, напр., знаменитая доктрина Мальтуса о народонаселении совершенно не продумана с этой точки зрения. Экономисты школы Мальтуса, повидимому, часто исходят от предположения, что увеличение числа людей не может считаться благом, если оно приводит к уменьшению среднего счастья. Но если мы допускаем, что утилитаризм предписывает, в качестве конечной цели поведения, счастье целого, а не индивидуальное счастье, то отсюда следует, что если добавочное население наслаждается в общем положительной суммой счастья, то мы должны сравнить вес того количества счастья, которое выигрывается прибавившимся населением,

с весом потери, понесенной остальными<sup>2)</sup>. Но попечение о будущих поколениях как-то мало трогало утилитаристов; они жили в тревожное и бурное время и были сыты по горло заботами о счастье современников.

Между классической политической экономией и бентамизмом существовало теснейшее духовное родство. Сам Бентам, правда, был плохим экономистом. Многие идеи Рикардо он не был даже в состоянии понять. Написанный им популярный учебник политической экономии совершенно лишен оригинальных идей. Но в утилитарной философии он считал Рикардо своим «внуком», так как духовным отцом Рикардо, обратившим его в бентамовскую веру, был Джемс Милль, наиболее преданный ученик и талантливый популяризатор идей Бентама. Будучи «отцом» Рикардо в философских вопросах, Джемс Милль был его учеником в политической экономии. Таким образом, обе линии в развитии доктрины, протянувшиеся от Бентама, с одной стороны, от Рикардо — с другой, скрестились в Джемсе Милле.

Хотя на утилитарной философии Бентама был построен и английский социализм начала XIX века (об этом — во II томе), но политический радикализм Бентама гармоничнее всего сочетался именно с буржуазной идеологией Рикардо, Джемса Милля и их единомышленников. Вся эта группа была проникнута демократическими идеями; она рассчитывала на торжество класса мелкой буржуазии при демократическом правлении. В статьях «Вестминстерского обозрения», органа бентамистов, издававшегося с 1823 г., «слышались ноты рикардовского социального миропонимания: восхвалялись «слава Англии», средние классы, которые доставили Англии преобладание над всеми остальными нациями, доказывалось, что интересы этих средних классов мирно совмещаются с интересами рабочего населения, и в то же время ведется энергичная атака против земельных магнатов и их порождения — «хлебных законов»<sup>3)</sup>.

Для классической политической экономии утилитаризм в такой же мере явился философским фундаментом, в какой Адам Смит опирался на английских и французских материалистов XVIII века. Бентамизм был лишь исправленным и усовершенствованным изданием материалистической философии. Человек оставался для него «чистой доской», на которой внешние чувства запечатле-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 383.

<sup>2)</sup> Покровский, назв. соч. стр. 537—538.

<sup>3)</sup> H. Sidgwick. The methods of ethics. London, 1877, стр. 385.



вают раздражения, идущие со стороны среды. Сохранялась и идея полного тождества всех индивидов, сознание которых наделялось лишь самыми элементарными инстинктами: руководясь эгоизмом и стремлением к наибольшему счастью, хозяйствующий субъект стремился с наименьшими затратами получить наибольшее удовлетворение.

Таков образ «экономического человека», которым так любили оперировать классики. Он играет в их построениях роль какого-то первоначального, далее неразложимого атома общественной жизни. В этой системе, по словам одного современного автора, «утверждалось понятие личности как наделенной элементарными силами, простой и в свойствах своих постоянной точки»<sup>1)</sup>. Но если общество превращено, таким образом, в «мешок атомов», то нетрудно представить всю общественную жизнь, как перемещение этих атомов в пространстве, как ряд процессов притяжения и отталкивания этих однородных частиц. Теряя свою историческую индивидуальность, эти процессы легко поддаются обобщению и выражению в небольшом числе формул. Таким образом, превращение человека в атом позволяет экономической теории установить ряд непреложных «естественных законов», предопределяющих направление экономической жизни.

Свободное проявление «естественных законов», формулирующих результаты всей совокупности процессов притяжения и отталкивания отдельных частиц социального тела, возможно лишь тогда, когда этим движениям в общественном организме не будут противодействовать какие-либо силы. Атомом социальной жизни является отдельный «экономический человек». Он движим эгоизмом, ведущим его безошибочно к наибольшему счастью. Из борьбы эгоизмов отдельных людей рождается общее благо. Уничтожение препятствий этим процессам притяжения и отталкивания означает, на языке классиков, осуществление режима свободной конкуренции. Только при полном невмешательстве правительства в экономическую жизнь, каждый сможет неуклонно и беспрепятственно идти по пути, который должен привести его к наибольшему успеху. Конкуренция, представляющая как бы «войну всех против всех», способствует торжеству наиболее приспособленных к плодотворной экономической деятельности. Конкуренция противопоставляется ненавистным принципам

<sup>1)</sup> Н. Н. Алексеев. Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов. М. 1912, стр. 43.

монополии, означающий искусственное покровительство тем лицам или организациям, которые, быть может, осуждены на поражение, если бы им не предоставлялось никаких привилегий.

Проповедь принципа невмешательства была у классиков тесно связана с общим их представлением о государстве. В отличие от немецкой идеалистической философии, превращавшей государство в какое-то особенное полумистическое существо, призванное осуществлять «высшие задачи», английские экономисты начала XIX века объявляли государство технической организацией, специально существующей для того, чтобы облегчать людям улачное достижение их утилитарного идеала. Государственная власть сводилась со своего пьедестала и превращалась в прислужницу частных интересов. Если государство может чем-нибудь помочь людям в их стремлении к наибольшему счастью, оно должно действовать в этом направлении. Если-же его вмешательство может только повредить, то самое лучшее и не пытаться оказывать какое-нибудь воздействие на ход экономической жизни. Разумеется, такая точка зрения должна была казаться представителям идеалистической философии какой-то профанацией идеи государства. Недаром один из наиболее убежденных и непримиримых критиков классической школы немецкий экономист середины XIX ст. Бернгарди, выражал такое недовольство по поводу того, что классики были «сторонниками взгляда, заставляющего государство служить целям приватной жизни, жажде счастья отдельного лица»<sup>1)</sup>. В глазах классиков, негодует Бернгарди, «государство является лишь органом полиции и безопасности»<sup>2)</sup>. Вместе с тем, у классиков на первом плане стоят животные инстинкты, а не духовные потребности, вследствие чего они готовы извратить государство от забот об удовлетворении религиозных, нравственных и культурных нужд народа. Адам Смит, по словам Бернгарди, «с некоторой дичинной наивностью» полагал, что по отношению к церкви и школе правительство может придерживаться политики невмешательства. «Служитель церкви, в глазах А. Смита, является каким-то двусмысленным сочетанием, средним между ремесленником и базарным крикуном (Marktschreier)»<sup>3)</sup>.

Свободная и неограниченная конкуренция, господствующая в народном хозяйстве при невмешательстве государственной власти

<sup>1)</sup> Th. Bernhardt. Versuch einer Kritik der Gründe die für grosses und kleines Grundeigentum angeführt werden. St. Petersburg. 1849, стр. 59.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 59—60.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 54.

в экономические отношения, приводит, по представлению классической школы, к абсолютной подвижности труда и капитала. Оба эти производственных элемента кажутся им как бы однородными жидкими массами, легко переливающимися в пределах народного хозяйства с одного места на другое. Эти передвижения труда и капитала вызываются обнаруживающимися для них возможностями более выгодного их хозяйственного приложения. Так, если в одной отрасли народного хозяйства прибыль или заработная плата выше, чем в другой, то сюда немедленно устремляются из других отраслей дополнительные количества капитала или труда, приток которых вызывает понижение стоящих на чрезмерно высоком уровне доходов, пока они не дойдут до общей нормы. Таким образом, безграничная подвижность труда и капитала приводит к тому, что в народном хозяйстве устанавливается какой-то «средний уровень» заработной платы и прибыли, одинаково получаемый всеми рабочими и капиталистами, независимо от их индивидуальности. У классиков существует иерархия классов, но в пределах каждого класса нет индивидуальных отличий. Каждый рабочий и каждый капиталист может заместить любого другого представителя своего класса. Один новейший немецкий автор удачно характеризует эту поразительную подвижность, напоминая живое серебро, в отношении одного из производственных элементов: капитала. «Безличный, бескачественный и лишенный души «капитал» работает у него (Рикардо) как бы благодаря инстинктивной одаренности, с нависающей ужас и не знающей промахов точностью. Он живет по своим собственным законам и неограниченно властвует над личностью предпринимателя. Он лишается своей телесной природы. Он свободно кочует по всем ступеням прибыльного помещения капитала, не ограничиваясь даже пределами одной отрасли хозяйства. Он передвигается в различные сферы приложения: от сельского хозяйства к мануфактуре, а оттуда во внешнюю торговлю; затем перебрасывается в производство машин, а в следующий момент снова в производство сельскохозяйственных продуктов, чтобы после этого, подобно с конъюнктурой, найти себе помещение в горном деле, пока следующая волна снова не заставит его двигаться»<sup>1)</sup>. Такая сверхестественная, не знающая удержку способность капитала и труда передвигаться из одной отрасли народного хозяйства в другую совсем

<sup>1)</sup> Goetz Briefs. Untersuchungen zur klassischen Nationalökonomie, Jena, 1915, стр. 63.

устраняет возможность появления в экономической жизни каких-нибудь индивидуальных процессов, протекающих не по шаблону. Естественный закон деспотически царит над народохозяйственной жизнью. Личность не играет никакой роли. Математическая формула заменяет произвол отдельных лиц. Хозяйство становится механическим процессом.

На изложенных философских и социологических предпосылках классикам пришлось строить свою экономическую систему. Она складывается у них из трех основных концепций.

Первая идея подчеркивает ограниченность открывающихся перед хозяйствующим человечеством возможностей, вторая сводит общественную жизнь к пассивному приспособлению человека к окружающей его среде, третья приписывает прошлому предопределяющее влияние на настоящее и будущее.

Классики-экономисты довольно скептически относятся к социальному прогрессу. Они не верят в возможность безграничного совершенства человеческой природы, не ожидают постоянного, неуклонного роста общественного благосостояния. Закон падающей производительности почвы, согласно которому приложение каждой новой доли труда и капитала к земле дает все меньший и меньший прирост продукта, накладывает, в их глазах, мрачную, зловещую тень на картину народного хозяйства. Поэтому классики представляют себе, что общественный прогресс постоянно замедляется и должен когда-нибудь совсем остановиться у какой-то преграды, созданной естественными законами. Так, по мнению Рикардо, «каждая нация в своем развитии доходит до апогея своей силы, но ее естественная тенденция сводится к поддержанию в течение веков без уменьшения своего богатства и населения»<sup>1)</sup>. В другом месте Рикардо утверждает, что «прибыль имеет естественное стремление понижаться, потому что, при прогрессивном движении богатства и общества, требуемая прибавка пищи получается посредством пожертвования все большего и большего количества труда». Естественным результатом этого процесса должно быть наступление такого состояния, когда капитал совсем не будет давать никакой прибыли и не будет требоваться увеличения труда, а следовательно, и население достигнет своего высшего пункта. Однако, по мнению Рикардо, «в действительности уже задолго до этой эпохи низкий уровень прибыли остановит всякое накопление капитала». Кеннан

<sup>1)</sup> D. Ricardo, Works, ed. by Mc. Culloch, London, 1888, стр. 160.



удачно выражает эту сторону мировоззрения Рикардо, замечая: «Он всегда рассматривал экономический прогресс, как нечто начинающееся с известным количеством энергии и затем постепенно теряющее в быстроте, вплоть до полной остановки»<sup>1)</sup>.

Ухудшение народохозяйственного положения под гнетущей тяжестью действия закона падающей производительности почвы так велико, что Рикардо очень неохотно признает возможность даже временных благоприятных изменений в экономическом положении страны. Так, развитие внешней торговли не может, по его мнению, повысить уровня прибыли в стране. Наоборот, как бы ни была рентабельна внешняя торговля, размер реализуемых при ее помощи доходов скоро понизится до общего уровня прибыли. Возражая оппонентам, Рикардо полагает, что все экономисты разделяют мнение о стремлении прибыли к единому уровню. «Мы не согласны лишь в одном: они полагают, что равенство прибыли представляет результат общего возвышения ее, я же держусь мнения, что прибыль благоприятной отрасли торговли должна быстро понизиться до общего уровня»<sup>2)</sup>.

Если Рикардо весьма скептически относился к возможности развития природных богатств страны, вследствие действия закона падающей производительности почвы, то Мальтус подчеркивал ту же тенденцию в отношении самого человека. Сомнение Мальтуса в способности человека к прогрессивному развитию доводит его даже до утверждения, что, «хотя в человеческой жизни и происходят большие вариации от разных причин, можно все же сомневаться в том, чтобы с начала мировой истории могло быть ясно установлено какое-нибудь органическое развитие в человеке»<sup>3)</sup>. Настаивая, между прочим, на возможности «справедливого сомнения в том, был ли в действительности хоть малейший уловимый прогресс в естественной продолжительности человеческой жизни со времен первых зачатков аутентической истории человека», Мальтус ополчается против предположения, что подобное изменение все же имело место. «Если бы дело обстояло так, пришлось бы сразу положить конец всему человеческому знанию. Вся цепь рассуждений от причины к следствию была бы порвана... Мы можем в таком случае вернуться снова к старой манере философствования и поставить факты в зависимость от систем, вместо того, чтобы строить системы

на фактах. Великая и последовательная теория Ньютона была бы поставлена вровень с дикими и эксцентрическими гипотезами Декарта... Постоянство законов природы—и причин, и следствий—основа всего человеческого знания»<sup>4)</sup>.

Эти полемические выпады Мальтуса объясняются тем, что в момент появления его труда были очень в моде несколько туманные теории о способности человеческого рода к бесконечному совершенствованию. Так, благородный энтузиаст Кондорсе мечтал о том, что, благодаря успехам медицины, искоренению болезней, улучшению условий общественного быта и другим усовершенствованиям, человек, не становясь собственно бессмертным, тем не менее, будет пользоваться жизнью, естественная продолжительность которой будет постоянно возрастать, так что она может быть, в сущности говоря, названа неопределенной»<sup>5)</sup>. Аналогичных взглядов придерживался и Годвин. Он был чистой воды рационалистом и «верил в то, что цивилизация является чисто умственным движением»<sup>6)</sup>. Ссылаясь на слова Франклина, что придет время, когда ум будет всецело распоряжаться материей, он спрашивает: «Почему же не материей наших собственных тел? Разве наше телесное здоровье не зависит в значительной мере от ума?» И далее Годвин пророчествует: «Может наступить время, когда все мы будем так полны жизненной энергии, что совсем не будем спать, и так полны жизни, что совсем перестанем умирать. Необходимость в браке будет преодолена земным бессмертием, а стремление к браку—развитием интеллекта. На обновленной земле будущего не будет ни брачующихся, ни рождающихся в браке, но все мы будем, как ангелы»<sup>7)</sup>. Конечным идеалом Годвина был человек «с огромными мозгами и без страстей»<sup>8)</sup>.

Мальтус готов был согласиться с только что изложенными теориями в том, что для умственного прогресса человечества трудно наметить эмпирические границы. Он, однако, решительно ополчается против взгляда, будто невозможность определить предел, до которого может дойти усовершенствование того или другого живого существа, может быть принято за отсутствие такого предела. Для разоблачения этого софизма Мальтус приводит такой пример: «Я знаю, что между людьми, занимающимися улучшением пород животных, при-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 13.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 12.

<sup>3)</sup> Bonar, Malthus and his work, стр. 22.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 15.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 21.

<sup>1)</sup> Cannan, назв. соч., стр. 248.

<sup>2)</sup> Ricardo, Works.

<sup>3)</sup> Мальтус, назв. соч., т. II, стр. 16.

нимается за несомненную истину, что улучшение это не имеет границ; такое мнение они основывают на другой истине, а именно, что в некоторых отдельных животных всегда можно надеяться встретить желаемые качества в высшей степени против тех же качеств их родителей. В знаменитой овчарне графа Лестера задалась мыслью вырастить овец, которые обладали бы маленькой головой и короткими ногами. Очевидно, что на основании приведенной теории можно получить таких овец, которые отличались бы фантастически малой головой и такими же ногами. Такое нелепое заключение служит несомненным доказательством ложности посылок и показывает, что в такого рода отклонениях существует граница, за которую перейти невозможно, хотя и нельзя указать ее с точностью. Самая высокая степень улучшения, или наименьшие размеры головы и ног могут быть приняты в этом смысле неопределенными; но это совсем не та неопределенность, как ее принимает Кондорсэ. Хотя я и не в состоянии обозначить границы, до которой может достигнуть улучшение породы, но я легко могу указать границу, за которую оно перейти не может. Я смело могу утверждать, что, вырашивая овец в том же направлении, ни в каком случае не достигнут того, чтобы голова и ноги их были менее, чем у крысы»<sup>1)</sup>.

Таким образом, и человеческая раса не может совершенствоваться до бесконечности. Известные улучшения возможны. Но самой природой проведена, быть может, для нас незримая, предельная черта, у которой развитие должно остановиться.

При такой ограниченности возможностей, находящихся в распоряжении человека, немудрено, что и всякие попытки улучшить благосостояние человечества путем искусственного принуждения его к накоплению богатства не могут дать сколько-нибудь удачных результатов. Вопрос этот с типичной для классиков простотой и убедительностью изложен у Джамса Милля. Вследствие постоянного падения уровня прибыли под влиянием понижения доходности прилагаемых к земле капиталов, убывают стимулы к накоплению. Милль вообще не замечает у богатых людей особенной бережливости. Ему еще неизвестно своеобразное извращение капиталистической психологии, приводящее к жажде богатства ради богатства. В его представлении, деньги приобретаются для того, чтобы их тратить, а человеческие потребности имеют пределы.

Поэтому тенденция к накоплению быстро ослабевает. Остается возможность правительственного воздействия, чтобы поддержать хотя бы прежний темп накопления. «Есть, конечно, метод, при помощи которого законодательство могло бы оказать значительное воздействие на накопление капиталов; оно могло бы брать любую, удобную ему, долю годового чистого продукта и превращать его в капитал»<sup>2)</sup>.

Однако, какое употребление может быть сделано правительственной властью из сбереженных таким образом капиталов? Оно может либо отдать их в ссуду капиталистам, либо само заняться организацией предприятий. В первом случае усиление конкуренции капиталов при действии закона падающей производительности скоро низвело бы прибыль до того, что «собственники больших масс капиталов могли бы только извлекать при их помощи необходимые средства к жизни». Однако, низведение капиталистов до положения получателей полуголодного минимума представляется Миллю тяжелым общественным бедствием. «Ведь это—класс людей, благодаря которому культивируется и расширяется область наук; эти же люди являются распространителями просвещения; их дети получают наилучшее воспитание и приготавливаются к выполнению всех наиболее важных и наиболее тонких (*les plus délicates*) функций в обществе; они становятся законодателями, судьями, администраторами, учредителями, изобретателями во всех искусствах и руководителями всех больших и полезных работ, благодаря которым расширяется господство человеческого рода над силами природы»<sup>3)</sup>. Таким образом, принудительное сбережение капиталов с целью отдачи их в ссуду капиталистам способно, по мнению Милля, привести лишь к торжеству всеобщей нищеты. Остается возможность создания предприятий самим государством. Милль мыслит эти предприятия в образе оузовских «параллелограммов», как любил называть их Рикардо, т. е. небольших предприятий смешанного земледельско-промышленного типа. Однако, результаты принудительного накопления капиталов, помещаемых государством в собственные предприятия, будут те же, что и при отдаче их капиталистам, так как законы природы не могут быть отменены волей правительства.

Нет, таким образом, средств предотвратить оскудение, неизбежно грядущее человечеству на пути его хозяйственного прогресса.

Эти выводы придавали всему учению классиков его основной пессимистический колорит. И эти мрачные прорицания неизбежной

<sup>1)</sup> Мальтус, назв. соч., т. II, стр. 14.

<sup>2)</sup> Mill. *Elements d'économie politique*, Paris, 1823, стр. 60—61.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 65.



приостановки народохозяйственной эволюции, казалось бы, должны были звучать особенным диссонансом в эпоху начавших явственно намечаться головокружительных успехов английского капитализма. Такую несогласованность можно объяснить только тем, что именно в эту эпоху стали с особенной быстротой обнажаться и социальные язвы, связанные с развитием внутренних противоречий капиталистического строя.

Идея пассивного приспособления человека к условиям окружающей его среды идет у классиков в двух направлениях. С одной стороны, они, продолжая физиократическую традицию, верят в существование какого-то естественного порядка в экономических отношениях и считают, что задача экономической политики заключается лишь в непротивлении этому порядку. Мальтус, напр., удивляется тому, что после опубликования и распространения труда А. Смита находятся экономисты, все еще верящие в возможность изменения условий существования в стране простым «быть по сему» каких-нибудь судей или даже всемогущего парламента. «Общественные законы» (social laws) хороши только в том случае, если они исходят от «законов природы» (laws of nature) и научают человека подчиняться последней. Но, с другой стороны, насильственные и произвольные действия людей, нарушая гармоническую закономерность, установленную природой, вызывают неблагоприятные изменения в самом человеческом характере, двигая людей по пути преступлений и порока. Измените общественные учреждения к лучшему, совершенствуйте среду, в которой живет человек, и вы устранили почву для появления недостатков и слабостей в человеческом характере.

Однако, в этом вопросе мнение английских экономистов начала XIX века не отличается полным единодушием. Крайние выводы из изложенных предположений делаются лишь радикально-настроенными реформаторами во главе с Годвином и Оуэном. Их учением нам придется подробно заняться во втором томе настоящего исследования. Но для ясного понимания принципов классической школы мы должны сказать здесь о них несколько слов. Теория Годвина-Оуэна последовательно вытекает из изложенных выше начал механической закономерности общественной жизни и сведения психических переживаний к математическому учету удовольствий и страданий. У них человек остается все той же «чистой доскою» Локка. Он выдвигается в общественную среду, как бесличный атом, не наделенный еще никакими индивидуальными свойствами,

как частица пластической материи, легко принимающей под резцом законодателя любые формы. Общественные учреждения делают его добрым или злым. «Благодаря человеческим учреждениям,—говорит Годвин,—особенно же юристам, монархам и государственным деятелям, внешние обстоятельства испорчены до пределов возможного. Повсюду неравенство. Тяжелая нищета сочетается с большим богатством, великая тирания—с великим рабством». Недостатки общественного строя и создают все общественные бедствия, так как в самом человеке, повторяем, нет элементов ни добра, ни зла.

Эта точка зрения резко расходится с теориями Мальтуса, который видел зачатки общественного зла в биологической природе человека. Инстинкт размножения, как увидим дальше, служит в глазах Мальтуса величайшим препятствием человеческому прогрессу. Слепые человеческие страсти могут разрушить любой грандиозный план общественных реформ, обещающий человечеству самые заманчивые перспективы. У Мальтуса человек перестает быть пластической материей. В нем скрыта упругая пружина, мешающая реформаторам всецело овладеть им в целях усовершенствования человеческого характера. Биологические особенности ставят границы механическому воздействию. Однако, предостережение Мальтуса было почти что гласом, вопиющим в пустыне. Хотя большинство представителей классической школы и принимало теорию народонаселения Мальтуса, но это не мешало им оставаться верными идеям социальной механики. Они даже не сознавали, насколько Мальтус противоречит Локку.

Наконец, третья идея постулирует полную зависимость будущего развития народного хозяйства от настоящего и прошлого. Сокровенный ее смысл таков: вся хозяйственная деятельность человека предопределяется экономической историей — достигнутыми результатами, силой традиции, воспитанной годами устойчивостью рынка. Сегодняшние цены складываются под влиянием вчерашних, те, в свою очередь—под влиянием цен еще более раннего периода и так далее, пока следы нитей этих зависимостей цен друг от друга не затеряются окончательно в туманной дали прошлого. В частности, заработная плата всецело определяется сложившимися экономическими условиями: степенью размножения населения и быстротой накопления капитала, и «зависит от отношений между населением и капиталом». Две математические величины с абсолютной неизбежностью определяют судьбу заработной платы. Никакие усилия человеческой воли не могут вызвать немедленного

моментального уменьшения населения или увеличения капитала, а потому высота заработной платы устанавливается в зависимости не от человеческих действий, совершаемых в данный момент, а от факторов, созданных всем прошлым развитием общества. Таково содержание теории «фона» заработной платы.

Та же мысль о предопределяющем влиянии накопленного фонда богатства на хозяйственную жизнь представлена у классиков в многочисленных вариациях и при обсуждении иных теоретических проблем. Так, очень решительно подчеркивает ее Рикардо, настаивая на беспечности попыток изменить нормальный ход производства посредством банковских операций. По его словам, «вся хозяйственная деятельность, которая может производиться целым обществом, зависит от количества капитала, находящегося в его распоряжении, т. е. сырья, орудий производства, земли, кораблей, и т. д., употребленных в производстве <sup>1)</sup>». Таким образом, производительная способность народного хозяйства оказывается ограниченной «количеством капитала». Активной человеческой работе не отводится в экономической жизни сколько-нибудь заметной роли.

Такова была общая канва, на которой отдельные представители классической школы вышивали свои теоретические узоры. На первых порах эта комбинация идей показалась английскому обществу чуть ли не откровением. Однако, разобравшись как следует в классической идеологии, оно объявило политическую экономию устами Рескина «мрачной наукой». Карлейль осмеял апостола «мрачной науки», выведя его в одной из своих пьес в юмористическом виде под именем Мак-Кроуди, в котором современники подсмеивались над карикатурой на «самого» Мак-Келлока. Скорее, однако, можно думать, что Мак-Кроуди представляет собой собирательный тип. Классицизм стал склоняться к закату. Его золотым веком можно считать время от 1810 до 1823 г.г., пока жив был Рикардо. Наследство Рикардо перешло в ненадежные руки, так как его ученики: Мак-Келлок, Джеймс Милль, Торренс были головою ниже учителя. Правда, появляются и в этой стадии развития классических идей крупные индивидуальности, вроде Сеньора; но не они делают музыку. Заключительным аккордом классической эры считается выход в свет курса политической экономики Д. Ст. Милля, в 1848 г., ставшего почти на целых полвека университетским учебником.

<sup>1)</sup> Ricardo, Works, стр. 221.

ШумпETER говорит о классиках: «Свежесть занимающегося дня озаряет творения классиков... Они рвались вперед, не задумываясь над вопросом о прочности прокладываемых путей, и спешили без оглядки поднять развернувшуюся перед ними целину». Эти слова приложимы, однако, лишь к периоду создания основ классической идеологии, за которым следует четверть века медленного, но неуклонного упадка.

## ГЛАВА VI.

### Естественные законы народохозяйственного оскудения.

(Рикардо).

„У него... государства рассматриваются, как мастерские, в которых производятся богатства, человек—машина, производящая или потребляющая, а жизнь человеческая—не более, не менее, как капитал. В этом странном мире все взвешивается, все исчисляется, и экономические законы, подобно роковой, неумолимой необходимости, управляют всем миром“.

В. А. Мил у т и н, русский автор середины XIX ст., цит. у Я н ж у л а. Английская свободная торговля.

„Мне нужно умелое перо, чтобы выставить в ясном свете мои мнения и избавить их от видности парадокса, в которую они в настоящее время облечены“.

Из писем Рикардо к Мальтусу.

Мы видели, что Рикардо стоял во главе мощного научного и общественного течения, связанного с именем классической школы политической экономии, и что попытки Мальтуса отвоёвывать у него это первенство окончились полной неудачей. В чем же заключался секрет этого успеха Рикардо, что дал он нового сравнительно со своими предшественниками? Его книга, сделавшаяся, по словам Лесли, «экономической библией утилитаризма» <sup>1)</sup>, по своим литературным достоинствам не может быть поставлена рядом с увлекательным повествованием Смита или блестящим саркастическим стилем Маркса. Написанная обычным «бессвязным и запутанным язы-

<sup>1)</sup> Leslie Stephen, назв. соч., т. II, стр. 187.



ком»<sup>1)</sup>, по собственной характеристике Рикардо, сухая и однотонная, превращающая по меткому выражению Бонара, «каждый социальный вопрос — в арифметическую задачу»<sup>2)</sup>, она кажется современному читателю совершенно не отвечающей своей громкой научной славе.

Популярность Рикардо — скажем парадоксом — основана, однако, совсем не на его популярности. Не даром даже Маркс, отмечая «высокое теоретическое наслаждение», доставляемое чтением первых двух глав его книги, где вся «буржуазная экономическая система изображена словно подчиненной единому закону», откровенно замечает, что, в общем, труд Рикардо «вызывает утомление и скуку»<sup>3)</sup>. Сисмонди передает, со слов Рикардо, что «его книгу поняли в Англии не более 25 человек»<sup>4)</sup>. Как справедливо указывает Маршалл, если Рикардо имел в виду каких-либо читателей, то ими были государственные деятели и коммерсанты, с которыми он состоял в общении. «Поэтому он намеренно умалчивал о многом, что было необходимо для логической полноты его хода мыслей, так как он предполагал это известным для этих людей»<sup>5)</sup>.

Сила Рикардо заключается и не в самостоятельности или оригинальности его построений. Многие он заимствует у своих предшественников. Основные свои конструкции: теории ценности, ренты, заработной платы, валового и чистого дохода, Рикардо возводит из чужого материала. В предисловии к «Основам политической экономии» он сам указывает источники своих познаний, упоминая труды Тюрго, Стюарта, Смита, Сэ, Сисмонди (кроме того, в вопросе о земельной ренте он признает приоритет Мальтуса и Уэста). Замечательно, между прочим, этот подбор авторов, на которых ссылается Рикардо. Из пяти — трое были французами. При общезвестной несклонности англичан читать на других языках, кроме собственного, это свидетельствует о глубоком влиянии, оказанном на Рикардо современной ему французской экономической мыслью. Рикардо, во многих вопросах, как увидим дальше, резко расходился с физиократами. Однако, через Тюрго и французскую субъективную школу он испытал на себе до известной сте-

пени то же обаяние их интеллектуальной мощи, которое заставило Смита нехотя воспринять многие из их идей. Таким образом, построения Рикардо не были вполне самостоятельными. Но все же Гасбах, несомненно, заходит слишком далеко, утверждая, будто «все, что он предлагает, представляет чужую духовную собственность»<sup>1)</sup>.

Рикардо, быть может, не обогатил политической экономии новым содержанием, но он дал ей новый метод<sup>2)</sup>, он сумел сочетать в одно законченное, проникнутое общим замыслом целое, разрозненные, не связанные между собою теоретические проблемы<sup>3)</sup>. По остроумному сравнению Боджгота, Смит словно был первым путешественником, открывшим новую страну — он уловил некоторые контуры, но многое ускользнуло из поля его внимания; лишь Рикардо набросал первую карту открытой страны, установив последовательность между отдельными явлениями и конструировав то, что мы называем наукой<sup>4)</sup>. Смысл произведенной Рикардо «революции»<sup>5)</sup> выясняется поэтому не при чтении отдельных глав его плохо скроенного сочинения, а при усвоении всего хода его мыслей. При попытке такого осмысливания, обнаруживается грандиозный план, пусть ложный, пусть основанный на неудачно выбранных предпосылках, но все же законченный и продуманный во всех логических последствиях.

На системе Рикардо можно демонстрировать и сильные, и слабые стороны абстрактного метода. Единство теоретического замысла и последовательность его развития покупаются дорогой ценой отчуждения от реальной, живой действительности. По словам Бонара, Рикардо «законодательствует для Сатурна»<sup>6)</sup>. Раскрывая перед читателем в немногих положениях маленький теоретический мирок, управляющийся системой «естественных законов», его метод неизбежно ведет к упрощению и схематизации, а при неудачном выборе основных предпосылок — к прямому извращению фактов.

Странно видеть этот метод в руках Рикардо, так тонко чув-

<sup>1)</sup> Letters to Malthus, стр. 96.

<sup>2)</sup> Bonar, назв. соч., стр. 209.

<sup>3)</sup> Marx. Theorien über den Mehrwert. II Band. D. Ricardo. I Teil, Stuttgart, 1905, стр. 8.

<sup>4)</sup> Цит. у Hollander. David Ricardo. A centenary estimate. Baltimore, 1910, стр. 50.

<sup>5)</sup> Marshall, Principles of economics.

<sup>1)</sup> Hasbach. Mit welcher Methode wurden die Gesetze der theoretischen Nationalökonomie gefunden? Jahrb. für Nationalök. u. Statistik. Mayr 1904 r., стр. 303.

<sup>2)</sup> Hollander. назв. соч., стр. 129.

<sup>3)</sup> A. Amann. Objekt u. Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie. Wien u. Leipzig. 1911, стр. 33.

<sup>4)</sup> W. Bagehot. The postulates of english political economy. London, 1885, стр. 29.

<sup>5)</sup> Выражение Де-Квинси. The collected writings of I. De Quincey, т. IX. London, 1897, стр. 118.

<sup>6)</sup> Bonar. назв. соч., стр. 212.

ствовавшего пульса экономической конъюнктуры<sup>1)</sup>. Но не приходится сомневаться в том, что Рикардо выбрал свой методологический путь вполне сознательно, готовый встретить на нем противоречащие его учению факты и отбросить их. Вот что он пишет Мальтусу: «Нельзя возражать мне указанием на то, что людям неизвестны лучшие и наиболее дешевые способы ведения своих дел и платежа долгов, потому что это вопрос факта, а не науки, и потому что этот довод может быть приведен против почти каждого предположения в политической экономии»<sup>2)</sup>. В другом письме он формулирует свои методологические разногласия с Мальтусом: «Вы всегда имеете в виду непосредственные и временные следствия частных изменений, тогда как я совершенно игнорирую эти непосредственные и временные изменения и сосредоточиваю все свое внимание на постоянном положении вещей, происходящем из них»<sup>3)</sup>.

Мы считаем, однако, необходимым подчеркнуть неправильность обычного представления, будто Рикардо не только пренебрегал фактами и историей, но и просто не знал их, будто ему «не хватало литературного воспитания», как язвительно замечает Кеннан<sup>4)</sup>. Небольшая работа Шюллера о классической экономике показала, как несправедливы огульные обвинения классиков в том, что они совсем не считались с условиями культуры, времени, места, с человеческой индивидуальностью, с многообразием мотивов человеческого поведения и т. д.<sup>5)</sup>. Правда, защита Шюллера наименее убедительна именно в отношении Рикардо. Случайные конкретно-эмпирические замечания, собранные Шюллером с большой добросовестностью, лишь еще более оттеняют основной абстрактно-дедуктивный тон его работы. Но в то же время эти отдельные замечания Рикардо нередко показывают, как неверны утверждения об узости его кругозора. Вспомним хотя бы ходячее мнение, будто Рикардо считал буржуазный строй «естественным порядком» и даже не представлял себе возможности иной формы общежития. В действительности же Рикардо ясно сознавал, что капитализм не является единственно мыслимым типом хозяйства, и лишь сомневался в возможности дли-

тельного существования социалистического строя. «Может ли разумный человек поверить, вместе с Оузом», писал он Троуэру: «что проектируемое им общество будет процветать и производить более, чем до сих пор когда либо производилось трудом равного числа людей, если последние будут поощряемы к затрате труда соображениями об общем благе, вместо преследования своих частных интересов? Не говорит ли против него опыт веков? Он ничего не может противопоставить этому опыту, кроме одного или двух малодостоверных примеров обществ, которые преуспевали на основе общности благ и где, однако, народ находился под могущественным влиянием религиозного фанатизма»<sup>1)</sup>. Рядом аналогичных выписок можно было бы без труда разрушить *fable convenue* об узости кругозора Рикардо и о недостатке у него положительных знаний. Но, повторяем, Рикардо не боялся становиться в противоречие с этими знаниями, если того требовала неумолимая логика его системы.

С абстрактно-дедуктивным методом у Рикардо неразрывно сочетается характерное вообще для классической школы стремление к механизации экономической жизни, к превращению хозяйствующего субъекта в счетную машину, подчиненную всемогущей воле природы. Это превращение экономической системы в механизм делало возможным математическую «обработку» ее, выражение экономических отношений посредством элементарных математических формул.

Сам Рикардо пользовался лишь самой несложной формой математического анализа—арифметикой<sup>2)</sup>. Он словно «открывает торговые книги мирового хозяйства и противопоставляет друг другу счета» участвующих в производстве классов<sup>3)</sup>. Но своими арифметическими примерами он подготовил почву для более общей математической формулировки экономических проблем, которая и была дана через несколько лет после его смерти Уэзвеллом<sup>4)</sup>.

Вместе с тем, впервые у Рикардо политическая экономия окончательно очищается от посторонних примесей, привнесшихся в нее, вслед за меркантилистами, даже физиократами и А. Смитом и

<sup>1)</sup> Letters to Trower and others, cnp. 79—80.

<sup>2)</sup> Срв. А. Билимович. К вопросу о расценке хозяйственных благ. Ч. 1, Киев, 1914, cnp. 176.

<sup>3)</sup> L. Stephinger. Der Grundgedanke der Volkswirtschaftslehre und die Rententheorie Ricardos. Stuttgart, 1910, cnp. 7.

<sup>4)</sup> Whewell. Mathematical exposition of the leading doctrines in Mr. Ricardo «Principles». Cambridge Philosophical Transactions, 1831, т. IV; в русской литературе попытку выражения рикардianской экономики посредством алгебры и высшей математики сделал Ю. Г. Жуковский. История политической литературы в XIX ст., т. I, СПб. 1871, cnp. 307—390.

<sup>1)</sup> Cpv. Ad. Held. Zwei Bücher zur sozialen Geschichte Englands, Leipzig, 1881, cnp. 176.

<sup>2)</sup> Letters to Malthus, cnp. 18.

<sup>3)</sup> Letters to Malthus, cnp. 127.

<sup>4)</sup> Cannan, назв. соч., cnp. 7.

<sup>5)</sup> R. Schüller. Die klassische Nationalökonomie und ihre Gegner. Berlin, 1905.



заклучавшихся в искании рецептов увеличения общественного богатства. В системе Рикардо нет ничего лишнего или случайного. Она представляет сплошной ряд силлогизмов. Рикардо стремится дать теоретическое описание того, как происходит накопление и распределение богатства. Но он совершенно не затрагивает вопроса о том, какими мерами можно ускорить рост этого богатства или добиться более равномерного его распределения.

Каким же рисовался воображению Рикардо этот механизированный, омертвевший экономический мирок, работу которого он старался выразить в своих формулах? Прежде всего, это—земледельческое государство, в котором промышленность фигурирует лишь в качестве скромного придатка к основному промыслу населения. Такое построение, в общем, гармонировало с действительным положением английского народного хозяйства того времени. Как подчеркивает Смарт, автор большой работы по экономической истории Англии начала XIX ст., феноменальное развитие промышленности этой эпохи не должно давать повода к тому, чтобы забывать, что в 1800 г. главной отраслью народного хозяйства страны оставалось земледелие<sup>1)</sup>. Англия не имела еще железных дорог. По цензу 1801 года, из больших городов только в одном Лондоне число жителей превышало 100 тысяч, приближаясь к миллиону. Манчестер, Бирмингем, Эдинбург, Ливерпуль имели меньше 100 тысяч<sup>2)</sup>. Внешняя торговля выражалась, главным образом, в вывозе текстильных товаров и ввозе сахара, кофе, отчасти хлеба и т. д. Поэтому неудивительно, что у Рикардо земледелие еще играет роль основного народохозяйственного фактора. С первых же слов своей работы Рикардо говорит о «продукте почвы», который распределяется между землевладельцами, капиталистами и рабочими. Все отношения между общественными классами развиваются у Рикардо на фоне сельского хозяйства. Сельское хозяйство—с одной стороны, промышленность—с другой, оказываются при этом подчиненными у Рикардо различным законам развития. Продукт сельского хозяйства, сырье «имеет наклонность становиться дорожее, вследствие возрастающих трудностей производства его». Наоборот, продукты промышленности постоянно дешевеют, так как возрастающая дороговизна сырья «более чем уравнивается усовершенствованиями в орудиях производства, лучшим разделением и распределением

труда и увеличивающейся ловкостью производителей в науке и искусстве»<sup>3)</sup>. Вследствие этого расхождения цен готовых фабрикатов и сырья «в их относительной ценности, возникает, наконец, такая несоразмерность, что в богатых странах, жертвуя лишь весьма незначительной частью своей пищи, рабочий может удовлетворить сполна всем остальным своим потребностям» Это, на первый взгляд, невинное теоретическое упрощение действительности может послужить, однако, надежным базисом для весьма важных практических выводов. При изложении физиократического учения мы видели, как пеклись экономисты конца XVIII века о высоких ценах на хлеб, полагая, что экономическая депрессия и нищета населения всецело определялись дефицитом предметов сельскохозяйственного производства. Установленная Рикардо тенденция постоянного дорожания хлеба и сырья и дешевения продуктов промышленности делает совершенно ненужной какую-либо заботу о положении сельского хозяйства. Экономический прогресс целиком утилизируется в свою пользу землевладельцами. Выражая современным языком, расхождение «товарных ножищ» приводит к тому, что деревня получает львиную долю общественного богатства, а город все более и более беднеет. Если и нужно оказывать кому-нибудь покровительство, то это, во всяком случае, промышленности, а не сельскохозяйственному производству.

Таким образом, развитие промышленности влечет народное хозяйство на путь постоянного расширения, тогда как сельское хозяйство давит на него мертвым грузом. Равнодействующая этих сил, как не трудно догадаться после сделанной выше характеристики классической школы, выражается во все большем и большем замедлении прогресса. Эти мысли особенно отчетливо выражены в теории распределения Рикардо. Картина борьбы классов за раздел национального продукта приобретает зловещие краски: на междуклассовые отношения ложится мрачная тень народохозяйственного оскудения. Накопление капитала и рост населения сопровождаются понижением производительности труда и капитала, вследствие необходимости прибегать к обработке все худших и худших земель или к увеличению затрат на уже обрабатываемых землях. Прибыль падает. Стимулы к накоплению капиталов уменьшаются. Реальный заработок рабочего также имеет тенденцию к понижению. Возрастающие затруднения при добытии пищи

<sup>1)</sup> W. Smart. Economic annals of the XIX century, т. I, 1801—1820, London, 1910, стр. 23—24.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 49.

<sup>3)</sup> Ricardo, Works, стр. 50.

оказываются на пользу только получателям ренты — землевладельцам.

Так, в системе Рикардо природа побивает человека, хотя бы он и опирался на «усовершенствования в орудиях производства, лучшее разделение и распределение труда и увеличивающуюся ловкость производителей в науке и искусстве». Человеческая воля не в силах выйти из очерченного ей природой заколоченного круга, отодвинуть давящие ее «естественные» границы. Возможны лишь временные уклонения от установленных природой норм; железная рука скоро возвращает к ним непокорного. Достаточно привести один пример. Выпуская бумажные деньги, эмиссионный банк может, казалось бы, оказывать своим клиентам дешевый кредит и понижать, таким образом, рыночный ссудный процент. Рикардо вынужден признать, что «за последние двадцать лет» Английский Банк действительно снабжал купцов деньгами из процента, стоящего ниже рыночного. Но, констатировав факт, Рикардо не колеблется, вместе с тем, поставить абстрактную формулу на место факта. Ссудный процент, уверяет он, «не регулируется ставкой, по которой банк оказывает кредит, хотя бы она составляла 5, 4 или 3 процента, на уровне прибыли, которая может быть получена при употреблении капитала и которая совершенно не зависит от количества и ценности денег. Отдаст ли банк в ссуду 1 миллион, 10 миллионов или 100 миллионов, он не может добиться устойчивого изменения рыночного уровня процента»<sup>1)</sup>.

Таким образом, рыночный процент на капитал нисколько не зависит от свободного усмотрения кредитных учреждений и всецело определяется уровнем прибыли. Последний же — выразим пока это соотношение, несколько забегая вперед, лапидарной формулой Рикардо — «зависит от цены или, правильнее, от ценности пищи»<sup>2)</sup>. Процент на капитал, вслед за уровнем прибыли, втягивается, таким образом, в цепь причин и следствий, с железной необходимостью предопределяющих ход хозяйственной жизни, и банковский процент, подобно всякой рыночной цене, имеет свою естественную «норму», от которой он не может надолго отклоняться.

В изображенной Рикардо теоретической схеме народного хозяйства главное его внимание привлекает механизм распределения. В установлении законов, регулирующих распределение, Рикардо

и видел «главную задачу политической экономии». Он отмежевывается в этом вопросе от смирто-мальтусовского направления; в одном из писем к Мальтусу он так формулирует различие их взглядов на предмет экономической науки: «Вы думаете, что политическая экономия является исследованием природы и причин богатства; я думаю, ее скорее следует называть исследованием относительно законов, определяющих разделение продукта производства (industry) между классами, участвующими в его создании»<sup>3)</sup>.

Для уяснения конструкции распределения у Рикардо очень важно предварительно воспроизвести его соображения о самом предмете дележа, т. е. национальном доходе. По мнению Рикардо, ежегодно потребляется весь доход, производимый трудом нации; но при этом огромное значение имеет пропорция распределения потребляемого продукта между производительными и непроизводительными классами общества<sup>4)</sup>. Капиталисты могут либо потреблять весь свой доход сами, либо сберегать часть его, превращая сбережения в средства существования рабочих. Рикардо прямо отождествляет в одном месте своей книги капитал со «средствами для содержания труда»<sup>5)</sup>. Только такое потребление капиталистами своего дохода Рикардо считает производительным, противопоставляя ему непроизводительное потребление при удовлетворении их личных потребностей. Интересно сопоставить два текста — одно из писем к Мальтусу, другое — к Мак-Келлоку. «Я не могу признать основательным» — пишет он Мальтусу — «ваши рассуждения о полезности спроса со стороны непроизводительных потребителей. Как их потребление без воспроизводства может быть благотельно для страны при любом ее положении, признаюсь, я этого не могу постигнуть»<sup>6)</sup>. С другой стороны, вот что он пишет Мак-Келлоку: «...продукт страны всегда потребляется, а сбережения означают лишь то, что большая часть будет потреблена теми, кто воспроизводит ценность, превышающую их потребление»<sup>7)</sup>. Таким образом, Рикардо считал, что увеличение национального богатства происходит путем превращения нетрудовых доходов в капитал, т. е. в заработную плату рабочих.

Однако, в учении Рикардо о национальном доходе имеются, как будто, и другие мотивы, давшие Адольфу Гельду повод обви-

<sup>1)</sup> Letters to Malthus, стр. 175.

<sup>2)</sup> Ricardo, Works, стр. 87, прим.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 53.

<sup>4)</sup> Letters to Malthus, стр. 178.

<sup>5)</sup> Letters to Mc Culloch, стр. 66.

<sup>1)</sup> Ricardo, Works, стр. 220.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 381.



нить Рикардо в «циническом материализме» и утверждать, что Рикардо рассматривает рабочих лишь как орудие обогащения для капиталистов, и что для него «руководящей целью всякого человеческого общежития является стремление к увеличению капитала и к возможно большей прибыли на капитал»<sup>1)</sup>. Не трудно показать, что это суждение Гельда основывается на словесной придирке и совершенно игнорирует теоретический смысл учения Рикардо о валовом и чистом доходе.

Рикардо вычитает из валового дохода нации общую сумму заработной платы, которую он, не обинуясь, признает «необходимыми издержками производства» и называет чистым доходом лишь остальную часть валового дохода, слагающуюся из ренты и прибыли. Рикардо тут же объясняет мотивы этого разделения: «Только из этих двух последних частей могут быть сделаны какие либо вычеты на уплату налогов или для сбережения»<sup>2)</sup>. Несколько иной оттенок мысли передает другое место, где Рикардо называет «чистым денежным доходом страны» тот «фонд», из которого «уплачиваются налоги и доставляются удовольствия»<sup>3)</sup>.

Но почему же чистым доходом нации можно признать лишь ту часть валового дохода, из которой выплачиваются налоги, черпаются сбережения, производятся расходы на удовольствия? Ответ на этот вопрос вполне подготовлен нашим предшествующим изложением. Рикардо воспринимает физиократическую идею чистого дохода в том переработанном, лишенном элементов аграрного мистицизма виде, в каком она должна была быть ему хорошо известна из сочинений французских экономистов начала XIX века. В этом отношении Рикардо резко расходится со своим учителем Смитом, который совершенно не понял теории чистого дохода и утверждал, что богатство народов определяется лишь валовым доходом. Приходится поражаться тому, как неуклюже следует Рикардо в этом вопросе за своими теоретическими вдохновителями. Из них, повидимому, наибольшее влияние оказал на Рикардо Сисмонди. Вслед за Сисмонди, Рикардо важно выделить в национальном доходе чистый прирост его, остающийся в свободном распоряжении нации. Валовой доход должен быть, прежде всего, источником поддержания жизненной энергии народа. Потребление минимума средств существования обуславливается суровою необхо-

дностью. Лишь остальная часть валового дохода может получать произвольное назначение, и на нее не распространяется властное принуждение к потреблению со стороны природы. Из этого свободного фонда нации покрываются налоги, дающие средства к содержанию флотов и армий»<sup>4)</sup>, т. е. он определяет возможность увеличения военной мощи страны; отсюда черпаются сбережения, увеличивающие капитал нации и, следовательно, подготовляющие возможность роста населения, что также приводит к увеличению мощи страны; наконец, этот фонд служит удовлетворению изысканных потребностей человека, имеющих целью не простое поддержание жизни, а ее украшение и «услужение». «Доставлять себе наибольшее количество удовольствий — вот наша цель»<sup>5)</sup>, говорит верный ученик Бентама Рикардо. Таким образом, чистый доход нации — это фонд свободы, это — сумма ценностей, которыми нация располагает для укрепления своей мощи и для улучшения своего быта, тогда как необходимые издержки представляют уплату природе бронированного ею бюджета, а след., вынужденную и тяжелую жертву.

И валовой и чистый доход, по мнению Рикардо, являясь важными показателями экономического благополучия, но каждый из них определяет собою это благополучие в совершенно разных смыслах. «Средства к поддержанию населения и к употреблению труда зависят всегда от валового продукта нации, а не чистого ее продукта». Таким образом, валовой доход устанавливает пределы возможного применения труда производительных работников. Но, с другой стороны, как мы только что видели, чистый доход обеспечивает возможность сбережений и, след., обещает в будущем непрерывный рост богатства. Он дает средства для содержания представителей умственного труда, создающих культуру. При этом Рикардо не желает закрывать глаза на возможность расхождения в движении обоих видов дохода: рост чистого дохода может происходить при уменьшении валового. К этому мрачному убеждению Рикардо пришел на основании тщательного обдумывания проблемы влияния машин на положение рабочего класса. Рикардо после долгих колебаний счел необходимым признать к мнению, что «та же причина, которая может увеличить чистый доход страны, может в то же самое время сделать население излишним и ухудшить положение рабочего»<sup>6)</sup>. Машины конкурируют с рабочими, и

<sup>1)</sup> Held, назв. соч., стр. 193 — 194.

<sup>2)</sup> Ricardo, Works, стр. 210.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 258.

<sup>4)</sup> Ricardo, Works, стр. 211.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 177.

<sup>6)</sup> Там же, стр. 249.

производство их может потребовать столь значительной доли национального продукта, что на содержание рабочего класса останется меньший фонд. Это расхождение в эволюции валового и чистого дохода выглядит довольно безотрадно и должно было бы внушать серьезную тревогу за судьбу рабочего класса, если бы не было оснований ожидать примирения этих противоречий в будущем. Введение машин понизит издержки производства и цены; а между тем, средства к сбережению из дохода для увеличения капитала должны зависеть от того, в какой степени чистый доход способен удовлетворять потребностям капиталиста; следовательно, «за уменьшением цены товаров, сопровождающим введение машин, должно непременно последовать то, что капиталист, при тех же потребностях, увеличит свои средства к сбережению, увеличит легкость превращения дохода в капитал»<sup>1)</sup>. К этим мыслям прикрепляются выводы совершенно в духе французской школы начала XIX века: «Сбережения эти, как следует, поминуть, делаются ежегодными и должны скоро создать фонд, гораздо более значительный, нежели валовой доход, утраченный первоначально от изобретения машин, и тогда спрос на труд сравняется с прежним, а положение народа станет все более и более улучшаться от возрастания сбережений, которое постоянно будет давать ему возможность делать увеличение чистого продукта»<sup>2)</sup>.

Особенного внимания заслуживают суждения Рикардо об участии рабочего класса в чистом продукте. Общераспространенное мнение считает Рикардо сторонником железного закона заработной платы, утверждающего, что рабочий класс вынужден довольствоваться абсолютно необходимыми средствами к жизни. Эта теория, казалось бы, исключает всякую возможность получения рабочим чистого дохода, который может тратиться на удовольствия, сбережения и налоги. Мы уже подчеркивали, что обособленность классовых позиций рабочих и капиталистов всецело покоится на том, что рабочий не имеет и не может иметь капитала. А так как капитал может возникнуть только из чистого дохода, то рабочий, казалось бы, должен получать лишь необходимый минимум, и ничего сверх этого. Поэтому нас не может не удивить замечание Рикардо, что «под именем заработной платы рабочий вообще получает более, чем сколько составляют абсолютные издержки производства. В подобном случае рабочий получает часть чистого продукта

страны, которая может быть сбережена или может дать ему возможность способствовать защите страны»<sup>3)</sup>. Ту же мысль Рикардо иллюстрирует в другом месте примером: «Предположим, что ценность всех товаров страны, всего хлеба, сырых произведений, мануфактурных товаров и т. д., которые могут быть доставлены на рынок в течение года, представляет 20 мил. и что для получения этой ценности требуется труд известного числа людей, абсолютно необходимые предметы потребления которых требовали расхода в 10 мил.; я сказал бы, что валовой доход такого общества—20 мил., чистый доход—10 мил. Из этого предположения не следует, что рабочие получили бы за свой труд только 10 миллионов. Они могли бы получить 12, 13 или 14 мил., и в этом случае они имели бы 2, 4 или 5 мил. чистого дохода. Остаток разделялся бы между землевладельцами и капиталистами. Но весь чистый доход не превосходил бы 10 миллионов. Если предположить, что подобное общество платит 2 мил. налогов, то чистый доход его был бы низведен до 8 мил.»<sup>4)</sup>. Таким образом, Рикардо категорически признает, что рабочие, наряду с капиталистами и землевладельцами могут принять участие в распределении чистого дохода страны. И нам нетрудно вспомнить уже знакомый прообраз этих мыслей: «избыточную» заработную плату (*salaire superflu*) Канара и Сисмонди.

Лишь в одном пункте Рикардо несколько расходится с французскими экономистами начала XIX века, и это его отступление от их доктрины оказывается в теоретическом отношении довольно незначительным. Мы видели, что у физиократов чистый доход отождествляется с поземельной рентой, тогда как все другие классы живут на необходимый минимум. У Канара и Сисмонди в состав чистого дохода может входить и заработная плата, поскольку она представляет избыток над абсолютно необходимыми издержками существования, а тем более прибыль. В главе о валовом и чистом доходе Рикардо прямо признает, что по общему правилу чистый доход складывается из ренты и прибыли. Но в представлении Рикардо, как мы подробно изложим ниже, землевладельцы искусно пользуются в своих эгоистических интересах действием закона падающей производительности почвы, наживаясь на общественном обеднении. Поэтому Рикардо очень недружелюбно относится к зем-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 250.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 255.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 221;

<sup>4)</sup> Там же, стр. 272;



левлладельцам и их доходам и называет ошибкой мнение, что рента есть чистый выигрыш и вновь созданное богатство <sup>1)</sup>. Ту же мысль Рикардо еще резче и определеннее высказывает в такой форме: «... рента есть новая ценность, но не новое богатство, она ничего не присоединяет к ресурсам страны; она не дает ей возможности содержать флоты и армии; страна обладала бы гораздо более значительным фондом, если бы почва ее была лучшего качества и если бы она могла употреблять в дело одинаковый капитал, не порождая ренты» <sup>2)</sup>. Казалось бы, это означает, что богатство страны стоит в непосредственной зависимости от плодородия ее почвы.

Если Рикардо готов исключить ренту из чистого продукта, то это значит лишь, что землевладельцы могли бы и не участвовать в его распределении. Однако, в своем желании доказать «непроизводительный» характер землевладельческого дохода Рикардо увлекается до того, что подчас клеймит печатью полного бесплодия и самую землю. Так, по адресу Сэ он замечает: «В число своих производственных услуг он включает услуги, оказываемые землей, капиталом и трудом; что касается меня, то я считаю за таковые только приносимые трудом и капиталом и совершенно сбрасываю со счетов земель» <sup>3)</sup>. Таким образом, Рикардо готов признать капитал одним из факторов создания богатства и отказывает в этом земле. В другом месте, обсуждая возможные последствия понижения цен на хлеб, он ожидает от него той выгоды, что «подразделение наличного продукта оказывается более пригодным к увеличению фонда на содержание труда, ибо под именем прибыли более значительная доля достанется классу производительному, а под именем ренты менее значительная доля — классу непроизводительному» <sup>4)</sup>. Эти в теоретическом отношении сомнительные эпитеты: производительный и непроизводительный классы, вводятся Рикардо, так сказать, под сурдинку, так как он, в отличие от физиократов и Смита, нигде не пытается провести деление всего участвующего в народном хозяйстве стада на овец и козлиц. Нельзя не признать неудачной эту попытку попутного и случайного решения сложнейшей теоретической проблемы. И все эти недочеты обнаруживаются у Рикардо именно вследствие его неудачного отступления от принципов

воспринятой им французской теории чистого дохода: Рикардо был прав, включив ренту в чистый доход, и не должен был отступать от этого положения. По основной его концепции, чистый доход все же состоит из ренты и прибыли, но не включает заработной платы.

Теория налогов Рикардо представляет последовательное приращение именно этой концепции чистого дохода. Заработная плата должна быть исключена из числа объектов обложения. Налог на нее необходимо перелажается на принимающего, так как заработная плата не может упасть ниже минимума средств существования. Уплата налогов производится, в конечном счете, либо землевладельцем, либо капиталистом. Считая, что экономический прогресс ведет к увеличению доли землевладельцев и к уменьшению доли капиталистов в общественном продукте, Рикардо, естественно, стремится «представить ренту как подходящий источник обложения» <sup>1)</sup>.

Нам остается устранить еще одну неясность в учении Рикардо о доходе. Мы видели, что он не разделяет симпатий Мальтуса к «непроизводительному потреблению». С другой стороны, он сознает, что усиленное накопление ведет к быстрому размножению населения, понижению производительности труда, сокращению прироста чистого дохода и приближению нации к тому пределу, за которым она обречена на экономический застой. Какой же способ использования чистого дохода предпочитает Рикардо? Суровый ли он жрец воздержания и накопления, каким изображает его Гельд, или он предпочитает капиталистической аскезе наслаждение сегодняшнего дня? Вопрос этот, если перевести его на рыночный язык, обличь в костюме цен, примет такое выражение: предпочитает ли Рикардо низкие цены или высокую прибыль? У Рикардо мы не находим на этот счет прямого ответа. Популяризатор Рикардо, в большинстве вопросов верно отражающий его настроение, Мак-Келлок категорически возражает: «средний уровень прибыли — лучший барометр, лучший критерий национального благополучия» <sup>2)</sup>. Противоположную точку зрения представляет Сисмонди. По его словам, национальный интерес «тот же, что и интерес потребителя»; нет ни одного индивида, который не был бы потребителем <sup>3)</sup>. У многих даже едва ли возникает сомнение в том, что Рикардо — не с

<sup>1)</sup> Там же, стр. 256;

<sup>2)</sup> Там же, стр. 257;

<sup>3)</sup> Там же, стр. 178;

<sup>4)</sup> Там же, стр. 170;

<sup>1)</sup> Stephinger, назв. соч., стр. 5.

<sup>2)</sup> M'Culloch. The principles of political economy, 2-ое изд., London, 1830, стр. 111.

<sup>3)</sup> Simonde de Sismondi, н. с., стр. 331.

Сисмонди, а с Мак-Келлоком. Но нельзя, однако, не обратить внимания на следующую тираду Рикардо против Мальтуса в одном из его писем к Мак-Келлоку: «Он всегда приносит в жертву интерес потребителя интересу купца; для него повышенная прибыль является важнейшим моментом, хотя она может служить частным интересам и протекать в действительности от частичной монополии. Чтобы быть последовательным, он должен был бы сочувствовать всем видам монополии, так как нет сомнений, что они обогатили бы купцов и спекулянтов за счет потребителей и высоко подняли бы ценность благ»<sup>1)</sup>. Эта филиппика против Мальтуса показывает, как далек был Рикардо от узко-предпринимательской точки зрения. Скорее для него решающей инстанцией является интерес потребителя.

Мы сказали уже, что Рикардо считает центральной проблемой политической экономии вопрос о распределении национального продукта между общественными классами. В теоретической системе Рикардо распределение регулируется космическими фактами: стихийным размножением населения и убывающим плодородием почвы. Таким образом, создается иллюзия независимости теории распределения от теории ценности. В одном из писем к Мак-Келлоку Рикардо сам доказывает возможность такой «автономии» теории распределения: «... великие вопросы ренты, заработной платы и прибыли могут быть объяснены пропорциями, в которых весь продукт распределяется между землевладельцами, капиталистами и рабочими, которые не связаны существом своим с доктриной ценности. Если освободиться от ренты, что достижимо в отношении хлеба, производимого последней из применяемых долей капитала, и в отношении всех благ, производимых трудом в мануфактурах, вопрос о распределении между капиталистом и рабочим может быть разрешен гораздо проще. Чем больше та часть продукта труда, которую получает рабочий, тем ниже должен быть уровень прибыли, и наоборот. Но размер этой части зависит, главным образом, от легкости производства предметов необходимости для рабочего»<sup>2)</sup>.

В этих немногих словах вкратце изложена вся теория распределения Рикардо. Нам придется, однако, остановиться на ней несколько подробнее.

Краугольным камнем всей теории распределения Рикардо является его учение о поземельной ренте. Высота ренты всецело определяется естественно-географическими условиями, а получение ее основывается на праве собственности. Земельные участки представляют бесконечную лестницу убывающего плодородия. В представлении Рикардо, при заселении какой-нибудь страны раньше всего захватываются наиболее плодородные участки, а затем, по мере размножения населения, приходится переходить к обработке все менее и менее плодородных земель. Последовательное приложение равных долей труда и капитала на одном и том же участке земли также сопровождается понижением производительности каждой новой затраты. Если мы представим себе схематически, что всю землю такой впервые поступающей в обработку территории можно разделить на три части, по качеству входящих в каждую из них участков земли, так что, при одной и той же затрате труда и капитала, участки первой категории дают сто квотерсов хлеба, участки второй категории — 90 квотерсов и участки третьей категории — 80 квотерсов, то нетрудно показать, каким путем на них постепенно начнет возникать рента. Пока подвергаются обработке только участки наилучшего качества, никакой ренты не существует. Когда приходится перейти к участкам второй категории, то, очевидно, первые участки должны начать давать какой-то избыточный доход, так как и участки второго качества должны, по крайней мере, возместить свои издержки производства; иначе их не пустили бы в обработку. Между тем, при одних и тех же затратах участки первой категории дают 100 квотерсов, а участки второго качества — 90 квотерсов. Следовательно, на участках первого качества появится избыток, равный 10 квотерсам.

Этот избыток не может быть присвоен капиталистом, обрабатывающим землю, так как в каждой стране существует единый уровень прибыли, и поэтому элементарные правила капиталистического общежития не допускают, чтобы одна группа предпринимателей получала больший доход, чем другая. Этот избыток и достается землевладельцам в качестве поземельной ренты. Ясно, далее, что при вовлечении в обработку участков 3-й категории, на участках второго качества появится рента в размере 10-ти квотерсов, а на участках первого качества рента повысится с 10 до 20 квотерсов. Таким образом, самое появление поземельной ренты зависит от необходимости переходить от участков лучшего качества к менее плодородным землям. Если бы вся земля

<sup>1)</sup> Letters to M<sup>c</sup>Culloch, стр. 77 — 78.

<sup>2)</sup> Letters to M<sup>c</sup>Culloch, стр. 72.



была одинаково плодородна, то рента и не могла бы возникнуть. Равным образом, можно сказать, что никакой ренты не было бы и в том случае, если бы каждая новая добавочная затрата труда и капитала не приносила постоянно понижающегося дохода. Посредством интенсивной нагрузки трудом и капиталом самых плодородных земель при неизменяющихся издержках производства, можно было бы достигнуть бесконечного увеличения количества производимого хлеба и, след., ни о какой ренте не могло бы идти речи, так как рента возникает только вследствие различия издержек производства на различных участках земли или при применении разных порций труда и капитала. С другой стороны, постоянное повышение издержек производства хлеба и возрастающая его дороговизна приводят к тому, что человечеству приходится затрачивать свой труд во все менее и менее благоприятных условиях, т. е. фактически становиться все беднее и беднее. Необходимый минимум средств существования поглощает все возрастающую долю валового дохода. Поэтому постоянное увеличение земельной ренты, связанное с переходом к худшим участкам, имеет обратной своей стороной ухудшение положения класса капиталистов; так как заработная плата, стоящая на уроне необходимых издержек, не может упасть еще ниже, то рост ренты возможен только за счет прибыли. Отсюда неизбежность падения нормы прибыли по мере перехода к худшим землям. Другими словами, экономический прогресс ведет к тому, что все большая доля общественного дохода достается землевладельцам. Неудивительно при таких условиях, что в построении Рикардо положение землевладельцев в народном хозяйстве весьма напоминает роль нездоровых наростов на живом организме. Отсюда мнение Рикардо, что появление ренты связано не с абсолютным, а относительным плодородием почвы, ибо абсолютное плодородие именно и заключалось бы в том, что лучшей земли было бы такое же неограниченное количество, как воздуха или воды. Возникновение поземельной ренты является, таким образом, признаком все той же ограниченности возможностей, открывающихся перед хозяйствующим человечеством, о которой речь шла при общей характеристике классической школы.

Мы видели, что цена хлеба должна быть такова, чтобы можно было за счет нее покрыть целиком издержки производства хлеба на худших землях; иначе невозможно было бы добиться привлечения их к обработке. Вместе с тем, Рикардо представляет себе, что в частной собственности находится лишь та часть земли, которая

может давать избыток по сравнению с худшими из подвергающихся эксплуатации земель, и существует свободный, никому не принадлежащий земельный фонд, который пока еще невыгодно пускать в обработку. При таких условиях, разумеется, должны быть земли, не приносящие ренты. В самом деле, если бы цена хлеба была так высока, что и худшие земли могли бы давать избыточный доход в форме ренты, то ничто не мешало бы каждому захватить какой-нибудь из свободных участков земли, чтобы присвоить ренту. Вместе с тем, так как цена определяется издержками производства на худших участках, не платящих ренты, то рента не входит в цену и не влияет на высоту ее. Или еще другими словами: рента является следствием, а не причиной высоких цен. Представим себе, напр., что происходит национализация земли и рента присваивается уже не землевладельцами, а государством; это не окажет никакого влияния на высоту хлебных цен, так как последняя все равно определяется издержками производства на участках, не дающих никакой земельной ренты; изменится лишь распределение общественного дохода между отдельными классами.

Таким образом, по Рикардо рента возникает вследствие различия в степени плодородия отдельных земельных участков, т. е. стоит в зависимости от моментов природного и географического порядка. Но присвоение ее землевладельцами представляет собою результат определенных социальных отношений. В самом деле, Рикардо склонен рассматривать ренту, «как результат частичной монополии»<sup>1)</sup>. Но если признать обладание землей частичной монополией, то тем самым вносится весьма существенное ограничение во всю теоретическую схему Рикардо, одной из предпосылок которой является допущение неограниченной конкуренции. Как известно, Рикардо отводил ничтожное место благам, произведенным вне условий свободной конкуренции, считая, что они «составляют весьма небольшую часть всей массы благ, ежедневно обмениваемых на рынке». Своей теорией ценности и цен Рикардо предполагал охватить «лишь те блага, количество которых может быть увеличено человеческим трудом и при производстве которых проявляется неограниченное действие конкуренции». Вся масса этих товаров «доставляется трудом и может быть увеличена не только в одной, но и во многих странах, почти без всяких границ, если мы расположены затрачивать необходимый для их получения труд»<sup>2)</sup>. Ри-

<sup>1)</sup> Ricardo, Works, стр. 171.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 10.

Рикардо не замечает, что, желая ограничиться в своих «Основах политической экономии» рассмотрением безгранично воспроизводимых благ, он должен был бы признать, что установленные им «естественные законы» не распространяются на ценность «продукта почвы», который он, как мы видели, отождествлял с национальным продуктом вообще. Какие же блага оставались бы тогда подчиненными установленному Рикардо закону ценности? Он сам признает для товаров, «представляющих предмет монополии» отдельных лиц или компаний», закон ценности, сформулированный Лодерделем: «Они падают пропорционально увеличению количества продавцов и растут пропорционально интенсивности стремления покупателей получить их; их цена не связана необходимо с их естественной ценностью». Но если земля тоже «представляет предмет монополии», то и ее продукты лишаются «необходимой связи с их естественной ценностью». Утверждение Рикардо, что «рента не входит в цены» и, след., цена товара как будто не содержит в себе элемента монополии, не разрешает противоречия. Цена сельскохозяйственных продуктов, с точки зрения самого Рикардо, определяется издержками производства только для предельной, наименее производительной затраты труда и капитала, а участки земли, приносящие ренту, обменивают свои продукты все же выше издержек производства<sup>1)</sup>. Как бы, в противном случае, мог Рикардо согласовать утверждение, что «рента не входит в цену» с другим своим указанием, что «рента всегда падает на потребителя»?<sup>2)</sup> Потребитель может уплатить ее только в цене продукта.

Переходим от ренты к другим видам общественного дохода. Раз рента «не входит в цену», то, очевидно, цена должна распределяться лишь между двумя классами: капиталистами и рабочими. Доли этих классов могут увеличиваться или уменьшаться только за счет друг друга. Доля рабочих, о чем подробнее будет сказано ниже, определяется их необходимым потреблением и соответствует цене благ, необходимых для их «существования и продолжения расы без увеличения или уменьшения»<sup>3)</sup>. Капиталисты, получают остальное. Повидимому, Рикардо не думал, чтобы их доля, подобно доходу рабочих, определялась какими-нибудь самостоя-

тельными, неизбежными причинами. Правда, его утверждение, что «изменение в постоянном уровне прибыли, в большинстве случаев, является результатом причин, действующих на протяжении ряда лет»<sup>4)</sup>, наводит на мысль именно о каких-то независимых факторах, определяющих уровень прибыли. Вместе с тем, как мы видели, Рикардо склонен был принять теорию производительных услуг Сэ, включая капитал в число производящих эти услуги факторов. Но законченной теории прибыли мы не находим нигде в сочинениях Рикардо. Бем-Баверк основательно причисляет его к авторам «бесцельных» теорий прибыли на капитал и справедливо возражает ему, что даже абсолютная предопределенность доли рабочих в общественном продукте, который им и приходится делить только с капиталистами, не исключает возможности определения прибыли самостоятельными причинами. Ведь самый размер продукта производства определяется количеством затрачиваемого труда и капитала, а количество последнего может быть по произволу увеличено или уменьшено в зависимости от высоты ожидаемого дохода. «Как, с одной стороны, требования рабочих могут не допустить и фактически не допускают, чтобы обработку земли распространяли до пределов, в которых труд не покрывает даже издержек своего существования, так, с другой стороны, и требования капитала могут не допускать чрезмерного расширения обработки, и они действительно не допускают этого»<sup>5)</sup>. Но, во всяком случае, факт отсутствия у Рикардо законченной и самостоятельной теории прибыли сомнению не подлежит.

С другой стороны, в отличие от французских экономистов субъективной школы, Рикардо не дает и четкой обрисовки фигуры предпринимателя, хотя в его время обособление предпринимательского класса было столь явным, что Рикардо при своей близости к кругам финансовой аристократии не мог его игнорировать. Мы не можем согласиться с утверждением Бем-Баверка, что «Рикардо, как большинство англичан, вообще не отличает процента на капитал от предпринимательской прибыли и обнимает оба эти явления словом—profit»<sup>6)</sup>. Бем-Баверк недостаточно внимателен к Рикардо. Ведь у Рикардо есть даже специальная глава: «О действии накопления на прибыль и процент», и в ней он, между прочим, утверждает, что «уровень процента хотя в конечном счете и

<sup>1)</sup> Там же, стр. 234.

<sup>2)</sup> Pringsheim. Die Ricardo'sche Werttheorie im Zusammenhang mit den Lehren über Kapital- und Grundrente. Breslau, 1883, стр. 63.

<sup>3)</sup> Ricardo, Works, стр. 63.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 50.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 24.

<sup>6)</sup> Бем-Баверк, назв. соч., стр. 115—116.

<sup>7)</sup> Там же, стр. 110.



постоянно регулируется величиной прибыли, но испытывает временные изменения и от других причин»<sup>1)</sup>. В полемике с Сэ Рикардо устанавливает между обоими названными видами дохода логическое соподчинение. «Сэ признает, что уровень процента зависит от размера прибыли, но отсюда не следует, что уровень прибыли зависит от уровня процента. Один—причина, другой—следствие, и нельзя ни при каких условиях заставить их поменяться местами»<sup>2)</sup>. Рикардо отлично изображает механизм кредитования промышленности, отмечая существование особого «денежного класса», стоящего вне промышленности и сужающего предпринимателей средствами. По словам Рикардо, лишь ничтожно количество фабрикантов ограничивает свои операции размерами собственного капитала. Все они черпают из свободного денежного фонда страны дополнительные ресурсы, то увеличивая, то уменьшая эти позаймствования, смотря по живости спроса на их произведения»<sup>3)</sup>.

Остается еще очертить теорию заработной платы Рикардо. Доля рабочих в общественном продукте отнюдь не представлялась Рикардо такой зафиксированной, застывшей на прожиточном минимуме, как это многие утверждают. Теория прожиточного минимума логически вытекала у него из представления о рабочей силе, как о товаре. Этот минимум представляет «издержки производства» рабочей силы. Однако, Рикардо оказывается вынужденным признать отличие труда от других товаров. Он прямо заявляет, что «труд представляет собой благо, количество которого не может быть увеличено или уменьшено по желанию»<sup>4)</sup>. Ту же мысль Рикардо высказывает еще отчетливее в другом месте: «Вы не можете увеличить количество их (людей) в один или два года при возрастании капитала и вы не можете уменьшить их числа, когда капитал убывает. Поэтому, если число рабочих рук увеличивается или уменьшается медленно при быстром увеличении или уменьшении фонда для поддержания труда, то должно пройти много времени прежде, чем цена труда будет в точности регулироваться ценой хлеба и предметов необходимости»<sup>5)</sup>. Неудивительно поэтому, что, по мнению Рикардо, рыночный уровень заработной платы «может быть в прогрессирующем обществе в течение неопределенно длительного

промежутка времени постоянно выше»<sup>6)</sup> естественного уровня и что «увеличение населения и количества пищи обычно бывает следствием, но не необходимым следствием высокой заработной платы»<sup>7)</sup>. Достаточно известны также указания Рикардо на то, что «естественная цена труда, даже выраженная в хлебе и предметах необходимости, не является абсолютно фиксированной и неподвижной. Она изменяется в различные эпохи в одной и той же стране и очень существенно различается в различных странах. Она зависит, главным образом, от привычек и обычаев народа»<sup>8)</sup>. Наконец, весьма показательно заявление Рикардо, что при благоприятных условиях население страны может удвоиться в 25 лет. Естественная цена труда обеспечивает лишь продолжение рода без увеличения или уменьшения. Если рыночная цена труда такова, что позволяет населению за четверть века удвоиться, то, значит, она много выше естественной цены, и нет поэтому ничего невозможного в том, что «прибыль может увеличиваться за счет этого излишка заработной платы»<sup>9)</sup>. Наконец, как мы видели, Рикардо признавал открыто возможность участия рабочего класса в чистом продукте страны, что самым резким и наглядным образом противоречит его же утверждению, что заработная плата повелительно диктуется прожиточным минимумом.

Таковы основные контуры рикардианской теории распределения. При изучении ее несколько поражает то обстоятельство, что автор, который признается лучшим выразителем интересов капиталистического класса, дал вполне отчетливую и законченную теорию поземельной ренты и заработной платы, но оставил в тени вопрос о природе прибыли. Этот дефект рикардианской схемы распределения стоит в тесной связи с отсутствием у Рикардо ясного представления о происхождении чистого дохода. Подобно физиократам, он считал, что один из общественных классов вынужден довольствоваться удовлетворением своих необходимых нужд. Однако, плодородная почва при первом заселении страны дает значительно больше этого

<sup>1)</sup> Там же, стр. 51.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 248.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 52.

<sup>4)</sup> Нельзя, впрочем, отрицать, что у Рикардо можно найти и иные мысли, позволяющие, вместе с Железновым, утверждать, что, по мнению Рикардо, реальная заработная плата должна «всегда оставаться неизменной, несмотря на временные уклонения вверх и вниз, которые также он считал едва ли очень значительными», и что «заработная плата определяется весьма низкими уровнями жизни». В. Железнов. Главные направления в разработке теории заработной платы. Киев, 1904, стр. 33 и след.

<sup>1)</sup> Ricardo, Works, стр. 169.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 180, прим.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 47—48.

<sup>4)</sup> Цит. у D. Kalinoff. D. Ricardo und die Grenzwertheorie, Tübingen, 1907, стр. 27.

<sup>5)</sup> Ricardo, Works, стр. 97.

минимума. Первый поселенец-земледелец, в представлении Рикардо, является самостоятельным хозяином и присваивает себе избыточный продукт как бы в форме прибыли. Затем, по мере вовлечения в обработку все худших и худших земель, с одной стороны, прирост чистого избытка становится все меньше, а с другой стороны, все возрастающую его часть забирает себе земледелец. Происходит, таким образом, перераспределение чистого продукта, но самый чистый продукт, разумеется, сохраняется. Эта схема Рикардо построена так, что она легко может навести на подозрение, будто чистый продукт приростает из земли. В самом деле, чем менее плодороден земельный участок, тем скромнее полученный на нем чистый продукт. Худшие участки вовсе не дают ренты. Получаемая на них прибыль по мере перехода ко все худшим землям постоянно падает и в перспективе грозит когда-нибудь опуститься до нуля. Тогда прекратится накопление и рост населения. Наступит стационарное состояние общества. Прирост чистого продукта приостановится. Худшие земли будут оплачивать только необходимые издержки рабочего. Создается положительно впечатление, что благополучие народного хозяйства всецело построено на плодородии почвы. Такое предположение настолько соблазнительно, что один немецкий автор несколько лет тому назад выступил с утверждением, будто по Рикардо прибыль возникает, благодаря земельному плодородию. Обычно, заявляет этот автор, Рикардо выставляют каким-то антиподом физиократов. В действительности же он сам допускает, что прибыль «возникает, благодаря способности земли давать избыток». Этот избыток—то же «дар природы». Вместо опровержения физиократической теории, Рикардо «идет по ее стопам»<sup>1)</sup>. Это парадоксальное мнение никак не может быть признано правильным при всей его правдоподобности. Как согласовать его с приведенным выше утверждением Рикардо, что земля должна быть брошена со счетов производительных услуг? Скорее следует признать, что чистый продукт у Рикардо возникает при соединенном действии труда и капитала. Но и этой мысли Рикардо нигде не выразил с не оставляющей сомнения определенностью. Вообще ни одна из великих экономических систем до-марксовской политической экономии не дала на вопрос о происхождении чистого продукта точного и непротиворечивого ответа.

<sup>1)</sup> Goetz Briefs, назв. соч., стр. 187, 194;

Мы до сих пор оставляли в стороне теорию ценности Рикардо с целью проверить правильность его утверждения, что схема распределения может быть изложена независимо от теории ценности. Сделанный нами очерк как будто подтверждает мнение Рикардо. Таково, однако, лишь поверхностное впечатление.

В действительности же, между теорией ценности и распределения у Рикардо существует неразрывная связь; все построения Рикардо так переплетаются между собою, что ни теория ценности, ни теория распределения не могут быть поняты и по достоинству оценены одна без другой. Рикардо сам уделял большое внимание вопросу о зависимости между ценами и доходами. Влияет ли существование ренты на относительную ценность товаров? Сопровождается ли рост заработной платы подъемом товарных цен? Вот два кардинальных вопроса рикарддианской теории распределения, и оба они предполагают анализ взаимоотношений цен и доходов. К анализу этой связи мы теперь и обратимся.

В экономической науке уже ко времени Рикардо образовался по вопросу о ценности пестрый калейдоскоп мнений, в котором не было, однако, вполне определившихся течений, а были лишь несложные попытки формулировать некоторые обобщения относительно цен. Из предшествующего изложения мы уже знакомы с большинством этих построений. Так, французские экономисты конца XVIII и начала XIX в.в. выдвигали субъективно-психологическую теорию ценности. Адам Смит склонялся к трудовой теории, но толковал ее также в субъективном смысле, определяя размер ценности по величине трудовой жертвы. Джемс Стюарт дал довольно смутную теорию издержек производства. Такова была иллейная разногласия в теории ценности ко времени появления в свет труда Рикардо. Встав решительно на сторону объективных теорий, кладущих в основу ценности человеческий труд, Рикардо устранил колебания и силой своего авторитета дал твердое направление «колеснице экономической науки»<sup>1)</sup>.

Рикардо ставит себе в теории ценности сравнительно узкую задачу: считая относительные ценности всех товаров данными, установить причины их последующих изменений. Это положение подтверждается заявлением самого Рикардо, что его учение ни-

<sup>1)</sup> Срв. известные слова Джемонса: «Способный, но обладавший нескладной головой человек, Рикардо направил колесницу экономической науки по ложному пути, по которому ее еще дальше провзвинул в направлении заблуждения его столь же способный и нескладноголовый почитатель Д. Ст. Милль».



сколько не опровергалось бы фактом продажи товаров по ценам, не соответствующим ценности затраченного на них труда. Он утверждает лишь, что изменения относительной ценности товаров происходят вследствие изменения в соотношении трудовых затрат. Ограничив, таким образом, содержание своего тезиса, Рикардо находит возможным расширить его объем, признав действительность своей теории не только для первобытного хозяйства, но и для условий капиталистического производства. На пути к такому распространению Рикардо встречает ряд трудностей, с которыми, однако, он справляется довольно решительно.

Ценность товаров, по мнению Рикардо, определяется, по общему правилу, относительным количеством труда, затраченным на производство того или иного блага. Однако, таков закон ценности лишь одной группы, а именно т. н. свободно воспроизводимых благ. Им Рикардо резко противопоставляет редкие блага, ценность которых определяется «исключительно их редкостью». Но количество таких благ крайне незначительно. Рикардо приводит в качестве примера редкие статуи, картины, книги, монеты, вина особого вкуса, выделяемые из винограда, растущего на редко встречающейся почве. Очертив, таким образом, категорию редких благ, Рикардо в последующем изложении как бы забывает о ней, ограничиваясь рассмотрением ценности свободно воспроизводимых благ. Товары этого вида могут быть умножаемы «до бесконечности» при одних и тех же трудовых затратах и при неограниченном действии конкуренции.

Далее Рикардо останавливается на проблеме квалифицированного труда.

Отметив, что применяемый в производстве труд бывает очень различен по качеству, Рикардо отказывается придавать значение этому факту для теории ценности, так как, по его мнению, экономический прогресс не вносит больших изменений в эти различия. «Скала, однажды установившаяся, подвергается незначительным изменениям... Так как исследование, к которому я хочу привлечь внимание читателя, относится к действию изменений в относительной ценности благ, а не в абсолютной их ценности, то рассмотрение сравнительной степени оценки различных видов человеческого труда не играет большой роли. Мы можем смело заключить, что каковы бы ни были неравенства, могшие существовать первоначально между ними, и как бы ни отличались способность, ловкость или время, необходимые для приобретения специальной сноровки,

эти неравенства сохраняются почти прежними из поколения в поколение, и, во всяком случае, их изменения из года в год весьма незначительны»<sup>1)</sup>.

Вопрос об участии капитала в производстве также весьма упрощается, если признать капитал «накопленным трудом», часть ценности которого при изнашивании переносится на продукт. Изменение относительной ценности товаров вызывается изменением в сравнительном количестве затрачиваемого труда, независимо от того, будет ли то труд непосредственно затрачиваемый или «накопленный». Напр., пусть в каком-нибудь предприятии работает машина, на изготовление которой было затрачено 1000 рабочих часов и которая изнашивается в течение 500 рабочих дней. Тогда, в течение каждого рабочего дня на изготовляемый в этом производстве продукт переносится 2 часа «накопленного» труда. Поэтому если, напр., в употребляемом в течение этого рабочего дня сырье воплощено, скажем, 6 рабочих часов, то при определении относительной ценности этого товара должна быть сосчитана трудовая затрата величиною, в целом, в 8 часов.

Однако, в этом пункте Рикардо все же вынужден сделать отступление от своего основного принципа. Его смущают различия в «органическом строении капитала» в разных отраслях промышленности<sup>2)</sup>, т.-е. в сочетании в этих производствах основного и оборотного капитала, а также в быстроте изнашивания и оборота капитала. Эти различия, по мнению Рикардо, имеют значение потому, что изменение уровня заработной платы и сопутствующее ему изменение процента прибыли должны неодинаково отражаться на предприятиях, работающих с капиталом разного состава. Так как размер прибыли, в силу закона неограниченной конкуренции, должен быть единым для всех предприятий, то потери, вызываемые повышением заработной платы в предприятиях, употребляющих относительно большое количество живого труда, должны быть компенсированы повышением относительной ценности производимых ими товаров, сравнительно с ценностью товаров, «производимых очень ценными орудиями производства или в очень дорогих зданиях или требующих очень значительного промежутка времени для доставки их на рынок»<sup>3)</sup>. Предположим, напр., что существуют два пред-

<sup>1)</sup> Ricardo, Works, стр. 15.

<sup>2)</sup> Термин этот, как известно, принадлежит Марксу. Рикардо говорит о различном соотношении основного и оборотного капиталов.

<sup>3)</sup> Ricardo, Works, стр. 23.

приятия, из которых оба располагают капиталом в 10.000 ф. ст., но так, что в первом из них основной капитал составляет 75%, а во втором 25%. Допустим, вместе с тем, что вся остальная часть капитала (т. е. оборотный капитал) целиком складывается из заработной платы. В случае повышения уровня заработной платы, скажем, на 50%, относительная ценность продукта того предприятия, в котором оборотный капитал составляет 75%, должна повыситься на 37,5% (50% надбавки к 75% всего капитала предприятия), а относительная ценность продуктов второго предприятия, в котором оборотный капитал достигает лишь 25%, — на 12,5% (50% надбавки к 25% капитала). Если бы повышение заработной платы не произвело соответственного и притом неравномерного изменения в относительной ценности благ, производимых обоими предприятиями, то, очевидно, оба наши капиталиста получили бы неодинаковый уровень прибыли на свой капитал, — допущение применительно к капиталистическому хозяйству невозможное. Поэтому приходится допустить, что изменение заработной платы вызывает неодинаковое повышение ценности товаров, производимых разными предприятиями; т. е., другими словами, мы приходим к выводу, что, кроме изменений в относительном количестве труда, затрачиваемом на изготовление товаров, относительная ценность их стоит также под влиянием колебаний заработной платы.

Но мы видели, что, по мнению Рикардо, заработная плата находится в теснейшей связи с уровнем прибыли и что всякое повышение заработной платы может быть трактуемо, как понижение прибыли, и наоборот. Поэтому наш вывод может быть выражен и таким положением: наряду с затратой труда, относительная ценность товаров определяется колебаниями уровня прибыли. Поэтому в итоге приведенных рассуждений Рикардо приходит к заключению, что относительная ценность товаров регулируется не одним только трудом, а «трудом и прибылью». Он ослабляет, однако, силу этой уступки указанием на то, что колебания уровня прибыли производят лишь ничтожные изменения в относительной ценности товара. В приводимом им конкретном примере понижение уровня прибыли с 10 до 9 % вызывает падение ценности товара, производимого при помощи капитала с высоким органическим строением, всего на один процент. Изменения же в затрате труда обуславливают, по мысли Рикардо, гораздо более значительные сдвиги относительной ценности товаров. Кроме того, напомним уже цитированное мнение Рикардо, что «всякое глубокое изменение в постоянном

уровне прибыли зависит от причин, которые действуют только в течение целого ряда лет, между тем как изменения, происходящие в количестве труда, необходимого на производство товаров, происходит ежедневно. Этими рассуждениями честь трудового принципа оказывается спасенной.

Таким образом, труд и прибыль, как две самостоятельных причины, регулируют изменения в относительной ценности товаров. При такой формулировке трудовой теории она, в сущности говоря, теряет всякое отличие от теории издержек производства. Теория издержек ничего иного и не пытается доказать, кроме существования причинной зависимости между изменениями доходов и изменениями цен. Кроме того, если вспомнить, что, по учению Рикардо, рента «не входит в цены» и что, следовательно, цена «составляется» из заработной платы и прибыли, то остается только заметить в изложенной теории «труд» «зарботной платой» — и теория издержек производства готова<sup>1)</sup>. Рикардо осторожно балансирует между обеими теориями. С одной стороны, он разясняет Сэ, что тот ошибается, приписывая ему мнение, будто ценность труда (т. е. заработная плата), а не сравнительное количество труда, затраченное в производстве, определяет относительную ценность товара<sup>2)</sup>. С другой стороны, целый ряд заявлений Рикардо рисует его сторонником теории издержек производства. В одном из примечаний к первой главе «Оснований политической экономии» он пишет: «Мальтус, повидимому, думает, что частью моего учения является отождествление стоимости и ценности вещи; оно так и есть, если под стоимостью он разумеет «издержки производства», включая прибыль»<sup>3)</sup>. «Реальным и окончательным регулятором относительной ценности двух любых товаров, — говорит он в другом месте, — являются издержки их производства, а не относительные их количества, могущие быть произведенными, и не конкуренция между покупателями»<sup>4)</sup>. Теория ценности Рикардо принимает форму теории издержек производства и в

<sup>1)</sup> Из английских продолжателей Рикардо Д. Ст. Милль сознательно узаконяет такую поделку: «Издержки производства вещи для ее производителя или целого ряда производителей состоят в труде, иррасходованном на ее производство. Если мы будем считать производителем капиталиста, делающего затраты, то мы можем слово труд заменить словом: заработная плата; в этом случае продукт стоит капиталисту столько, сколько последний должен был уплатить в виде заработной платы».

<sup>2)</sup> Letters to Malthus, стр. 165.

<sup>3)</sup> Ricardo, Works, стр. 30.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 208, ср. также стр. 242.

Штейн.



гулируется не случайными выгодами, которыми пользуются некоторые из производителей, а реальными трудностями, с которыми должен бороться производитель, находящийся в наименее благоприятных условиях»<sup>1</sup>). Рикардо применяет идею максимальных издержек производства, как регулятора цены, только к земле, считая, что «случайные выгоды» возможны лишь в сельском хозяйстве. Девять лет спустя по выходе в свет «Основ», независимо от Рикардо, немецкий экономист Тюннен пришел к гораздо более широкому понятию предельных издержек, относящемуся в равной мере ко всем отраслям производительной деятельности. Вслед за этим, от Рикардо и Тюннена идет целая цепь экономистов, вводящих в экономический анализ понятие изменяющихся затрат и связывающих цену с максимальными издержками.

## ГЛАВА VII.

### «Вежа над подводным камнем».

(Закон народонаселения Мальтуса).

«Ошибки людей сильного ума именно тем и бывают страшны, что овладевают массами множества других людей».

Слова Чернышевского о Мальтусе в примечаниях к «Основаниям политической экономии» Д. С. Милля.

«Мы должны заботиться о направлении закона народонаселения и об управлении им, а не об ослаблении и искажении его».

Мальтус. «Опыт о законе народонаселения». Т. II.

Мы отчасти уже знакомы с обстоятельствами, вызвавшими появление мальтусовского опыта о законе народонаселения. Отец Мальтуса принадлежал к радикалам якобинского толка и был другом и почитателем Руссо. Идея равенства, перенесенная в Англию с континента, нашла себе наиболее яркое выражение в «Политической справедливости» Годвина, — книге, которую не без основания называли «детисем революции». Годвин мечтал в ней об упразднении частной собственности и о прекращении всякого насилия, чинимого государственной властью над подданными. При

таким переустройстве общества достаточно будет получаса труда, чтобы удовлетворять все потребности нации. Будущий человек Годвина — почти бесплотное существо; он живет преимущественно идеями, вместо «хлеба насущного».

Сначала английское общество было убаюкано смелыми мечтами о грядущем преображении человечества, и мысли Годвина, облеченные в стройную и изящную форму, пользовались успехом. Но после кровавого якобинского террора наступила реакция. Как говорит Бонар, англичане привыкли отождествлять идеи с лицами. В их воображении годвиновская идеология стала принимать отталкивающие образы героев 1793 года. Да и в самой Англии, в связи с голодом, стали появляться грозные симптомы общественного недовольства. «В 1795 г. ощущался серьезный недостаток в хлебе; военные цены сделались годовыми ценами. Это был год, когда для усмирения «нищих слоек» пришлось прибегнуть к изданию специального акта (coercion act); это был год, когда коляска короля была остановлена толпой, кричавшей: «хлеба, хлеба»<sup>1</sup>). Идеи Годвина в столь напряженной социальной атмосфере стали терять романтическую привлекательность в глазах имущих классов, и назрела потребность в новой идеологии, охраняющей устои существующего порядка от нападений, подобных годвиновскому. Эта потребность и была удовлетворена Мальтусом. Горячие споры с отцом, бывшим, как уже сказано, убежденным сторонником идеи равенства, вызвали у сына желание придать своим мыслям более законченное выражение, и в результате в 1798 г. появилось небольшое сочинение, сыгравшее в истории экономических идей столь выдающуюся роль. Автор не обозначил на книге своего имени, но «вуаль анонимности была не слишком плотной»<sup>2</sup>). Книга сразу приковала к себе всеобщее внимание. Еще при жизни автора вышло 6 изданий. За пять лет, отделяющих первое издание от второго, появилось более дюжины всяких «ответов» и «опровержений». В изображении оппонентов образ Мальтуса приобрел положительно демонические черты. По словам Бонара, «сам Бонапарт не был большим врагом человеческого рода». Этот человек защищал опсу, рабство, и детоубийство. Он развенчал уют семейной трапезы, ранние браки и приходскую благотворительность; он «имел бесстыдство жениться после проповеди против зла, каким является семья»; в его представлении

<sup>1</sup>) Там же, стр. 220.

<sup>1</sup>) Bona r. Malthus and his work., стр. 29.

<sup>2</sup>) Там же, стр. 43.

мир так плохо управляется, что лучшие поступки вредят больше всего; словом, он лишил жизнь всей ее романтики и поучал следовать тусклому завету избитого текста: «суета сует и всяческая суета»<sup>1)</sup>. Сам Мальтус испугался произведенного им эффекта. С каждым новым изданием он делал уступку за уступкой, стараясь увлажнить свою черствую проповедь каплями нравственного елея и вычеркивая наиболее «задорные» места, так что уже второе издание не носит отпечатка полной безотрадности, который так отпугивал от первого издания. Утилитаристы подхватили учение Мальтуса и сделали его автором одним из своих пророков. И вплоть до самого заката классической школы, догматы Мальтуса кажутся многим ее сторонникам непреложной истиной; так, напр., Джон Ст. Милль положительно проникнут каким-то паническим ужасом перед бедствием стихийного размножения человечества.

В основе теории Мальтуса лежит сопоставление «ограниченности территории», на которой обитают люди, и «безграничного стремления человека к размножению». «Половая страсть представлялась настолько одинаковой во все времена, что ее всегда можно рассматривать, говоря алгебраическим языком, как данную величину». Несмотря на то, что Мальтус был служителем церкви, он не верил в платоническую любовь. В его представлении, половой инстинкт представляется могучим зверем, которого нужно постоянно держать на цепи. Спустите его с цепи, и он причинит обществу неисчислимые бедствия. Если бы стремление к размножению не встречало препятствий, то умножение любой животной породы могло бы идти с поразительной быстротой. Д. Ст. Милль приводит такие красноречивые данные: «Есть в растительном царстве много таких пород, в которых одно растение в год производит семена тысячи растений; если только два из них достигнут зрелости, то в 14 лет они по этой пропорции размножатся слишком до 16.000. Между животными, очень обыкновенна такая степень плодородия, что число существ известной породы может учетверяться с каждым годом; если число только учетверяется в течение полувека, то в два столетия 10.000 размножатся до двух миллионов пяти сот тысяч слишком»<sup>2)</sup>. Человеческая порода не представляет исключения из общего правила. Испанский экономист

<sup>1)</sup> Там же, стр. 1.

<sup>2)</sup> Д. Ст. Милль. Основания политической экономии. СПб., 1865, т. I, стр. 199—200.

классической эпохи Флорес-Эстрада подсчитывает, что «средняя плодovitость женщины—10 детей»<sup>1)</sup>. По вычислениям некоторых авторов, в исключительных случаях возможно удвоение населения той или другой страны в 10—12 лет. Но Мальтус, руководясь опытом Соединенных Штатов, полагает, что в благоприятной обстановке такое удвоение может происходить каждую четверть века. При непрерывности такого темпа размножения, население должно возрастать в геометрической прогрессии. Однако, такое увеличение числа людей возможно только при отсутствии препятствий. Между тем, главнейшей сдержкой, мешающей процессу размножения, является недостаток пищи. Генеративная способность земли не может утнаться за ростом населения. В лучшем случае, продукт почвы возрастает в арифметической прогрессии. Между тем, достаточно двух столетий, в течение которых население возросло бы в геометрической прогрессии, а средства существования в арифметической, чтобы обнаружилось между ними полное несоответствие; первая величина возросла бы в 4096, вторая—всего в 13 раз.

Таким образом, если не сдерживать инстинкта размножения, то неизбежно наступление всеобщего недостатка в средствах пропитания, т. е. нищеты. Мальтус умеет изобразить эти последствия яркими красками, совершенно забывая о других моментах, которые могли способствовать возникновению описываемых Мальтусом социальных бедствий. «Непомерному числу нищих и нашему заботливому поощрению неблагоразумия и непредусмотрительности следует приписать большую часть покушений против собственности и бесчисленное множество других гнусных преступлений, так часто принуждающих нас прибегать к такому ужасному лекарству, как смертная казнь (!). По словам Колькоуна, в Лондоне более 20.000 человек всех классов общества, просыпаясь утром, не знают, какими средствами они просуществуют этот день и где проведут следующую ночь. Этими несчастными совершаются почти все кражи; и если даже предположить, что большая часть их не имеет семейств и что только небольшое число между ними побуждается к преступлению отсутствием средств для содержания детей, тем не менее, не подлежит сомнению, что чрезмерное число браков между беднейшими классами общества

<sup>1)</sup> Alvaro Florez-Estrada, Cours éleclique d'économie politique, Paris. 1833, т. I, стр. 308



представляет одну из главных причин, вызывающих преступления. Этим супружествам обзано своим существованием то жалкое население, которое воспитывается в рабочих домах, кишущих всевозможными пороками, или у своих родителей, среди страшной нищеты, в лохмотьях и грязи, среди полнейшего неведения своих обязанностей и какого бы то ни было нравственного чувства. Еще большее число несчастных находится без всяких средств к существованию вследствие отсутствия работы. Все места заняты, и давящий их гнет нужды побуждает их к преступлению. А раз попав в колею этой страшной и бесславной жизни, они навеки потеряны. Ибо если заработная плата и подымется, а они готовы работать, то им все же отказывают, и общество выбрасывает их из своей среды»<sup>1</sup>). Но если общество не противодействует проявлению факторов, вызывающих это зло, то оно не может винить в этих социальных бедствиях неудачные законы или дурное правительство: «Народ должен винить, главным образом, самого себя в своих страданиях»<sup>2</sup>). Если человек не слушает голоса разума, то природа сама должна позаботиться о том, чтобы косящая рука смерти восстановила нарушенное соответствие.

В первом издании «Опыта» Мальтус ограничивал препятствия чрезмерному размножению населения «пороком» и «нищетою» и считал, что если попустительством природы создается избыточное население, то природе же и надлежит позаботиться об его уничтожении. Жестокая фантазия рисует ему такую картину: «Человек, пришедший в занятый уже мир, если родители, к которым он может предъявить справедливое требование, не в состоянии прокормить его, или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет ни малейшего права требовать какого бы то ни было пропитания, и в действительности он—лишний на земле. На великом жизненном пиру нет для него места. Природа повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести в исполнение свой приговор, если он не вызовет сострадания у некоторых из ее гостей. Если эти гости потеснятся и освободят для него место, другие втируши (intruders) появляются немедленно, требуя для себя такой же льготы. Распространяющееся известие о появлении пищи для всех желающих наполняет зал многочислен-

ными претендентами. Порядок и гармония пира нарушаются. Царившее прежде обилие заменяется скудостью... Гости слишком поздно сознают свою ошибку, заключающуюся в противодействии строгим правилам против всех втируш, изданным великой хозяйкой пира, которая, желая, чтобы все ее гости имели всего в изобилии и зная, что она не может накормить бесконечное число гостей, по гуманности отказалась допускать новых пришельцев, когда все места за ее столом заняты»<sup>3</sup>). Разумеется, непрошенные на пир «втируши» должны испить до дна горькую чашу страданий, заканчивающихся их смертью. Но Мальтус не принадлежит к типу Иванов Карамазовых. Зрелище человеческих страданий не леденит его сердца и не заставляет усомниться в благости всевышнего. Наоборот, он даже видит в страдании знамение, которое оповещает человечество о том, что заветная граница размножения перейдена. Он советует принимать болезни «за указание нарушения какого-либо естественного закона природы. Чума, постоянно свирепствующая в Константинополе и других городах востока, служит непрерывным указанием такого рода. По устройству своего тела человек не может переносить известной степени неопытности и лени, но так как грязная и отвратительная нищета, подобно беспечности и лени, крайне неблагоприятна для счастья и добродетели, то нельзя, повидимому, не признать мудрым и благодетельным закон природы, по которому такое состояние сопровождается болезнью и смертью. Это—веха, стоящая над подводным камнем»<sup>4</sup>).

Однако, в последующих изданиях «Опыта» Мальтус избрал средство, применение которого должно было избавить человечество от ужасного зрелища нищеты, пороков и голодной смерти. Он называет это средство «нравственным воздержанием». Мальтус настаивает на «строгом исполнении требования целомудрия»<sup>5</sup>) до вступления в брак, а самую возможность брака ставит в зависимость от обладания материальным достатком для содержания жены и детей. Так как у большинства людей обеспеченность появляется уже в зрелом возрасте, то программа Мальтуса требует довольно продолжительного «самообуздания». Нельзя не отметить, что, таким образом, вся тяжесть несения сурового, в глазах самого Мальтуса, обета целомудрия падает на наимущие классы, так как детям богачей нечего бояться угрозы нищеты даже при много-

<sup>1</sup>) Мальтус, назв. соч. т. II, стр. 230—232.

<sup>2</sup>) Цит. у Вонаг, назв. соч., стр. 305—306.

<sup>3</sup>) Цит. у Вонаг, назв. соч., стр. 305—306.

<sup>4</sup>) Мальтус, назв. соч., стр. 202.

<sup>5</sup>) Там же, стр. 212.

численности семьи. Таким образом, Мальтус склонен еще усугубить имущественное неравенство непропорциональным распределением между общественными классами «нематериальных благ» семейного уюта и счастья. Отсюда понятно, что со стороны социалистов доктрина Мальтуса должна была встретить особенно дружный отпор.

Мальтус был непримиримым врагом общественной благотворительности, особенно в той ее форме, которая с начала XVII века процветала в Англии в виде так наз. законов о бедных. Каждый приход был обязан собирать специальные взносы на содержание детей своих впавших в нищету соотеченцев. Вследствие этого, по мнению Мальтуса, у немущих ослабляются или даже вовсе искореняются стимулы к нравственному воздержанию, так как каждый питает вполне обоснованную уверенность в том, что его потомство будет поддерживаться на общественный счет, если он сам не сумеет прокормить его. Сознание личной ответственности за судьбу детей теряет свою остроту. Уверения разума становятся бессильными, и человек превращается в раба своего инстинкта. Поэтому существование законов о бедных связано с постоянным увеличением избыточного населения и с необходимостью хронического повышения взимаемых на благотворительность взносов.

Система законов о бедных не выдерживает также критики и с чисто экономической стороны. Она приводит к такому перераспределению наличного фонда денег, при котором неизбежно значительное усиление спроса на хлеб и повышение его цены. Если хлеба мало для удовлетворения потребности в нем всех жителей страны, то усиленная борьба за хлеб неизбежно вызывает его дороговизну, делающую невозможным приобретение его для беднейших граждан. Если получатели приходских пособий предъявляют добавочный спрос на хлеб, они этим, разумеется, нисколько не увеличивают его количества в стране. Пищи все равно мало, и недостаток ее должен быть остро почувствован кем-то. При системе законов о бедных неизбежно страдает тот класс населения, который занимает следующую за пауперами ступеньку общественной лестницы, так как доходы его не возрастут, а цена пищи возвысится, вследствие предъявления получателями пособий добавочного спроса на хлеб. Руководясь этой же точкою зрения, Мальтус осуждает и всякое «насилуственное» повышение заработной платы: на последнюю «смотрят обыкновенно, как на ценность, которую мы можем возвышать и понижать по нашему усмотрению и которая существенно зависит от решения мирового судьи. Когда повышение цены

съестных припасов показывает перевес спроса над предложением, то хотят поставить работника в положение, в котором он находился до этого повышения, и с этой целью повышают заработную плату, т. е. увеличивают спрос; а после этого сильно удивляются тому, что дороговизна съестных припасов все увеличивается. Это почти тоже самое, как если бы при падении барометра, указывающем бурю, мы стали бы, для возвращения хорошей погоды, поднимать в нем ртуть каким-нибудь механическим давлением, а потом будем еще удивляться, что дурная погода продолжается»<sup>1)</sup>.

Если укрепление в человеческом сознании принципа «нравственного воздержания» имеет такое огромное значение, то, разумеется, система воспитания должна быть организована так, чтобы внушать подросткающему поколению аскетические идеи в мальтусовском духе. Особенно настаивает Мальтус на преподавании в школах политической экономии. «Политическая экономия, быть может, есть единственная наука, о которой можно сказать, что незнакомство с ней причиняет не только неудобство, но положительное и весьма серьезное зло»<sup>2)</sup>. Говоря о политической экономии, Мальтус, несомненно, отводит в ней главное место своему закону народонаселения.

Но еще большее значение, чем система воспитания, имеет для торжества идей Мальтуса организация общества. По мнению Мальтуса, институты частной собственности и брака исторически вырабатывались именно в инстинктивной борьбе человечества со стихийным бедствием чрезмерного размножения. Частная собственность ограничивает достояние каждого доходами от его имущества. Никто не может надеяться на получение поддержки из общественной сокровищницы. Только разумная и энергичная эксплуатация принадлежащих обществу богатств обеспечивает ему безбедное существование. Наряду с этим, моногамия розлагает на каждого ответственность за содержание потомства. Уничтожение этих социальных институтов грозит усилить пагубное действие полового инстинкта. Поэтому, если бы даже социалистический строй был установлен и единобрачие, представлявшееся Годвину «обманом и монополией», было заменено «отношением между полами, основанным на полной свободе»<sup>3)</sup>, то этот строй, по мнению Мальтуса, просуществовал бы не более 30 лет. При таком положении вещей брачные

<sup>1)</sup> Мальтус, назв. соч., стр. 63—64.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 275.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 23.



связи стали бы заключаться с самого раннего возраста, опасения за судьбу детей уже не сдерживали бы никого. «Из 100 женщин едва ли найдется хоть одна, которая не была бы матерью семейства, достигнув 23-х летнего возраста». Население станет возрастать в геометрической прогрессии, и недостаток в пропитании не замедлит обнаружиться. «Чувство взаимной любви, пробуждаемое и питаемое всеобщим довольством, заглушается чувством нужды. Гнусные страсти снова обнаруживаются. Живущий в каждом человеке инстинкт самосохранения душит более благородные и более сладостные склонности. Побуждения слишком сильны, чтобы могли быть сдержаны. Жатва будет сниматься прежде, чем успеет созреть. Каждый постарается захватить из нее больше, чем допускается законом. Вслед за обманом придут все порождаемые им пороги. Продовольствие перестанет притекать самим собой к матери, обремененной многочисленной семьей. Вследствие недостатка пищи, дети подвергнутся страданиям. Здоровый румянец уступит место болезненной бледности. Тщетно бросает последние искры свои умирающее человеколюбие; чувство самосохранения, личный интерес заглушают всякое другое побуждение и возвращают свое безусловное господство в мире»<sup>1)</sup>. Таким образом, не столько аргументами, сколько живописными образами Мальтус старается подорвать веру в осуществимость социалистических идеалов.

Итак, главным виновником общественных бедствий является человеческая природа. Мальтус следует признать родоначальником биологического направления в политической экономии, крайне немногочисленного и почти не имеющего сторонников и до наших дней. Как уже сказано, сущность этого направления заключается в том, что оно признает хозяйствующего субъекта не заводной куклой в руках внешней природы, а самостоятельным началом в экономической жизни, управляемым особыми биологическими законами. Мальтус не был биологом, да и у современной ему биологии немногому можно было научиться. Мальтус писал до Дарвина, и Дарвин в своей автобиографии сам сообщает, что книга Мальтуса была для него исходным пунктом некоторых построений. «Мне случилось прочитать для развлечения книгу Мальтуса о населении, и так как я был хорошо подготовлен к оценке значения повсеместной борьбы за существование продолжительными наблюдениями над образом жизни животных и растений, то она сразу натолкнула меня на мысль,

что при этих обстоятельствах благоприятные вариации должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные — гибнуть. Результатом этого должно быть образование новых видов»<sup>2)</sup>. В работе Дарвина о происхождении видов говорится о тенденции к быстрому размножению почти что в мальтусовских терминах. «Борьба за существование необходимо вытекает из быстрой прогрессии, в которой стремятся размножиться все органические существа. Всякий организм, производящий в течение своей жизни много яиц или семян, должен подвергаться истреблению в известные возрасты или в известные времена года, не то, в силу геометрической прогрессии, число его потомков быстро возрастало бы так безмерно, что никакая страна в мире не была бы в силах их пропитать. Следовательно, так как родится более особей, чем сколько их может выжить, то во всяком случае должна происходить борьба за существование либо с особями того же вида, либо с особями другого вида, либо с физическими условиями жизни»<sup>3)</sup>. Но если Дарвин кое-что и заимствовал у Мальтуса, то огромным недостатком теории Мальтуса было то, что он еще не мог ничего заимствовать у Дарвина. У него отсутствует стержень дарвиновской теории — идея биологической эволюции. Человеческая раса застыла в неизменных формах и, несмотря на изменения исторической обстановки, остается в плену у инстинкта, обладающего постоянной «данной величиной».

Нашего утверждения об отсутствии у Мальтуса идеи эволюции нельзя поколебать указаниями на то, что иногда Мальтус предвосхищает некоторые новейшие течения в биологии; в частности, мы находим у него первые проблески модной в настоящее время эвгеники, науки об искусственном улучшении человеческого рода. Основываясь на опытах с животными, Мальтус готов допустить, что «тщательным воспитанием человеческой породы можно добиться известных улучшений в ней». По его словам, «мы имеем право сомневаться, чтобы могли распространяться таким образом рассудочные способности. Но рост, красота, цвет кожи, а может быть и долговечность могут до некоторой степени передаваться путем наследства»<sup>4)</sup>. И здесь Мальтус вплотную подходит к проблеме, занимающей современных исследователей: возможно ли регулиро-

<sup>1)</sup> Life and letters of Ch. Darwin, т. I, стр. 83.

<sup>2)</sup> Цит. у П. А. Бибикова, в предисловии к русс. пер. «Опыта» Мальтуса, назв. соч., т. I, стр. 23.

<sup>3)</sup> Там же, т. II, стр. 17.

Штробль.

<sup>1)</sup> Мальтус, назв. соч., стр. 26.

вание человеческого размножения способами, аналогичными тем, какие применяются в отношении животных? «Впрочем, так как порока человеческая может быть улучшена таким путем, не иначе, как подвергнув безбрачной жизни всех людей, отличающихся меньшим совершенством, то и нельзя предположить, чтобы такое средство для получения лучшей породы людей когда-нибудь вошло в употребление. И действительно, мне не случилось слышать ни об одной попытке такого рода, кроме попытки древней фамилии Бикерстафов, которой, говорят, вполне удалось усилить белизну кожи и увеличить рост благоразумными браками, в особенности рассудительным родством с молочницей Мо, исправившим некоторые существенные недостатки их организации»<sup>1)</sup>. В этих немногих строках Мальтус удачно предвосхищает содержание современных споров об евгенике. Но все это—лишь случайные прозрения в будущее, которыми нельзя было скрасить недостатка в самом существе—отсутствия идеи развития человеческого рода.

Последующие теоретики, восприняв мальтусовский закон народонаселения, связали его с принципом падающей производительности почвы. Количество рабочих рук постоянно увеличивается, благодаря стремлению населения к быстрому размножению; но пространство земли остается при этом прежним. Следовательно, на каждую единицу земельной территории приходится все большее и большее количество труда. Однако, как мы уже знаем, хотя каждая новая доля труда и капитала, прилагаемая на данном земельном участке, и увеличивает продукт, но пропорция его возрастания не соответствует росту затрат. Каждый «рост» появляется на свет, вооруженный парой «рук». Но каждая новая пара рук может произвести лишь меньшее количество продуктов, чем ее предшественница, тогда как рот требует прежнего количества пищи<sup>2)</sup>. Таким образом, производительность труда по мере увеличения населения постоянно падает. Таково сочетание у авторов классической школы обоих законов, на которых она строит свое здание: закона народонаселения и закона убывающей производительности земли. Особенной ясности это сочетание достигает у Дж. Ст. Милля.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 17. Любопытно, что Мальтус отвергает возможность улучшения расы путем обречения на безбрачие «всех людей, отличающихся сеньшим совершенством», но, не задумываясь, настаивает на таком безбрачии для всех «неимущих». Если можно требовать «самообуздания» от рабочего класса, почему то же самое средство оказывается неприменимым к худшим в биологическом отношении элементам! Мальтус более жесток к рабочим, чем к дегенератам!

<sup>2)</sup> Салпап, назв. соч., стр. 180.

Вместе с тем, закон народонаселения влетает в школу и в ее интерпретацию железного закона заработной платы. Если размножение населения сдерживается только недостатком пищи, то всякое улучшение материального положения рабочего класса должно вызывать рост населения и, следовательно, увеличение числа рабочих рук. В представлении классиков существует как бы математическая зависимость между размерами дохода и числом детей. К размножению людей классиками применяется чисто производственная точка зрения. Повышение спроса на рабочие руки рано или поздно приводит к расширению их «производства» и увеличению предложения этого «товара» на рынке. Классики при этом подчас даже забывают, что производство товара—рабочей силы представляет собою процесс с очень значительной продолжительностью, доходящей до двух десятков лет, так как только что родившихся младенцев нельзя немедленно использовать в качестве рабочих для участия в производстве. Обратная картина рисуется ими для случаев падения заработной платы ниже уровня средств существования; необходимое сокращение рабочей армии производится испытанными мальтусовскими средствами: нищетой и голодной смертью.

Таким образом, необходимый минимум заработной платы является естественным центром тяжести, к которому неизменно стремится, под влиянием закона народонаселения, рыночная заработная плата. Невозможно сколько-нибудь длительное уклонение ни вверх, ни вниз. Если заработная плата возвышается над необходимым минимумом, рабочие начинают быстро размножаться, и переизбыток рабочих рук рано или поздно возвращает заработок рабочего к исходному пункту. Если же заработная плата падает ниже минимума, то рабочее население начинает вымирать, предложение рабочей силы падает, и заработная плата приобретает тенденцию к повышению.

Все сказанное о Мальтусе не может, кажется, внушить симпатии к его учению. Однако, нужно сказать, что Мальтус не меньше других представителей классического направления был искренно одушевлен желанием способствовать «наибольшему счастью наибольшего числа людей». Так, выбирая между двумя экономическими системами, из которых одна основана на равновесии земледелия и торговли, а другая предполагает одностороннее развитие промышленности и торговли с ввозом хлеба из-за границы, Мальтус считает необходимым обсудить, «при какой из этих систем может



быть обеспечено на продолжительное время наибольшее количество богатства и счастья наибольшей массы человеческих существ. И, прежде всего, он пытается оценить влияние обеих систем на положение рабочего класса, «на котором покоится все общество и который, благодаря своей численности, без сомнения, при всякой оценке народного счастья имеет наибольшее значение»<sup>1)</sup>. К «общей сумме народного счастья» он вообще неоднократно апеллирует, как к решающему соображению<sup>2)</sup>. Но «естественные законы» классической экономики обладали тем удивительным свойством, что, способствуя максимальному увеличению «общей суммы народного счастья», они в то же время как нельзя лучше устраивали судьбу имущих классов.

## ГЛАВА VIII.

### Запоздалые успехи английского земледелия.

(Борьба вокруг хлебных законов).

Первая половина XIX столетия в Англии была периодом триумфа промышленного капитализма, бурно развивавшего в себе производительную мощь и требовавшего принесения в жертву все новых и новых масс труда и капитала за счет сельского хозяйства. Но земледелие не хотело уступать своих позиций без боя. На протяжении XVIII века оно успело перестроиться на капиталистический лад. Рост промышленности и городов повлек за собой на первых порах быстрое расширение рынка сбыта сельскохозяйственных продуктов и повышение цен. Увеличивающаяся прибыльность сельского хозяйства начала привлекать к нему капиталы. Крупное капиталистическое хозяйство в земледелии, в форме фермерской аренды, одержало решительную победу над другими типами предприятий. Мелкий собственник—по английской терминологии «йомен»—почти исчез. «Процесс консолидации поместий происходил в большем или меньшем масштабе по всей Англии. Мы слышим о нем еще в 50-х гг. Жалобы еще усиливаются в 60-х гг. Но наибольших успехов он достигает с 70-х гг. До конца наполеоновских войн не прекращаются сетования на консолидацию мел-

ких имений»<sup>3)</sup>. Одновременно быстро прогрессирует пролетаризация широких масс сельского-хозяйственного населения, создающая основной фонд рабочей силы для промышленного капитализма.

Наполеоновские войны вносят в положение земледелия новое значительное улучшение. Наступает период небывалого двадцатилетнего процветания. Почти отрезанная от континента Англия вынуждена питаться преимущественно национальным хлебом, тогда как в течение XVIII века она постепенно стала приучаться к восполнению своего продовольственного оюджета иностранным ввозом. Цены растут небывалым темпом. Средняя из годовых цен пшеницы за десятилетие 1770—1779 гг. составляла 45 шилл. за четверть, в 1780—1789 гг.—45 ш. 9 пенсов, в 1790—1799 гг.—55 ш. 11 п., в 1800—1809 гг.—82 ш. 2 п. и за четыре года 1810—1813 гг.—106 ш. 2 п.<sup>4)</sup> Другие цены поднялись в несравненно меньшей пропорции. Капиталистическое земледелие сделалось чрезвычайно выгодным промыслом. Посевная площадь стала расти за счет пустовавших, заброшенных, почти непригодных для обработки земель. В это время, по словам Брума, стали возделываться даже поля, никогда не знавшие плуга<sup>5)</sup>. Англичане словно умышленно решили создать картину развития сельского хозяйства по схеме Рикардо, когда в обработку поступают все худшие и худшие земли, а это влечет за собой повышение издержек производства на «предельном участке», рост сельскохозяйственных цен и повышение ренты на плодородных землях. Возможно, что этот опыт расширения сельского хозяйства в период наполеоновских войн действительно послужил для Веста, Мальтуса и Рикардо канвой для обрисовки закона падающей производительности почвы.

Во всяком случае, все источники единодушно свидетельствуют о том, что английское земледелие переживало в начале XIX столетия свой «золотой век». По словам С. Н. Булгакова, «медовый месяц аграрного капитализма является бурной эпохой, настоящей Sturm und Drangperiode; если в области промышленности эта эпоха представляла оргию капитала, то в земледелии в это время происходила оргия земельной ренты»<sup>6)</sup>. Однако, на дороговизне хлеба наживались не одни землевладельцы. Финансовое положение класса

<sup>1)</sup> A. Eliaschewitsch. Die Bewegung Zugunsten der kleinen landwirtschaftlichen Güter in England. München und Leipzig, 1914, стр. 50.

<sup>2)</sup> Сал п. а. н., назв. соч., стр. 148—149.

<sup>3)</sup> Smart, назв. соч., т. I, стр. 526.

<sup>4)</sup> С. Булгаков. Капитализм и земледелие, т. I, Спб., 1900, стр. 186.

<sup>1)</sup> Трактаты Мальтуса и Рикардо о ренте. Юрьев, 1908, стр. 82.

<sup>2)</sup> Срв. Мальтус, Омыт, т. II, стр. 69.

фермеров также было блестящим. Ведь еще физиократы, как мы знаем, с завистью поглядывали на положение фермерского земледелия по ту сторону Ламанша. К концу же эпохи наполеоновской войны приезжающие с континента иностранцы положительно поражаются царящим среди фермеров благополучием. Один из них, Луи Симон, посетивший Англию в 1810—1811 гг., изображает в своих мемуарах в ярких красках материальное довольство, агрономические успехи и культурные навыки фермеров. Обработка земли всюду ведется на широкую ногу—напр. в одном поле работает 10 плугов, притом напряженных не быками, а лошадьми. «Это, вероятно, единственная страна в мире, где можно создавать богатства при помощи земледелия. Фермер, хорошо знающий свое дело, становится в Англии богачем с той же степенью достоверности, как и в других профессиях, тогда как в большинстве стран фермер осужден самой природой своего промысла быть простым рабочим всю его жизнь». Фермеры разъезжают по полям, присматривая за своими рабочими, «подобно богатым промышленникам», а не крестьянам. Симон с удивлением передает рассказы о том, что фермеры ведут бухгалтерию и производят платежи в точно определенные сроки, что они даже «имеют своих банкиров», оказывающих им кредит. Но что кажется ему особенно невероятным: с фермерами даже случаются банкротства. «Ведь во Франции банкротство фермера имело бы такой же смешной вид, как банкротство уличной торговки яблоками или трубочиста»<sup>1)</sup>. Преуспеяние фермерского класса неоднократно констатировалось и в парламентских прениях о положении сельского хозяйства, происходивших в 1813—1815 гг. Так, по словам Бэринга, «сыновья этих богатых земледельцев все превратились в изысканных джентльменов. Вместо того, чтобы следовать за плугом, они следуют за гончими на охоте, а их дочери, вместо того, чтобы доить коров, прибегают к косметике для своих рук, с целью придать им приятную внешность, требующуюся при бречнании на клавинодах»<sup>2)</sup>.

Однако, всякому благополучию бывает конец. Мир наступает даже после самых продолжительных и ожесточенных войн. На континенте скопились к этому времени большие хлебные избытки, которыми могла бы кормиться Англия, если бы ввоз хлеба был вполне свободен. Вместо этого Англия ела хлеб, выросший на своей почве, а производи-

щие хлеб европейские страны не знали, куда девать свои избытки. Цена хлеба стояла на континенте низкая, и дешевое иностранное зерно грозило затопить Англию. Правда, и во время наполеоновских войн в нее просачивалось изрядное количество ввозного хлеба. Но оно все же было ничтожным по сравнению с возможным мирным «наводнением».

Напуганный этой перспективой, аграрный класс потребовал от парламента защиты своих интересов. Парламент приступил в 1813 г. к тщательному обсуждению хлебных законов. В истории Англии был и прежде период аграрного протекционизма, с 1670 по 1765 г., когда «ряд законов в своей совокупности составлял систему регулирования хлебной торговли по принципу ограничения ввоза и поощрения вывоза»<sup>1)</sup>. С середины XVIII в. берет верх обратная тенденция. Кульминационным пунктом новой политики был закон 1791 г., согласно которому ввозимый хлеб облагался высоким налогом в 24 шилл. и 3 пенс. только в том случае, если внутри Англии цена четверта была ниже 50 шилл. При цене от 50 до 54 шилл. пошлина составляла уже ничтожную величину в 2 шилл. 6 пенсов, а при цене выше 54 шилл. она выражалась уже только 6 пенсами. В период с 1795 по 1802 г. цена обычно была значительно выше 50 шилл. и поэтому ввоз фактически мог быть почти беспошлинным. В 1804 г. низший предел цены был поднят с 50 до 64 шилл., но это изменение практического значения не имело. Мы уже видели, как бурно вздымался в этот период уровень сельскохозяйственных цен.

Однако, близился момент перелома в сельскохозяйственной конъюнктуре. Летом 1813 г. цена еще составляла 117 шилл. К декабрю она уже упала до 73. Правда, как отмечает Смарт, это снижение цен было вызвано не столько усилением ввоза, сколько обильным урожаем, так что «божья милость, повидимому, причиняла больше вреда аграрным интересам, чем мог повредить иностранный хлеб»<sup>2)</sup>. Тем не менее, вокруг вопроса о хлебных пошлинах, как о средстве спасения земледелия от грозящего разорением дешевого иностранного хлеба, начинается большая шумиха, заканчивающаяся в 1815 году торжеством аграрного протекционизма.

Защитниками высоких хлебных пошлин в парламенте был выдвинут целый арсенал аргументов, долженствовавших доказать,

<sup>1)</sup> Smart, назв. соч., стр. 311—312.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 455.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 376.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 407.



что хлебные законы нужны не только земледелию, но и всей стране. Так, некоторыми указывалось, что увеличение хлебной продукции и привлечение с этой целью больших капиталов в сельское хозяйство должно, прежде всего, привести к понижению издержек производства и удешевлению хлеба, так как крупное производство выгоднее мелкого, что блестяще доказано опытом промышленности. Можно ожидать даже, что таможенная охрана земледелия, вызвав значительное расширение продукции, повлечет за собою поэтому не повышение, а понижение хлебных цен. (Этот аргумент приводился еще до того, как закон падения производительности новых затрат труда и капитала на данной земельной территории сделался общим достоянием). Далее, отвергалось соображение А. Смита, будто всякое вмешательство правительства, оказывающее искусственное покровительство той или другой отрасли народного хозяйства, отвлекает капитал из тех каналов, где его приложение должно давать естественные выгоды, в производстве менее производительные. Это соображение неприменимо будто бы к земледелию, которое сам А. Смит считал самым благотворительным и производительным занятием. Кроме того, во времена Смита можно было вообще игнорировать иностранную конкуренцию, так как привозным хлебом покрывалась лишь 571-я часть национального потребления. Но в период обсуждения хлебных законов доля ввоза возросла уже до одной двадцать пятой. Поэтому в прежнее время ввоз не оказывал сколько-нибудь значительного влияния на хлебные цены внутри страны, теперь же он, несомненно, оказывает понижающее давление. Но наибольшее значение приписывалось необходимости спасти капиталы, помещенные в земледелие и приведшие к такому расширению сельско-хозяйственного производства.

Будущие вожди классической школы политической экономии не остались безучастными к развернувшимся в парламенте дебатам. На защиту хлебных законов выступил Мальтус. На его примере мы снова убеждаемся в том, насколько живучими оказались физиократические идеи в среде экономистов-классиков.

В первом издании «Опыта» Мальтус защищал физиократов от нападок А. Смита. Впоследствии его склонность к физиократизму несколько ослабела, но земледелие все же сохраняло в его глазах значение основной отрасли народного хозяйства<sup>1)</sup>. Мальтус всегда

относился чрезвычайно неприязненно к попыткам признания земельной ренты результатом монополии на землю. Для него рента—«дар природы», в основе которого лежит плодородие земли. В другом месте Мальтус объявляет способность земли давать прибавочный продукт «благотворительным даром провидения». Основное свойство земли заключается в том, что она может содержать своими плодами значительно большее число людей, чем понадобилось для ее обработки. «Это качество ее—доставлять избыток, за покрытием производства—и служит отличительным признаком земледельческого труда. Этот избыток увеличивался в размерах труда и знания, прилагаемых к земледелию, и доставил большому числу людей досуг и возможность посвятить себя тем разнообразным изобретениям, которые скрашивают жизнь цивилизованного общества... Так что ни в какой отрасли промышленности нельзя сделать шагу, прежде чем земледельцы не получат от почвы более, чем потребуются для их личного потребления»<sup>1)</sup>. Если бы не было этой способности земли, экономический прогресс был бы невозможен. Для доведения производительной способности земли до максимума, Мальтус считает желательным, чтобы «солдаты, матросы, слуги и все производители предметов роскоши были бы обращены к земледелию»<sup>2)</sup>.

Мальтус не может даже допустить мысли, чтобы международное разделение труда привело к обращению Англии в чисто промышленное государство, питающееся привозным хлебом. Сообщая о том, что «предлагалось самым серьезным образом продовольствовать всю Европу американским хлебом, чтобы дать ей возможность посвятить всю свою деятельность торговле и фабрикам, и разделить, таким образом, весь земной шар самым совершенным способом», Мальтус называет этот проект «сумасбродным предположением»<sup>3)</sup>. Его идеал — государство, процветание которого основано на равновесии промышленно-торговой и земледельческой систем. «Озабочиваясь прочным благосостоянием работающих классов и желая предохранить это благосостояние от тяжелых отступлений к худшему положению, я без колебаний высказываю мнение, что я желал бы, чтобы наше земледелие развивалось наравне с промышленностью, даже если для этого надо принести жертву, которая выразится в замедлении роста промышленности; но это уже другой вопрос, рекомендует ли благоразумие нарушить общее правило и

<sup>1)</sup> Мальтус. Опыт, т. II, стр. 104.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 122.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 151.

естественный порядок вещей, чтобы в течение продолжительного времени вызвать такую равномерность в развитии»<sup>1)</sup>. Мальтус дает яркое изображение успехов, достигнутых английским земледелием в период наполеоновских войн. «Обработка и улучшения сильно увеличились: система рациональных улучшений и «интенсивного хозяйства», как ее технически называют, развилась, и это произошло, главным образом, благодаря постоянному повышению цен под влиянием ограничений ввоза, вызванных войной. Из свидетельских показаний следует даже, что быстрое увеличение капитала в земледелии, соединившееся с повышением цен, настолько увеличило внутреннее производство хлеба, что мы сделали гораздо свободнее от других стран в нашем снабжении хлебом, несмотря на сильное возрастание населения. Свидетели утверждают, кроме того, что при высоких ценах земле постоянно не хватало капитала и что была возможность еще более повысить затраты, при которых увеличившееся население могло бы вполне удовлетворять свои потребности. С другой же стороны, они показывают, что происшедшее недавно падение цен и опасение за дальнейшее падение их, в виду продолжающегося ввоза хлеба не только задержало всякий прогресс обработки, но уже и вызвало значительные потери на затраченном в земледелии капитале, и что дальнейшее падение цен вызовет, без сомнения, во всей стране потерю значительной доли имущества арендаторов, крупное уменьшение обрабатываемой площади и урожая»<sup>2)</sup>. Таким образом, с окончанием войн, международные торговые сношения Англии сделались вновь возможными, и она получила возможность питаться привозным хлебом. Но допущение ввоза иностранного хлеба подорвало бы оживившееся сельское хозяйство и вызвало бы «гибель сельско-хозяйственного капитала»<sup>3)</sup>.

Аргументация Мальтуса в пользу таможенного покровительства основывается на утверждении, что «поощрение земледелия при помощи хлебных законов» вполне возможно<sup>4)</sup>. Этот вопрос сам по себе представлялся классикам далеко не бесспорным. Мы видели уже, что вера в спасительность неограниченной конкуренции в экономических отношениях привела А. Смита к убеждению, будто таможенный протекционизм не в силах создать на сколько-нибудь

долгий срок высокие цены и высокую прибыль в какой-нибудь одной отрасли народного хозяйства, так как всякое изменение цены хлеба влечет за собой соответствующую перестройку и других цен. Мальтус полагал, однако, что «особый довод Смита не верен и не может быть признан без нарушения великого закона спроса и предложения и без противоречия с общим духом и целью исследований «Богатства народов»<sup>1)</sup>. Препраждение доступа иностранного хлеба в страну должно поддержать высокие хлебные цены и воспрепятствовать отливу капитала из земледелия. «Движение капитала к земле и от земли»<sup>2)</sup> вполне может быть объектом сознательного воздействия. Таможенный протекционизм, бесспорно, приносит выгоду земледелию. Правда, при этом страдают интересы промышленности. Мальтус считает даже, что «эти отрасли, без сомнения, не только потеряют вред, но они даже пострадают в большей мере, сравнительно с тем поощрением, которое получит земледелие»<sup>3)</sup>. Но эти жертвы должны быть, по мнению Мальтуса, принесены, чтобы предотвратить патологическое расширение промышленности. Разумеется, рассуждает Мальтус, международное разделение труда весьма полезно, но оно не должно заходить так далеко, чтобы ставить одно государство в полную зависимость от другого в деле снабжения продуктами питания. Страну, которая снабжается хлебом извне, легко взять во время войны измором. Вообще питаться привозным хлебом, отдавая в обмен фабрикаты, можно с успехом лишь в том случае, если существуют страны, всегда допускающие свободный отпуск хлеба.

Чтобы доказать, что принцип свободного товарообмена систематически нарушается на практике, Мальтус ссылается на Францию, постоянно затрудняющую хлебный вывоз. Здесь у Мальтуса прорываются нотки, которые напоминают нам блестящие рассуждения о хлебной торговле аббата Галлиани. Хлеб все еще остается, и во времена Мальтуса, «предметом администрации», а не «предметом торговли». В итоге, Мальтус приходит к выводу: «Всякий мало-мальски знакомый с политической экономией должен знать, что польза от разделения труда, как между народами, так и между отдельными лицами, единственно и вполне основывается на возможности впоследствии обменять свои продукты. Никто, однако, не может отрицать, что иностранцы вполне в состоянии затруднить такой обмен и совершенно уничто-

<sup>1)</sup> Трактаты Мальтуса и Рикардо о ренте, стр. 58.

<sup>2)</sup> Трактаты, стр. 71.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 98.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 48.

<sup>1)</sup> Трактаты, стр. 40.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 41.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 42.



жить выгоды, которые проистекают от деятельности отдельных лиц и народов, сосредоточившихся на производстве особых продуктов»<sup>1</sup>).

Независимо от приведенных соображений, Мальтус вообще взирал на быстрое развитие промышленности без особенного удовольствия. Рост промышленности, всегда зависящий от сбалансированного и неустойчивого спроса и подверженный кризисам, вносит с собой в национальную жизнь дух беспокойства. Конечно, развитие торговли и промышленности приносит стране большую пользу, внушая всем классам общества «бодрость жизни», культивируя в рабочей среде «вкус к утонченным потребностям и удобствам», развивая изобретательность, способствуя росту наук и искусства, совершенству разума и волю нации. Кроме того, развитие этих отраслей народного хозяйства «увеличивает значение среднего класса, от которого, главным образом, зависит, будет ли в данной стране свобода, общественное мнение и хорошее правительство»<sup>2</sup>). Но с расцветом торговли и промышленности связано еще больше теневых сторон. Под впечатлением мрачных картин безграничной эксплуатации рабочего класса в начале XIX века, до возникновения фабричного законодательства, эксплуатации, приводившей к умственной и нравственной деградации фабричного населения, Мальтус опасался вредных влияний промышленности на «здоровье и добродетель» рабочих. Кроме того, колебания заработной платы, «естественно, легко приводят к недовольству, народным волнениям и вообще бедствиям, от них проистекающим». Поэтому Мальтус формулирует даже такой вывод: «Наличие чрезмерного количества промышленных рабочих среди населения неблагоприятно для спокойствия и счастья страны»<sup>3</sup>). Эта позиция характерна для писателя, выражавшего настроения землевладельческой среды. Капиталисты вынуждены были терпеть беспокойство, причиняемое им рабочим классом, так как последний был необходимым элементом производства, дававшего им прибыль. Они знали, за что страдают. Землевладельцы же испытывали «в чужом пиру похмелье». Немудрено, что они реагируют на рост промышленного пролетариата недовольным брюзжанием. Туган-Барановский в своей книге «Русская фабрика» отлично воспроизвел аналогичные мальтусовский мелодии, наигрывавшиеся идеологами землевладельческого класса и бюрократии эпохи Николая I. Так, идеализируя мелкую «семейную» промыш-

<sup>1</sup>) Тракаты, стр. 78.

<sup>2</sup>) там же, стр. 57.

<sup>3</sup>) там же, стр. 56.

ленность, Канкрин громит фабричное производство, «порождающее в низшем классе безнравственность, унижение, тупость, бунты, домогательство высшей платы»<sup>1</sup>). Прусский сановник Гакстгаузен в своей известной книге о России «видит главное преимущество России перед Зап. Европой в том, что в России нет пролетариата»<sup>2</sup>). Даже русские передовые люди начала XIX века были убежденными противниками чрезмерного развития промышленности, ожидая от него отупения и развращения народных масс. Вот красноречивые lamentации по этому поводу Пушкина: «Прочтите жалобы английских фабричных рабочих—волосы станут дыбом от ужаса: сколько отвратительных истязаний, сколько мучений, какое холодное варварство, с одной стороны, с другой—какая страшная бедность! Вы думаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет; дело идет о сукнах г. Смита или об иглоках г. Джексона. Кажется, нет в мире несчастнее английского рабочего. Но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, изобретающей вдруг от каторжной работы тысячу 5 или 6 народу и лишавшей их последнего средства к пропитанию. У нас нет ничего подобного... Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи! О его сметливости и смешительности и говорить нечего. Переимчивость его известна; проворство и ловкость удивительны... в России нет человека, который не имел бы собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Судьба крестьянина улучшается со дня на день»<sup>3</sup>).

Таковы были настроения врагов промышленного капитализма в начале XIX века. Последняя их ставка в Англии, как сказано, была на таможенную охрану сельского хозяйства. Таким путем надеялись они задержать неотвратимый процесс поглощения сельского хозяйства промышленностью. Сплоченное большинство сторонников классической школы, однако, решительно воспротивилось планам Мальтуса и его единомышленников и готово было заключить в угоду торжества промышленности помещенные в земледелие в период наполеоновских войн капиталы, стремясь через свободу торговли к низким хлебным ценам. Выразителем мнения этого

<sup>1</sup>) М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М. 1922, стр. 229.

<sup>2</sup>) Там же, стр. 223.

<sup>3</sup>) Там же, стр. 221.

большинства явился Рикардо. Он неуклонно отстаивал свой взгляд на ход экономического развития. Население размножается. Приходится постоянно прибегать к обработке худших земель. Трудности производства хлеба растут, и хлеб дорожает. Заработная плата номинально повышается, но реально остается неподвижной или даже несколько снижается. Прибыль падает. Растет лишь присваиваемая землевладельцами рента. Если есть возможность задержать этот болезненный процесс, который рано или поздно вызовет полный экономический застой, то было бы безумием отказаться от этого. Привоз дешевого иностранного хлеба, производимого на плодородных землях малонаселенных государств, может обеспечить народу дешевую пищу, понизить денежную заработную плату и поднять прибыль. Разве мог Рикардо противостоять таким соблазнам перспектив? Он твердо держит курс на индустриальное государство; в противоположность Мальтусу, он желает «перехода капитала и земледелия в мануфактуры»<sup>1</sup>. Существующие в других странах запрещения вывоза не страшат его. «Не может быть ни малейшего сомнения», говорит Рикардо, «что, если бы хлебородные страны стали зависеть от правильного спроса английских рынков, если бы они имели полную гарантию в том, что наше законодательство о хлебной торговле перестало бы периодически колебаться между премией, стеснением и запрещением, то они стали бы производить гораздо больше хлеба. Опасность значительного уменьшения вывоза из этих стран, в период неурожая, могла бы уменьшиться очень сильно»<sup>2</sup>).

Устами Рикардо произносился, таким образом, решительный приговор попытке земледелия отыгаться на высоких ценах. Не следует, однако, думать, что, проникшись, по изложенным соображениям, доктриной свободной торговли, представители классической школы требовали немедленного и безграничного осуществления их принципов на практике. Они слишком осторожно относились к интересам капитала, получившего прочное помещение и могущего понести тяжелый ущерб при резком изменении законодательства, чтобы выдвигать такие радикальные предложения. Даже Рикардо, выступая в 1821 г. в парламенте по вопросу о хлебных пошлинах, выражал надежду, что его не заподозрят в стремлении защищать безграничную свободу хлебной торговли. «Существуют,

<sup>1</sup>) Трактаты, стр. 120.

<sup>2</sup>) Там же, стр. 117.

сказал он при этом, «обстоятельства, сопутствующие этому вопросу, которые повелительно диктуют законодательству установление некоторых стеснений этой торговли, которая, более чем любая другая, ставши однажды беспрепятственной, скоро потребовала бы нового вмешательства»<sup>1</sup>). По замечанию Смарта, в течение всей эпохи 20-х годов в Англии идея свободной торговли, хотя и получила широкое распространение и среди правящих кругов, и среди лидеров оппозиции, «находилась все еще в академической стадии». Как и во времена Адама Смита, она еще была «утопией»<sup>2</sup>). Но, несмотря на эти необходимые оговорки, можно признать, что классической школе все же, несомненно, принадлежит заслуга настойчивой и упорной подготовки торжества новой торгово-политической идеологии.

Теоретические соображения, привлеченные Мальтусом и Рикардо к их спорам по вопросам торговой политики, дают очень яркую картину возможных форм народохозяйственной эволюции. Оба автора сходятся на том, что эта эволюция сопряжена с перемещением в народном хозяйстве больших масс капитала, устремляющихся в наиболее выгодные производства. Развитие сельского хозяйства или промышленности за счет друг друга происходит именно путем переливания капиталов из одной отрасли народного хозяйства в другую. При этом часть капитала, работавшего в отстающей отрасли, гибнет, другая часть — спешно покидает его. Однако, это движение капиталов, согласно принципам самой же классической школы, могло быть вызвано только различием в уровне прибыли в сельском хозяйстве и промышленности, так как иначе у капитала не было бы стимула к нарушению равновесия. Равенство прибылей, от которого постоянно исходит классическая школа, существует только в статике народного хозяйства. В динамике неизбежны расхождения в нормах прибыли. Но высота прибылей зависит от соотношения цен на продукты той или другой отрасли народного хозяйства. В конечном счете низкие или высокие цены являются рычагом, которым приводится в движение аппарат перераспределения капиталов. Планомерным воздействием на цены можно добиваться желательных, по тем или иным соображениям, изменений в ходе оседания капиталов в от-

<sup>1</sup>) W. Smart. Economic annals, т. II, London, 1917, стр. 5.

<sup>2</sup>) Там же, стр. 22.



дельных производствах. Физиократы, как мы видели, сделали решительную попытку восстановления бывшего значения земледелия в народном хозяйстве Франции, путем высоких хлебных цен и привлечения к сельскому хозяйству «бесплодных» финансовых капиталов. Та-же мысль одушевляла и Мальтуса. Но история не хотела считаться с этими теориями. Она наглядно показала, что «чистый продукт» создается не приращением вещества, а благоприятным соотношением цен и издержек производства, сулящих высокие прибыли. В этом смысле после промышленной революции конца XVIII века, приведшей к торжеству машины, наибольший «чистый продукт» был обеспечен именно работе промышленности, почему неизбежно было оплодотворение именно ее, а не сельского хозяйства, национальным капиталом. Можно было на время искусственными мероприятиями, направленными на сохранение высоких хлебных цен, поддержать угасающее английское земледелие. Но это достижение могло быть куплено лишь ценой отказа от известной доли «чистого продукта». Капитал правильно учуял свои интересы и решил по иному: широким потоком он хлынул в промышленность и направил Англию по рельсам индустриализма.

## ГЛАВА IX.

### Вульгаризация классического учения.

(Период упадка английской политической экономии).

«...Пробил последний час научной буржуазной экономики. Вопрос теперь ставился уже не о том, верна ли та или иная теорема, но о том, полезна ли или вредна, удобна ли или неудобна она для капитала, соответствует ли она видам полиции или нет. Вскористые изыскания уступают место фокуснической и шушлявой полемике продажных перьев, беспристрастное научное исследование — недобросовестной и злонамеренной апологетике».

Маркс. Предисловие ко второму изданию первого тома «Капитала».

Мы видели уже, что к моменту учреждения лондонского клуба политической экономии представители классической школы считали себя счастливыми обладателями «правильных принципов» экономической науки и ощущали в себе призвание выступить с широкой проповедью своих идей в английском обществе. По

словам Шумпетера, все представители нового направления «были преисполнены гордостью и радостью по поводу достигнутого. Часть общественного мнения относилась к ним, как к воинам, вернувшимся с победой, другая часть, в которой они вызвали сердечную антипатию, не находила против них положительных аргументов»<sup>1)</sup>. Вожди течения сходились сначала во всех существенных положениях, и это давало им возможность выступать с импонирующей солидарностью. «В политической экономии поистине важным», писал Сэ, «является знание о том, из чего состоят богатства, какими способами они умножаются и разрушаются, и в этих существенных пунктах, к счастью, Смит, Бьюкенан, Мальтус, Рикардо и Сэ согласны»<sup>2)</sup>. Таким образом, в представлении самих главнейшей новой школы, состоящая из ученых мужей «пятачка» захватила в свои руки власть возвещать обществу истины новой науки. Один из пророков классической школы Торренс предсказывал в 1821 г., что «не пройдет и двадцати лет, как основные принципы политической экономии будут утверждены неизбежно»<sup>3)</sup>.

Однако, этот почти религиозный пыл адептов классической школы, сравнительно, очень скоро остыл. Общепризнанных в их среде истин оказывается все меньше и меньше, а разногласия становятся все резче и непримиримее. Расхождение капиталистических и земледельческих интересов дает себя знать. В цитированном уже предисловии Маркса к первому тому «Капитала» отлично обрисовано назревание этого перелома. Первые шаги классической школы относятся к периоду неразвитой классовой борьбы. Рикардо, «последний великий представитель классической экономии», «сознательно делает исходной точкой своих исследований антагонизм классовых интересов, заработной платы и прибыли, прибыли и поземельной ренты, наивно рассматривая это противоречие, как естественный закон общественной жизни». Рикардо был высшим «пределом» буржуазной экономики. Период 1820—30 гг. явился временем вульгаризации и распространения теории Рикардо, а также борьбы ее со старой школой. В «блестящих турнирах» этого времени все же научное исследование продолжает сохранять беспристрастный характер. «Английская литература политической экономии этого времени напоминает экономический период бури и натиска во Франции после смерти Кенэ, но не больше того, как бабье лето напоминает

<sup>1)</sup> Schumpeter, наз. соч. стр. 58.

<sup>2)</sup> Ganilh, Les systèmes, стр. IX—X.

<sup>3)</sup> Leslie Stephen, т. II, стр. 227.

всему». Но уже около 1830 года назревает решительный кризис: классическая школа приобретает классовый оттенок, превращается в «буржуазную апологетику». Рядом с этим идет и ослабление творческой силы классической мысли. По свидетельству Шумпетера, «уже во введениях к научным сочинениям 30-х гг. становится стереотипной жалоба на застой в науке. И эти сетования были справедливы. Уже ближайшие последователи Рикардо неправильно понимали его в некоторых пунктах, но еще в меньшей мере они были способны продолжать его дело. Такое состояние весьма опасно для молодой дисциплины: если она начинает скучать, то восходящие таланты стремятся быть подальше от нее, не проводя резко различия между наукой и ее представителями»<sup>1</sup>). Еще резче характеризует классическую экономику этого периода Голландер: «Исследовательский дух уступил место догматизму, а анализ сменился словесными спорами. Интеллектуальная независимость была подорвана, и научная доктрина выродилась в бесплодную диалектику и даже в апологию классовых интересов. Знаменем времени явилась осмеянная Марксом попытка Синьора, предпринятая с целью борьбы против ограничения рабочего дня,—доказать, что вся прибыль капиталиста производится рабочими в «последний час» их работы»<sup>2</sup>). В последующем изложении мы попытаемся раскрыть подробнее перед читателем картину этого внутреннего разложения школы.

После смерти Рикардо апостолами нового вероучения и хранителями словесных его преданий становятся Джемс Милль и Мак-Келлох. Джемс Милль, этот сын деревенского сапожника, был, бесспорно, незаурядной личностью. Отличительными чертами его характера были суровая непреклонность воли и не знавшая усталости энергия. Он мог временами работать с 5 час. утра до 11-ти вечера. Преданный своим умственным и общественным занятиям, Милль с величайшим презрением относился к человеческим слабостям и страстям. В автобиографии его сына, Джона Ст. Милля, прорываются признания, из которых ясно видно, что сухой рационализм отца переходил в нем в черствость и полную неспособность к душевным излияниям. Именно таким и должен был быть вождь «утилитаристской банды», как называет Лесли Стефен последователей Бентама.

<sup>1</sup>) Schumpeter, назв. соч., стр. 59.

<sup>2</sup>) Hollander, назв. статьи, стр. 7.

У Джемса Милля было мало творческого размаха, но развитие философской и экономической мысли в Англии начала XIX века обязано ему многим. В частности, он обладал большим влиянием на Рикардо. Как пишет Дж. Ст. Милль, «без настоящих и деятельных одобрений со стороны отца он (т. е. Рикардо) никогда не издал бы и даже не написал бы его («Оснований политической экономии»), ибо, будучи самым скромным из всех людей, он, хотя и был глубоко убежден в справедливости своих доктрин, считал себя так мало способным изложить их в понятной форме, что боялся их издавать»<sup>1</sup>). Тот же Милль младший в своей автобиографии считает, что английское общественное мнение недооценило исторических заслуг его отца и дает такую характеристику Джемса Милля: «Подобно Бруту, которого называли последним римлянином, мой отец был последним мыслителем XVIII столетия. Он продолжал защищать мысли и чувства XVIII века в девятнадцатом, не изменяя и не улучшая их... XVIII век был великий век сильных и честных людей, и мой отец был достойным их сподвижником. Благодаря сочинениям и личному влиянию, он явился для своего поколения великим светочем знания. В течение последних лет своей жизни он был для философских радикалов Англии тем, чем был Вольтер для французских философов, т. е. вождем и руководителем»<sup>2</sup>).

Суровый рационализм и недооценка страстей человеческих, вместе с верой в способность разума к безграничному усовершенствованию, делали Милля идейным союзником Кондорсе-Гольдана. Эти мысли Милля получили наиболее отчетливое выражение в его статьях: «Правительство» и «Воспитание», напечатанных в приложении к 3-му изданию Encyclopedia Britannica. В каждой из них Милль допускает, что человеческая природа способна к бесконечным изменениям под влиянием воспитания и среды. Подобно тому, как в статье «Правительство» он предполагает, что здоровая политическая организация устранит все недостатки политической жизни, так в статье «Воспитание» он предполагает, что рациональная система воспитания устранит все дефекты человеческой природы. Он принимает теорию Гельвеция, что все люди рождаются одинаковыми, что ум ребенка представляет чистую доску, на которой могут быть сделаны по произволу любые неизгладимые отпечатки

<sup>1</sup>) Д. Ст. Милль. Автобиография, стр. 25.

<sup>2</sup>) Там же, стр. 182—183.



и что все различия в людях обязаны своим происхождением исключительно различиям в воспитании»<sup>1)</sup>. Джемс Милль был автором объемистой «Истории Индии» и «Анализа явлений человеческого ума». Первый из этих трудов, при всей его солидности, служит наглядным памятником научных приемов утилитаристов, которые были уверены в том, что можно «почерпнуть достаточные познания из Синих книг и статистики». Милль не был в Индии и утешал себя мыслью, что только благодаря этому он и мог быть беспристрастным судьей ее истории. Ассоциативная психология Милля была одним из наиболее характерных произведений эпохи. Задача психологии, как науки, заключается для Милля в разложении всех психических переживаний, хотя бы самых сложных, на простейшие элементы. Такими элементами являются внешние чувства. Идеи представляются Миллю лишь «копиями» пережитого при посредстве внешних чувств. На основе опыта сознание обогащается все новыми и новыми элементами, из которых оно постоянно творит новые сочетания. Основной закон «ассоциации идей» заключается у Милля в том, что «наши идеи возникают или существуют в той же последовательности, в которой существовали чувствования, копиями коих они являются»<sup>2)</sup>. Таким образом, «на дне души» не остается никакого неразложимого на простейшие элементы психического «сгустка», который мог бы определять человеческое поведение. Милль оказывается верным учеником французских радикальных философов-материалистов XVIII века, особенно Гельвеция.

В области экономики Милль был, по словам Маркса, «первым, кто изобразил теорию Рикардо в систематическом виде, хотя и в довольно абстрактной форме. Главное его стремление—к формально-логической последовательности»<sup>3)</sup>. У него сырым материалом для теоретических построений является не действительность, а доктрина Рикардо, которую он стремится защитить от внешних нападков и которой он хочет придать внутреннюю стройность. «С одной стороны, Милль пытается представить буржуазное производство, как абсолютную форму производства вообще, и хочет поэтому доказать, что ее действительные противоречия являются

только кажущимися. С другой стороны, он стремится представить рикардianскую теорию, как абсолютную теоретическую форму этого способа производства и равным образом доказать отсутствие в ней частью выдвинутых другими, частью постоянно мучивших его самого теоретических противоречий»<sup>1)</sup>.

Несмотря на эти недостатки, Милль, по мнению Маркса, на голову выше других последователей Рикардо. Мак-Келлок представляется ему «вульгаризатором не только Рикардо, но даже и Джемса Милля»<sup>2)</sup>. Даровитый, склонный к возлияниям шотландец, по характеристике Лесли Стефена, Мак-Келлок обладал изрядной эрудицией и питал особенную слабость к классической древности. По словам одного из его коллег по лондонскому клубу политической экономии, «Мак-Келлок—грубоватый гений, оригинальный, часто прибегающий к парадоксам, но всегда ясный, всегда практичный и шотландец по характеру его разума, равно как и по акценту. Его выходки и преувеличения удивительны, а часто резкие и саркастические выражения вызывают оживление среди наших полусонных членов, насыщенных ресторанным едой»<sup>3)</sup>. В выступлениях Мак-Келлока всегда преобладал элемент насмешливого юмора, перемешанного с цинизмом. Маркс решительно отказывается верить в чистоту его намерений. «Мак-Келлок был попросту человеком, хотевшим делать дела (Geschäfte) при помощи рикардianской экономики». Получив, благодаря своему рикардianству, кафедру, он сделал задачей своей дальнейшей деятельности сочетать учение Рикардо с английским либерализмом (вигизмом) и устранить из Рикардо все выводы, которые могли бы быть неприятны вигам. Его последние работы о деньгах, налогах и т. д. представляют собой лишь адвокатские выступления, которыми он хочет обратить на себя внимание либерального кабинета»<sup>4)</sup>. В своих сочинениях Мак-Келлок повторяет самого себя в бесконечных вариациях, что подало повод к след. замечанию современника: «Статьи господина Мак-Келлока непохожи на небесные тела в такой степени, насколько это только возможно, но в одном отношении они уподобляются этим возвышенным светилам—они имеют определенные периоды возврата»<sup>5)</sup>. Д. Ст. Милль дает сочинениям Мак-Келлока в письме к немецкому профессору

<sup>1)</sup> Предисловие Эллиота к его изданию писем Д. Ст. Милля. Letters of J. St. Mill. London, 1910, т. I, стр. XIV.

<sup>2)</sup> James Mill, Analysis of the phenomena of the human mind. Позднейшее издание 1869. London, т. I, стр. 78.

<sup>3)</sup> Marx, Theorien über den Mehrwert, т. III, 1910, стр. 94.

<sup>1)</sup> Marx, назв. соч., стр. 94—95.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 201.

<sup>3)</sup> Political Economy Club, founded in London 1821. Centenary volume 1921, стр. 268.

<sup>4)</sup> Marx, назв. соч., стр. 206.

<sup>5)</sup> Там же, стр. 224.

Рау такую далеко не лестную аттестацию: «Он преисполнен пред-  
рассудков и не отличается точностью. Я никогда не отношусь к  
первому изданию его книг хотя бы с малейшим доверием. Но так  
как план большинства из них хорош, его обычно начинают снаб-  
жать со всех сторон информацией, дающей ему возможность вни-  
сти значительные улучшения во второе издание»<sup>1)</sup>.

Таковы были ближайшие ученики Рикардо, на долю которых  
выпала нелегкая задача быть продолжателями начатого им со славы  
дела. Эволюция или, правильнее, постепенная деградация классиче-  
ского учения может быть отчетливо прослежена по происходившим  
в лондонском клубе прениям. Выше было указано, что протоколов  
заседаний в клубе не вели, и до последнего времени его идеоло-  
гическая история была скрыта от нас плотной завесой. Лишь в  
1921 году, по случаю столетия со дня основания клуба, напеча-  
тан посвященный ему юбилейный том, в котором, между прочим,  
имеется замечательный документ, позволяющий нам хотя бы од-  
ним глазом заглянуть в это святилище классической школы,  
бывшее лабораторией ее новых теорий и взглядов. Мы имеем в  
виду дневник одного из первых основателей и усерднейших по-  
сетителей клуба Маллета, нередко председательствовавшего в его  
заседаниях. Дневник охватывает период с 1830 по 1837 гг., со-  
держит изложение прений и изобилует интересными подробностями,  
относящимися к положению политической экономики в тогдашней  
Англии и к личности многих из участников. Жизнь клуба проте-  
кает очень оживленно. Летописец клуба часто отмечает присут-  
ствие в заседаниях «всех крупных орудий науки», по его обра-  
зному выражению. Этим почетным именем наделяются Милль, Мак-  
Келлок, Мальтус, Торренс, Тук, Синьор. Из числа названных лиц  
только Милль является редким посетителем. «Среди нас», пишет  
Маллет, «ему не удается быть в достаточной мере оракулом, и он  
не встречается среди равных ему по интеллекту представителей этой  
науки—Торренса, Мальтуса, Мак-Келлока, Тука—того почтения,  
чтобы не сказать лести, какую он пользуется среди молодых ути-  
литаристов и аристократических поклонников его таланта»<sup>2)</sup>.  
В среде «крупных орудий» далеко нет уже прежнего единодушия.  
«Я не думаю», сообщает наш летописец, «чтобы в случае, если бы  
у нас был обычай вотировать да или нет по рассматриваемым

вопросам, можно было бы насчитать полдюжины случаев со  
времени учреждения клуба 6 лет тому назад (цифра 6 неверна, в дей-  
ствительности 9), когда бы у нас господствовало нечто в роде еди-  
нодушия. Все идет очень хорошо среди людей, занятых чистыми  
умствованиями; но теперь эти люди добились высоких мест и имеют  
большое влияние в общественных делах; отсюда понятно, что все  
вопросы, касающиеся правительства и администрации, постоянно  
всплывают наружу, и умы людей пребывают в беспокойном со-  
стоянии»<sup>3)</sup>.

Неудивительно, что в такой взбудораженной спорами по прак-  
тическим вопросам атмосфере доктрина Рикардо теряет значительную  
часть своего первоначального обаяния и начинает вызывать целый  
ряд возражений и несогласий. По сообщению Маллета, в одном  
из заседаний клуба в 1831 г. был подвергнут обсуждению вопрос  
о прогрессе, который был сделан «наукой политической экономии»  
со времени опубликования труда Рикардо. Возникли оживленные  
прения. Торренс утверждал, что «все великие принципы соче-  
нения Рикардо были один за другим оставлены и что его теории  
ценности, ренты и прибыли признаются теперь всеми ошибочными».  
В частности, Торренс уверял, что неправильность теории прибыли  
Рикардо была обусловлена тем, что он не принял во внимание,  
что часть продукта идет на восстановление затраченного капитала.  
Тук и Мак-Келлок признали справедливость последнего замечания,  
а Тук согласился также с торренсовской оценкой теории ценности  
Рикардо. Однако, и Тук и Мак-Келлок настаивали на правиль-  
ности теории ренты Рикардо, считая неопровержимым его мнение,  
что худшие земли поступают в обработку лишь тогда, когда спрос  
на пищу и возросшая цена последней делают возможным приступ  
к обработке худших участков с достаточной прибылью. Наиболее  
горячо отстаивал Рикардо Мак-Келлок, утверждая, что Рикардо  
оказал экономической науке огромную услугу, наметив путь ме-  
тодического и строго научного разрешения вопросов. Рикардо «не  
был изобретателем, но им не был и Бэкон. Между тем, заслуги  
их обоих, по мнению Мак-Келлока, имеют один и тот же характер».  
Мнение Мак-Келлока было, повидимому, поддержано и другими.  
И все же, отмечает Маллет, труд Рикардо остается книгой за семью  
печатями для всех, кроме небольшой кучки людей, способных  
следить за абстрактным рассуждением в форме строгого математи-

<sup>1)</sup> Letters of J. St. Mill. т. I, стр. 169.

<sup>2)</sup> Political Economy Club, стр. 224—225.

<sup>3)</sup> Political Economy Club, стр. 217.



ческого анализа <sup>1)</sup>. Через несколько месяцев клуб снова возвращается к этой теме. Стиль Рикардо признается теперь «плохим и темным», так как Рикардо «употребляет одни и те же термины в различных смыслах». Его основные принципы снова провозглашаются, в общем, правильными, но против него выдвигается новое обвинение в недостаточной внимательности к тем изменениям, которые происходят в экономике под влиянием общественного прогресса <sup>2)</sup>.

Доктрина Мальтуса встречает еще меньше сочувствия. В том же заседании, когда подвергалась критике система Рикардо, последнему ставилось также в вину то, что он, принимая закон народонаселения Мальтуса, готов был сделать из него безоговорочно ряд односторонних выводов. Между тем, «капитал или средства для найма труда—фонд заработной платы—растут в более быстром темпе, чем население. Люди обычно воспроизводят больше, чем потребляют, и, сверх того, еще процент на капитал, избыток которого также присоединяется к фонду труда» <sup>3)</sup>. В 1835 г. закон Мальтуса становится предметом специального обсуждения, и при этом, как замечает Маллет, «вся артиллерия клуба, как ни странно это, была направлена против него». Опираясь на факты, Синьор и Тук доказывали, что средства существования увеличиваются быстрее, чем население. Мак-Келлок решительно нападал на Мальтуса. Он утверждал, что в человеке заключено прогрессивное начало, которого совершенно достаточно, чтобы противодействовать закону народонаселения и одерживать над ним верх. Торренс утверждал, что ни один дикий народ не мог бы выйти из варварского состояния, если бы правда была на стороне Мальтуса. По-видимому, в защиту Мальтуса не раздалось ни одного голоса <sup>4)</sup>. Но это не мешало тому, что в официальных выступлениях школы ее представители продолжали придерживаться мальтузианских идей и делать из них пессимистические выводы относительно возможности улучшения жребия рабочего класса.

Адепты классической школы становятся, в общем, гораздо более восприимчивыми к идее народохозяйственного прогресса. Они начинают прозревать, наблюдая за промышленным развитием Англии, в каком направлении можно ожидать дальнейшего увеличения бла-

госостояния их страны. Однако, сознание неизбежности превращения Англии в индустриальное государство пробивает себе дорогу медленно и неуверенно. В апреле 1832 г. обсуждаются в клубе хлебные законы, и перспективы народного хозяйства в случае их отмены. «Тук не допускает мысли, чтобы мы могли когда-нибудь вывозить больше, чем 3 миллиона кв. в год, что немногим превышает импорт 1830 г. Но я не видел оснований придерживаться подобного мнения, когда для нас открыты Россия, Польша и Сев. Америка. Мальтус, очевидно, считал это весьма опасным экспериментом, но Мак-Келлок был готов превратить всю страну в один обширный мануфактурный округ, наполненный дымом, паровыми машинами и радикально настроенными ткачами, отдав на волю судьбы всех землевладельцев и фермеров, образующих наше аграрное население. Тук также совсем не был напуган этим прекрасным идеалом страны, получающей снабжение с плодородных земель Сев. Америки и русской Польши: он сомневался лишь в возможности его осуществления» <sup>1)</sup>. Таким образом, борьба аграрного и промышленного интересов становится все более и более сознательной. Среди экономистов намечается резкое разделение на две группы, из которых одна сочувствует намечающейся трансформации английского народного хозяйства, а другая еще мечтает о противодействии этому неотвратимому процессу.

Интересно отметить также, как реагируют главы лондонского клуба на происходящее в 20-х годах заметное улучшение материального положения рабочего класса. В 1833 г. Тук выступает с докладом, в котором рисует следующую эволюцию уровня заработной платы. С 1735 по 1795 г. заработная плата квалифицированных рабочих оставалась почти стационарной. В период 1800—01 гг., когда под влиянием войн, неурожаев и высоких цен нужда широких масс достигла необычайной степени, произошло, наконец, значительное повышение заработной платы. Так, плотники, получавшие 2 шил. 6 пен. в день в течение всего периода, закончившегося в 1795 г., подняли свой заработок до 4 шилл. 6 пен. в 1805 и 5 шилл. 10 пен. в 1813 г. По мнению Тука, две причины, помимо недостатка в продуктах, вызвали повышение заработной платы: обесценение денег и повышенная потребность в рабочей силе, обусловленная войной. И, однако, несмотря на то, что после заключения мира денежные цены товаров стали зна-

<sup>1)</sup> Pol. Ec. Club, стр. 223—224.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 225.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 225.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 265—266.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 233—234.

чительно понижаться, а предложение труда возросло, заработная плата не снизилась в сколько-нибудь заметной степени. В связи с изложенными фактами возник вопрос, «как совместить их с доктриной об едином уровне заработной платы и с утверждением, что заработная плата определяется спросом и предложением. Г. Тук полагал, что причин нужно искать в моральной области, разумея под этим всякого рода объединения, активность, решительное проведение своих целей, ограничение ученичества в промыслах и т. д. на стороне рабочих, потребности которых в предметах необходимости и комфорта настолько увеличились, что они уже не могут снести уменьшения приобретенных ими выгод; к этому следует прибавить влияние большего веса общественного мнения и народных настроений, поддерживающих их против капиталистов. Г. Мальтус и я присоединились к этому мнению и также полагали, что хотя заработная плата всех лиц, имеющих работу, держится, таким образом, на высоком уровне несколько искусственно, но результатом было ограничение числа рабочих и переход на приходскую поддержку и на благотворительность широких масс, которым был прегражден доступ в промыслы и от конкуренции которых привилегированные рабочие были избавлены»<sup>1)</sup>.

Таким образом, положение рабочих улучшилось, и сами представители классической школы не могли отрицать того, что самостоятельность рабочего класса и сочувствие со стороны общественного мнения помогли ему добиться более высокого уровня жизни. Жизнь повернула доктрину минимума заработной платы в классической формулировке. «Вместе с тем, рабочие начинают проявлять дух своеволия, бывший очень не по душе экономистам классической школы. Еще в 1832 году наш летописец констатирует, что «среди рабочих господствует общее представление, что их труд не оплачивается полностью и что они не должны соглашаться работать за плату, меньшую той, которая необходима для приобретения всех предметов необходимости и комфорта, вошедших в их потребление при улучшившихся условиях жизни»<sup>2)</sup>.

Призрак рабочего вопроса приобретает особенно грозный вид в 40-х гг. Кроме дневника Маллета, сохранились также относящиеся к заседаниям клуба короткие записи на французском языке Прево, характеризующие преимущественно эту эпоху. Прево

рассказывает об одном выступлении по рабочему вопросу Мак-Келлока в 1841 г., которое сам Прево называет абсурдным в высшей степени. Мак-Келлок доказывал, что распространение просвещения среди рабочих вызывает появление у них революционных стремлений и что у рабочих нет никаких шансов на развитие<sup>3)</sup>. В 1844 г. тот же Мак-Келлок, одержимый своей неутомимой склонностью к преувеличениям, выступает под влиянием толков о законодательном сокращении рабочего дня с мрачными предсказаниями: «Опасность постепенной дегенерации казалась ему неминуемой и непредотвратимой для быстро растущего населения. Надежды на улучшение нет. Европа выступает в новое общественное состояние, фазы которого нельзя предвидеть наперед. В течение 300 или 400 лет рабочие были рабами; они становятся господами. Применение детского труда вызывает рост населения. Нужно ожидать внезапных напастей. Существует тенденция к увеличению предприятий при одновременном уменьшении их числа. В результате, останется только одна фабрика в Манчестере, одна — в Глазго, может быть одна единственная во всей Великобритании»<sup>4)</sup>. Сковывающий между строк этого выступления впечатлительного Мак-Келлока страх перед грядущими социальными катаклизмами рисует как нельзя лучше происшедшую среди английских экономистов перемену. Мы помним еще, как сочувственно относился к борьбе рабочих за улучшение своего положения А. Смит. Лишь политическая экономия 30—40 гг. начинает трактовать рабочий класс, как опасную для общественного благополучия стихию. Впрочем, и в этом вопросе среди классиков нет единодушия. В следующей главе мы увидим, что сочинения Д. Ст. Милля проникнуты симпатическими настроениями в рабочем вопросе и что Милль даже идет дальше Смита под впечатлением нарастающего социалистического движения.

Возвращаясь к происходившим в лондонском клубе прениям, отметим еще появление совершенно новых мотивов в теории денежного обращения. В общем, классическая доктрина оставалась верна взгляду на деньги, как на товар особого рода, облегчающий совершение меновых сделок. При таком взгляде естественно было считать бумажные деньги лишь заместителями соответствующих масс металла, не имеющими самостоятельной ценности.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 245—247.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 235.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 280.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 287—288.



Между тем, в 1832 году в лондонском клубе происходит настоящее сражение по вопросу о том, можно ли создавать новое богатство посредством печатания бумажных денег и развития кредитных операций. Синьор, управляющий английским банком Пальмер и некоторые другие лица до того увлеклись миржем бумажно-денежного богатства, что «описывали выпуски бумажных денег, как создание капитала, а Сидней Смит толковал о моральном влиянии банков: они стимулируют-де развитие промышленности, вызывают подъем энергии и формируют хорошие характеры и т. д.». Мак-Келлок решительно отстаивал старые позиции, но, по словам Маллета, «эти мысли о бумажно-денежном благосостоянии пользуются широким преобладанием и оживленно поддерживаются газетами»<sup>1</sup>).

Казалось бы, можно думать, что при всех этих теоретических разногласиях представители классической школы дружно поддерживали единый фронт в вопросах экономической политики и, в частности, в кардинальном вопросе о свободной торговле. Однако, и это предположение далеко от истины. У Смита мы находим, напр., сообщение о прениях о свободе торговли, происходивших в парламенте в 1826 г. Большое впечатление произвело выступление Торренса, перу которого принадлежал написанный за пять лет до этого «Опыт о внешней торговле зерном», защищавший свободу торговли в столь удачной форме, что Рикардо назвал это сочинение «не могущим быть опровергнутым». Торренс заявил, что «хотя он, вообще говоря, является другом свободной торговли, но полагает, что этот принцип должен быть ограничен другим началом, а именно—политикой сохранения страной единственно для своих выгод тех исключительных преимуществ, которыми она пользуется либо от природы, либо по праву присвоения. Почему, напр., отдавать выгоды нашего дешевого угля другим странам?» Торренс предложил введение экспортной пошлины на уголь в размере 50%. Повидимому, замечает Смит, мнение Торренса показалося многим членам парламента проливающим «новый свет» на проблему свободной торговли<sup>2</sup>).

Дневник Маллета представляет огромную ценность для историка экономических идей, так как его содержание наглядно опровергает ходячее мнение, часто повторяемое еще и в настоящее

время, будто «классики не встречали идейных врагов или хотя бы просто противников своему учению»<sup>3</sup>). Действительность была неизмеримо сложнее этой примитивной схемы. В классическом учении еще с 20-х гг. назревали внутренние противоречия, а общественное мнение отнюдь не склонно было безоговорочно и единодушно принимать его. Еще в 1826 г. Бэринг в парламенте отрицал возможность применять абстрактные принципы политической экономии к законодательству. «Политическая экономия—очень трудная наука, и до сих пор среди ее академических представителей далеко не выработалось единого мнения». Бэринг сослался на ряд бросающихся в глаза расхождений классических теорий с фактами, и в заключение воскликнул: «Что было бы с нацией, если бы ее законодательство вдохновлялось теоретиками подобного типа!»<sup>4</sup>). Еще ярче освещает отношение враждебной классикам консервативной и землевладельческой части английского общества к политической экономии того времени следующий факт. Кинге Колледж отстранил от кафедры политической экономии Синьора за написанный им красноречивый памфлет об ирландской церкви и о взаимии в ее пользу десятины. После этого в течение шести месяцев шел спор о том, нужно ли замещать эту кафедру и существует ли вообще наука, именуемая политической экономией<sup>5</sup>).

И все же, несмотря на решительное сопротивление, классическое учение, в конце концов, одержало победу в вопросах экономической политики: в 1846 году была произведена почти полная отмена хлебных пошлин, бывших последним оплотом падающего английского земледелия. Фритредерская пропаганда классиков вполне отвечала назревшим потребностям английского промышленного капитализма в освобождении от пут таможенной охраны, и поэтому была поддержана страной. Но именно в этот период наибольших практических успехов идейный развал школы достиг своего апогея. Ее крах был обусловлен не внешними причинами, а внутренним омертвлением. Как замечает Шумпетер: «Историческая школа взяла штурмом крепость, гарнизон которой состоял из инвалидов»<sup>6</sup>). Главным методологическим недостатком классической школы следует признать отсутствие у ее представителей идеи эво-

<sup>1</sup>) Там же, стр. 239—241.

<sup>2</sup>) S m a r t, назв. соч., т. II, стр. 378—379.

<sup>3</sup>) Солнцев. Введение в политическую экономию. Петр. 1923, стр. 102.

<sup>4</sup>) S m a r t, назв. соч. стр. 370—371.

<sup>5</sup>) P o l i t. E c. C l u b, стр. 261—262.

<sup>6</sup>) S h u m p e t e r. Das Wesen u d der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie, стр. 9.

дуции. Народное хозяйство управляется, в их представлении, неизменными вечными законами, действующими с одинаковой силой во все времена и у всех народов. Между тем, быстрый экономический прогресс начала XIX века, неумолимая смена народохозяйственных форм делали наглядно очевидным это несоответствие классической доктрины с действительностью. Последний из классиков Д. С. Милль осторожно и неуверенно попытался выпустить в идеологию английской политической экономии новый исторический и эволюционный дух. Однако, если бы он попытался довести свою мысль до конца, то ему пришлось разрушить здание классической школы до основания. Поэтому реформа политической экономии, предпринятая им, носит на себе явные следы боящегося прямолинейных выводов эклектизма. К рассмотрению этой попытки мы теперь и обратимся.

## ГЛАВА X.

### Торжество гуманности в классической идеологии.

(Джон Стюарт Милль).

«Это — экономист, который подчинил производство человеку вместо того, чтобы подчинить человека производству».

Слова Тэн о Д. С. Милле, цит. у J. Ray. *La méthode de l'économie politique d'après John Stuart Mill*.

«Человек, который в равной мере хотя бы только понимал Бентама и Карлейля, Гамилтона и Конта, Коулиджа и Сен-Симона, стоит на ступени, которая должна оберегать его от нескромных суждений. Пусть он не принадлежит к героям духа и пусть его творения в нашей области особенно далеки от того, чтобы составить эпоху... Но прежде, чем судить о его личности, разумеется, уместно задаться вопросом, мог ли бы кто-нибудь выполнить такую важную долю дела его жизни».

Schumpeter. *Epochen der Dogmen und Methodengeschichte*.

Железная воля Джемса Милля сделала его старшего сына перворазрядным мыслителем, одним из самых замечательных людей своего времени. С трехлетнего возраста он стал обучаться греческому языку. 7—8 лет он читал Геродота, Ксенофонта, Сократа, Лу-

киана, Платона (первые шесть диалогов). Между 11 и 12 годами он «скомпилировал» историю римского управления. Немного спустя он приступил к изучению силлогистической логики. 13-ти лет Д. С. Милль прошел «полный курс политической экономии». 14-ти лет он уже закончил свое «обучение». 16-ти лет он написал «Первый опыт», в котором громил аристократические предрассудки. 16—17 лет он выступил уже главарем кружка утилитаристов. На 17 году первая его статья появляется в печати, защищая экономические взгляды Рикардо и Джемса Милля. И, наконец, неудивительно, что при таком скороспелом развитии он в 20 лет уже переживает тягчайший душевный кризис.

В этот первый период своей жизни Милль, под влиянием отца, естественно питался преимущественно теми философскими и экономическими сочинениями, из которых складывалась интеллектуальная атмосфера, окружавшая старшего Милля. Раз сформировавшись, научные убеждения Милля с трудом подвергались влиянию новых идеологических течений. Рикардианской экономике Милль остался, напровер, до конца дней своих. В ассоциативную психологию отца он вносил лишь незначительные поправки; сам он писал Стерлингу, что, с «более отдаленной инстанцией» последнего, расхождения Милля с отцом в этих вопросах должны были казаться пустяком. С принципами Бентама Милль тоже никак не мог расстаться, то несколько удаляясь, то вновь возвращаясь к ним. Но Милль прожил долгую жизнь и при его восприимчивости не мог остаться равнодушным к сдвигу, обнаружившемуся в общественных науках и жизни со времени зарождения социализма. Вторгнувшие в его голову социалистические идеи произвели там жестокий надлом старой веры, и Милль титаном старался склеить в единое целое обломки старого и начала новой идеологии. Он старался внести в прежнее, одряхлевшую экономическую систему свежую струю «социальной философии». Но никогда не мог он воспринять социализма целиком. Его особенно пугали централистические тенденции сен-симонистов (*le gouvernementalisme à outrance des st-simoniens*)<sup>1)</sup>, с учением которых он был лучше всего знаком. Главным препятствием для немедленного осуществления социализма он считал недостаточную умственную и нравственную зрелость рабочего класса для несения прав и обязан-

<sup>1)</sup> The letters of J. St. Mill, ed. with an introduction by Hugh S. R. Elliot, vol. II, 1910, стр. 204.



ностей, которые выпадут на их долю при социалистическом строе<sup>1)</sup>. В общем Милль был до известной степени склонен к социализму. Однако, его социализм не содержит в себе элементов материализма и детерминизма, характерных для позднейшего марксизма. Этот социализм должен осуществиться при помощи разума, воли и человеческих усилий. По мнению Милля, миром управляют идеи<sup>2)</sup>.

Любопытны многочисленные отзывы о различных социалистических направлениях, разбросанные в его письмах. Сен-симонизм он считал единственным духовным плодом революции 1830 года. В письме к сен-симонисту д'Эйхталю, написанном в 1831 г., он признает, что сен-симонизм стоит «во главе цивилизации». Он верит в возможность того что проектируемая сен-симонистами организация станет когда-нибудь «окончательным и постоянным состоянием человеческой расы»<sup>3)</sup>. Симпатии Милля к сен-симонистам не угасают даже после того, как часть их общины, обеспокоенная невозможностью сыскать подругу жизни для их «патриарха» Анфантена, направляется на Восток «искать свободную женщину». Милль признает Сен-Симона великим человеком, особенно если применять к нему французскую мерку. Стремление к уравниванию женщины с мужчиной Милль и в 1869 г. считает одной из важнейших заслуг сен-симонизма<sup>4)</sup>. Революцию 1848 года во Франции Милль приветствует, видя в ней дело социального возрождения<sup>5)</sup>. Фурье он называет «человеком вроде Роберта Оуэна, стремящимся достичь всего средствами кооперации и придания труду приятного характера; при этой системе человек должен приобрести абсолютную власть над законами физической природы»<sup>6)</sup>. Очень резко Милль отзывался о Прудоне. Он считает его «весьма вредным для дела прогресса». Никто еще не вызывал в обществе такую «реакцию страха, имеющую гибельные последствия». В сочинениях Прудона Милль не находит ничего справедливого и прогрессивного. Прудон «обладает лишь мощной диалектикой, но это — диалектика дурного тона, так как она обрушивается с равной силой и против зла и против добра»<sup>7)</sup>. Интересен, наконец, его

отзыв о I Интернационале. В письме к Георгу Брандесу он рассказывает, что лично знает некоторых главарей английских представителей Интернационала и что они кажутся ему людьми разумными, озабоченными, главным образом вопросом о практических улучшениях в судьбе рабочего класса, способными к правильной оценке препятствий, стоящих на их пути, и не питающими особенной ненависти против классов, чье господство они хотят сломить. Английские члены Интернационала являются, по мнению Милля, самым умеренным его крылом. Они рассчитывают, главным образом, на личную инициативу и частные ассоциации. Другие надеются достичь своей цели непосредственным захватом власти. Сюда относятся не только французы, но еще в большей мере бельгийцы, немцы и даже швейцарцы, «под явным верховодительством некоторых русских теоретиков, которые думают, что нужно лишь экспроприировать весь мир и свергнуть все существующие правительства, не озабочиваясь в настоящее время вопросом о том, что должно быть поставлено на их место»<sup>1)</sup>.

Сам Милль, как увидим ниже, относился с большим сочувствием к производственным ассоциациям рабочих, к расширению мелкой крестьянской собственности за счет крупного землевладения и к ограничению права наследования. Эти мероприятия, казалось ему, должны до известной степени приблизить современное общество к идеалу социальной справедливости. Милль был, таким образом, чужок к веяниям времени. В этом и был трагизм его положения. Он не дерзал разбить завещанные отцом скрижали, но тяготился унаследованной от него узостью кругозора.

В философских своих воззрениях Милль придерживался традиционных взглядов классической школы. Человек — продукт среды, и его сознание формируется внешними ощущениями. Германская идеалистическая философия, из которой он мог бы почерпнуть иные мысли, была известна Миллю только из вторых рук. Еще отец Милль читал кантовскую «Критику чистого разума», но лишь смутно прозревал задачи, которые ставил себе «бедный Кант» (poor Cant). Прочитав по совету Бэна какое-то из сочинений Фихте, Джон Ст. Милль недоумевает, как оно могло послужить Бэну и Спенсеру толчком в развитии их мыслей. «Я совершенно ничего не нахожу в нем. Это — химерическая теория, изобретенная для объяснения воображаемых фактов»<sup>2)</sup>. С Гегелем он был знаком лишь по работе

<sup>1)</sup> Там же, т. I, стр. 168.

<sup>2)</sup> J. R. A. La méthode de l'économie politique d'après J. St. Mill. Paris, 1914, стр. 54.

<sup>3)</sup> Letters of J. St. Mill, т. I, стр. 20.

<sup>4)</sup> Letters of J. St. Mill, т. II, стр. 204.

<sup>5)</sup> Там же, т. I, стр. 136.

<sup>6)</sup> Там же, т. I, стр. 75.

<sup>7)</sup> Там же, т. II, 205.

<sup>1)</sup> Там же, т. II, стр. 335.

<sup>2)</sup> Там же, т. II, стр. 8.

Стирлинга: «Секрет Гегеля». Милль пришел к выводу, что идеи Гегеля действуют на разум разрушающе. Философия Гегеля — цепь ложных и противоречивых умозаключений. После прочтения книги Стирлинга, рассказывает Милль, он в течение некоторого времени испытывал болезненное ощущение при произнесении слов: развитие, развитие, эволюция и т. д.<sup>1)</sup> В самой Англии робкие попытки построения идеалистической философии выливались в форму «интуитивизма», к которому Милль был враждебен. В автобиографии Милль признает, что «немецкая доктрина», вероятно, будет долго господствовать при объяснении происхождения человеческих знаний и способностей. Но на свою «Систему логики» он смотрел, как на «руководство к изучению противоположных теорий, т. е. той, которая выводила всякое знание из опыта и всякие нравственные, а также интеллектуальные способности человека из направления, придаваемого ассоциациям идей с предметами»<sup>2)</sup>.

Материализм сочетался у Милля с атеизмом, который у него отчасти вуалируется тенденцией к обожествлению великих людей в контовском духе. В одном из писем 1854 г. он выражает уверенность в том, что «идея соборного человечества, особенно во образе наиболее выдающихся умов и характеров прошлого, настоящего и будущего, может стать не только для исключительных личностей, но и для всего мира объектом переживаний, способных с пользой заменить все существующие религии как для потребности сердца, так и для нужд общественной жизни»<sup>3)</sup>. Милль даже соглашался с Контом в том, что моральное и интеллектуальное главенство, принадлежавшее раньше духовенству, со временем должно перейти к философам. Но его возмущал контовский план создания из философов «особой иерархии, облеченной почти той же духовной властью, которою обладала некогда католическая церковь». По его мнению, «это самая совершенная система духовного и светского деспотизма, которая когда-либо была создана умом человека, за исключением разве Игнатия Лойолы»<sup>4)</sup>.

В обширной сфере человеческих знаний Милль намечает две группы наук: физические и моральные. Социальные науки входят в

разряд наук моральных и представляют ту главу социологии, которая посвящена изучению явлений общественной жизни, слагающихся на почве стремления к богатству. Основным материалом для социальных наук вообще и для политической экономики, в частности, являются психологические факты, в которых проявляется неизменная природа человеческого характера. Нельзя, сказать, чтобы Милль игнорировал изменения в общественной нравственности, происходящие на протяжении человеческой истории. Он, несомненно, обладал живым, никогда его не покидавшим чувством относительности<sup>5)</sup>. Но все же человеческая природа представлялась ему мало эластичной, и он находил возможным дедуцировать из нее законы общественных наук и, в их числе, политической экономики.

Однако, в отличие от фаталистической экономики Мальтуса и Рикардо, Милль не склонен был допускать, чтобы стихийная закономерность внешнего по отношению к человеку физического мира могла вовлечь в свой железный круг и человеческое поведение. В 1867 г. он поздравляет Торнтона в письме к нему с тем, что он способствовал «эмансипации политической экономики». Эта эмансипация заключалась в «освобождении ее от тех доктрин старой школы (столь любезных в настоящее время сердцу мыслящих людей), которые рассматривают хозяйственные законы, напр., закон спроса и предложения, как законы неодушевленной материи, не подчиненные воле человеческих существ, хотя в основе их и лежат чувства, интересы и принципы поведения этих людей. Таково одно из их интеллектуальных заблуждений, которому когда-нибудь станут удивляться; вы поспособствовали в значительной мере его разрушению, что представляется выдающейся заслугой»<sup>6)</sup>.

Однако, обращаясь к области политической экономики, мы видим, что Милль не рисковал поддержать в полной мере торнтоновскую «эмансипацию». Милль рассматривает законы экономической науки на две качественно совершенно несходные группы.

Законы этой науки сохраняют в глазах Милля свой стихийный, неотвратимый для человека характер только в области производства. Хозяйствующий субъект всецело подчинен в своей борьбе с природой, вызываемой стремлением к получению нужных ему для потребления благ, закономерности физического мира, в котором

<sup>1)</sup> Там же, т. II, стр. 93. Стирлинг, впрочем, повидимому, постиг Гегеля не особенно глубоко. Маркс в письме к Энгельсу дает его книге далеко не лестную характеристику. По его словам, «сам Гегель не сумел бы понять ее». Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx 1844—bis 1883. Herausgegeben von A. Bebel und Ed. Bernstein. IV том, Stuttgart, 1919, стр. 54.

<sup>2)</sup> Милль, Автобиография, стр. 200.

<sup>3)</sup> Letters, т. I, стр. 183.

<sup>4)</sup> Милль, Автобиография, стр. 189—190.

<sup>5)</sup> Ray, назв. соч., стр. 149.

<sup>6)</sup> Letters, т. II, стр. 90.



протекает затрата им энергии. Но законы распределения зависят от желания и произвола общества. Они — «человеческое учреждение»<sup>1)</sup>. Свобода в этой области сводится, в сущности, к выбору одного из двух принципов, предопределяющих всю систему распределения благ: частной собственности или коммунизма. Милль подробно сравнивает достоинства и недостатки обеих систем, защищает коммунизм от обычно выдвигаемых против него аргументов и останавливается в нерешительности: какую из двух систем предпочесть. «Если отважиться на догадку», говорит он, «то, вероятно, решение будет зависеть, главным образом, от того, которая из двух систем наиболее совместима со свободой и самоопределением человека». Не решаясь, однако, дать окончательный ответ относительно преимуществ той и другой системы с точки зрения свободы и самоопределения, Милль предпочитает предоставить окончательное решение опыту<sup>2)</sup>.

Однако, даже сохраняя принцип частной собственности, Милль стремится обставить его чувствительными ограничениями. Чтобы добиться «равенства в исходной точке», т. е. одинаковости шансов на успех для всех вступающих в борьбу за существование, Милль хочет, прежде всего, уничтожить или свести до минимума право наследования.

Другим проектом Милля, проникнутым антикапиталистическим духом, был его план укрепления и насаждения мелкой земельной собственности. Милль с грустью и тревогой отмечал обострение процесса пролетаризации народных масс и возникновения резкой классовой розни. Ему казалось, что единственным способом восстановления внутреннего мира в народном хозяйстве является сохранение мелкой собственности в различных формах: в сельском хозяйстве она должна была бы вылиться в создание множества небольших владений по французскому типу, в промышленности же эта тенденция выражалась словом «кооперация», не имевшим еще в середине XIX века того определенного значения, которое связывается с ним теперь, и обозначавшим в устах Милля приобщение рабочего класса к владению и управлению предприятиями, в которых они работают.

Мелкое землевладение не было у предшественников Милля в большом почете. Они были сторонниками крупного производства

и не проводили сколько-нибудь серьезного различия между сельским хозяйством и промышленностью, когда прославляли выгоды производства в большом масштабе. По словам Лесли Стефана, «экономисты, по общему правилу, предоставляли сентименталистам сожалеть о британских Йомегах (мелких землевладельцах) и музыкально плакать, вместе с Гольдсмитом, о том времени, когда каждая пядь земли поддерживала своего человека»<sup>3)</sup>.

Представители классической школы были верны плану, прямолинейно начерченным уверенной рукой Артура Юнга: для мощного капиталистического развития земледелия необходимо окружение мелких поместий, введение машин в сельское хозяйство и предоставление свободы предпринимательской инициативе землевладельцев и солидных фермеров. В сельском хозяйстве «мелкие держатели так же отжили свой век, как ручные ткачи».

Милль порывает в этом вопросе с классической традицией и красноречиво выступает на защиту мелкого землевладения. С осуществлением тех или иных начал владения землею он связывал важнейшие последствия не только экономического, но и социального, морального и т. д. порядка. Правда, Милль не рассчитывал на возможность посадить обратно на землю сколько-нибудь значительную часть фабричного пролетариата, так как «народ, однажды принявший систему производства в большом размере — безразлично, фабричного или земледельческого — едва ли отступит от него»<sup>4)</sup>. Колеса истории не повернуть вспять. Но, тем не менее, дальнейшему разрушению связи населения с землей следует препятствовать всеми возможными мерами. Насколько можно судить по письмам Милля, в тайниках души он даже сочувствовал радикальному разрешению аграрного вопроса, считая, что недовольство земельными отношениями одно только представляет существенную угрозу социальному миру. Вот что он писал, напр., в 1868 году Нортоу: «Не подлежит сомнению, что рабочий класс Англии проникнут весьма острым чувством отчужденности от имущих классов. Он очень явственно ощущает противоположность интересов между получателями заработной платы и ее плательщиками. Но я не думаю, чтобы это чувство достигло когда-либо степени личной ненависти (personal hatred) между классами... Интеллигенция, составляющая наиболее активную в политическом отно-

<sup>1)</sup> Н. Х. Бунге. Очерки политико-экономической литературы, С.П.Б. 1895, стр. 343.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 367.

<sup>3)</sup> Leslie Stephen, назв. соч., т. III, стр. 185.

<sup>4)</sup> Д. Ст. Милль. Основания политической экономики с некоторыми из их применений к общественной философии, СПб., 1865, т. II, стр. 289.

шении часть рабочей массы, не обнаруживает нетерпения; она испытывает известный страх перед бездной грубейшего невежества, разрывающей позади нее, и, вполне последовательно, поддерживает настоятельные требования подлинного национального воспитания. Этого они скоро достигнут, и воспитание изменит в неподдающейся наперед учету степени все скверные стороны существующего порядка вещей... Единственный вопрос, который может приобрести опасный оборот, это вопрос земельный. Существуют признаки быстро крепнущего убеждения рабочего класса в том, что земля не должна быть объектом частной собственности, а должна принадлежать государству. Это мнение, всегда казавшееся мне справедливым в своей основе, может, пожалуй, вполне назреть до того, как землевладельческий класс будет готов хотя бы спокойно воспринимать его. И в таком случае неизбежно возбуждение страстей (*there will be bad blood*) и острая классовая враждебность. Но, насколько я вообще способен прозревать будущее, мне кажется, что вероятность всецело предвещает даже и при таких условиях улажнение вопроса рядом последовательных компромиссов без применения приемов кулачной расправы»<sup>1</sup>).

Если, однако, Милль был сторонником перехода земли в руки трудящихся, то это еще не значит, что самый факт насаждения мелкого земледелия представлялся ему достаточной гарантией сельско-хозяйственного прогресса. Проникшись всецело идеями Мальтуса, Милль считал необходимым, чтобы крестьянское население жило в условиях разумного воздержания от быстрого размножения, так как только таким путем ему может быть обеспечено постоянное и устойчивое благосостояние. Если французское крестьянство процветает, а ирландское находится в состоянии гнетущей нищеты и морального разложения, то это всецело объясняется природенной склонностью французов к мальтузианству и полным нежеланием ирландцев следовать голосу благоразумия.

Но как быть с промышленным пролетариатом? Когда Милль говорит о рабочем классе, то для него рабочий уже не является бездушным аппаратом для производства меновых ценностей. Перед Миллем встает образ сознательного, вооруженного классовым самосознанием рабочего, самостоятельно решающего вопросы, от которых зависит его будущее. «О рабочих людях—по крайней мере

в передовых странах Европы—можно сказать достоверно, что патриархальной или отечественной системе опекунов над ними они вновь уже не подчинятся. Вопрос этот был решен, когда они выучились читать и получили доступ к газетам и политическим брошюрам;... когда их собрали во множестве вместе под одну кровлей; когда железные дороги открыли им возможность переноситься с места на место и переменять своих патронов и хозяев так же легко, как менять платье; когда их стали побуждать искать избирательного права, чтобы иметь участие в управлении».

Но если рабочий класс становится активным участником общественной жизни, необходимо позаботиться о том, чтобы он не был увлечен на ложный путь. «Будущность зависит от того, до какой степени рабочие могут стать разумными людьми»<sup>2</sup>). Идея необходимости правильного воспитания всех общественных классов, и особенно пролетариата, овладевает помыслами Милля. В одном из своих писем он высказывает такие суждения: «В настоящее время я ожидаю очень немногого от планов, стремящихся к улучшению хотя бы даже и экономического положения народа чисто экономическими или политическими средствами. Я думаю, что мы переживаем эпоху, когда прогресс даже в политическом отношении осужден остановиться по причине низкого интеллектуального и морального состояния всех классов—богатых в такой же степени, как и бедняков. Великие усовершенствования в приемах воспитания (среди которых я придаю первейшее значение эмансипации их от скверной религии) является, на мой взгляд, единственным средством, от которого можно ожидать длительного добра»<sup>3</sup>).

Однако, надежды на радикальное преобразование общества «мерами разумного воспитания довольно проблематичны; для того, чтобы распутать затянувшийся узел социальных отношений, нужно было предложить что-нибудь реальное. Прочная ассоциация интересов обоих враждующих классов может создаваться только на почве кооперации. Для Милля и его учеников кооперация—панacea от всех зол, магическое слово, не менее чудотворное, чем сказочное: «Сезам, отворись». Этим неопределенным термином у Милля покрываются и участие рабочих в прибылях предприятия и потребительская кооперация, и производственная ассоциация рабочих. Тем или иным путем рабочий сам должен стать, хотя бы

<sup>1</sup> Letters, стр. 122—123.

<sup>2</sup> Д. Ст. Милль. Основания, т. II, стр. 283—285.

<sup>3</sup> Letters, т. I, стр. 153.



в небольшой доле, капиталистом. В туманной дали Милль мерещится даже возможность обойтись и вовсе без капиталистического элемента.

«Если человеческий род будет продолжать развиваться, то надобно ожидать, что напоследок станет господствовать не та форма ассоциации, которая может существовать между капиталистом, как главою дела, и работниками, не имеющими голоса в управлении, а другая форма: ассоциация самих работников на условиях равенства, с принадлежностью всему их обществу капитала, на который ведутся их операции, и под управлением распорядителей, избираемых и сменяемых ими самими». Пока такая ассоциация не выходила за рамки теоретических построений Оуэна или Луи Блана, она могла казаться неосуществимой. Но 48-й год открыл рабочих надеждами и дал им возможность вкусить впервые в организованной форме сладкий плод коллективного труда, без участия капиталиста. «Ободренные этим, выросли и принесли плод посеянные социалистическими писателями идеи об эмансипации труда посредством ассоциации; и многие работники пришли к решимости работать друг на друга вместо того, чтобы работать на хозяина, negociанта или фабриканта,—пришли и к решимости освободиться, каких бы трудов и лишений ни стоило это, от необходимости платить из продукта своего труда тяжелую дань за пользование капиталом, уничтожить эту подать не отнятием у капиталистов того, что приобрели они или их предшественники посредством труда и сохранили посредством экономии, а честным приобретением капитала для себя»<sup>1</sup>). Таков намечаемый Миллем мирный исход назревших в капиталистическом обществе социальных катаклизмов.

Однако, Милль вовсе не был твердо убежден в том, что для социального мира необходимо полное искоренение класса предпринимателей. В 1863 году он пишет английскому экономисту Клиффу-Лесли по вопросу об антагонизме между капиталистами и рабочими: «Я не могу представить себе ничего, кроме кооперации, что могло бы совершенно устранить этот антагонизм. Но для того, чтобы воспользоваться этим средством, нет необходимости, чтобы кооперация была всеобщей. Если бы она была даже только очень распространенной, то рабочий, оставаясь в частном предприятии и получая от своего капиталиста столько же (по сравнению с трудом той же производительности), сколько он мог бы заработать при кооперации, увидел бы, что у него нет оснований

жаловаться. Прибыль предпринимателя была бы тогда простым следствием возросшей производительности орудий производства, получающейся на основе частной собственности на них»<sup>2</sup>).

Все эти шатания чрезвычайно характерны для Милля. Милль никогда не мог отрешиться от принципов старого экономического либерализма. Свобода была для него священной заповедью, перед которою должны были беспрекословно склониться все другие общественные идеалы. В экономической жизни эта свобода проявляется в неограниченной конкуренции, постоянно встряхивающей и оживляющей каждого участника жестокой борьбы за существование. Государственное вмешательство стесняет конкуренцию и приводит к воцарению противоположного ей тлетворного духа монополии. Но опыты осуществления идей полной свободы торговли (манчестерства, по английской терминологии) не могли не посеять в его чуткой душе горьких сомнений. Энтузиазм накопления, которым воспламенялся А. Смит, окончательно погас, разбившись о требования нравственной оценки достижений экономического прогресса. Пусть на первых ступенях общественного развития, при всеобщей нищете и ограниченности материальных ресурсов, находящихся в распоряжении человечества, вполне законна элементарная жажда наживы, заставляющая каждого напрягать все свои способности для повышения жизненного уровня. Но Милль находит, что человечество достаточно пресытилось этой борьбой за хлеб насущный и достаточно разбогатело, чтобы иметь право отодвинуть на задний план погонею о материальном богатстве. «Признаюсь, меня не очаровывает идеал жизни, представляемый писателями, думающими, что нормальное состояние человека—борьба для своего повышения; что толкаться, карабкаться, расталкивать толпу локтями, наступать друг другу на ноги, что этот нынешний тип общественной жизни—прекраснейшая для людей участь, а не неприятный симптом одного из фазисов общественного прогресса»<sup>3</sup>). Описанная в этих словах капиталистическая культура наиболее ярко выражена в Американских Соед. Штатах. Что пользы в том, что «жизнь всех мужчин посвящена у них ловлению долларов, а всех женщин—выкармливанию детей, которые будут ловить доллары»<sup>3</sup>).

Миллю гораздо более по душе образ неподвижного, оцененного статического государства, достигшего высшего экономического

<sup>1</sup>) Милль. Основания, т. II, стр. 295—297.

<sup>2</sup>) Letters, т. II, стр. 294.

<sup>3</sup>) Милль. Основания, т. II, стр. 276.

<sup>3</sup>) Там же.

расцвета и застывшего на кульминационной точке. Его идея «неподвижного состояния» достойно венчает весь ход развития классической теории, бывшей, как мы видели, последовательной идеологией ограниченных возможностей. Экономический прогресс идет к какому-то неизбежному «концу». «Этот окончательный предел постоянно так близок, что ясно обозначается на горизонте»<sup>1)</sup>. Прибыль клонится к своему минимуму. Накопление прекращается. Дальнейший прирост населения становится невозможным. «Политико-экономию старой школы» питали «неподдельное отвращение» к такому состоянию. Наоборот, симпатии Милля всецело на его стороне, и он более, чем холоден «к нынешнему экономическому прогрессу, с которым поздравляют себя дюжины публицисты, — к простому возрастанию производства и накопления»<sup>2)</sup>.

Но неужто Милля прельщает перспектива общественной жизни, обреченной на полнейший застой? Разумеется, нет. Останавливается лишь материальный прогресс, так как он дает простор развитию лишь «низшей формы человеческой активности». Но именно тогда только и взойдет немеркнущая заря человеческого разума. Милль, несомненно, идеализирует свое «неподвижное состояние». По правильному замечанию Гоннара, он рисует его в привлекательных красках, мягкими, нежными полутонами, освобожденными от грубой реальности, вызывающими светлую мечту об «экономических Елисейских полях»<sup>3)</sup>. Это полупризрачное «государство будущего», в котором дикая пляска страстей человеческих сменялась дружной коллективной работой в уютной атмосфере культурного прогресса, так характерно вырисовывает облик его создателя, честного труженика, уравновешенного мыслителя, верного рыцаря нравственного долга Дж. Ст. Милля. Культурное развитие человечества становится для него самостоятельным автономным идеалом социальной политики. Его построение отчасти напоминает схему общественного прогресса, данную Канаром и Шторхом. Мы видели, что эти авторы представляли себе развитие народного хозяйства в форме помещения все возрастающей доли чистого дохода страны в умственный капитал или в «цивилизацию». Но тогда как для субъективистов начала XIX века накопление умственного капитала должно служить задаче дальнейшего увеличения общественного богатства, Милль игнорирует возможность использования культуры для целей улу-

шения материального благосостояния. Культура представляется ему самоцелью, самоценностью.

Однако, на этой высшей ступени общественного развития вопросы чисто экономического порядка не отпадают совсем, а лишь меняют свое содержание. Проблема производства и накопления заслоняется задачей равномерного распределения благ. Разрешение ее будет облегчено нравственным и умственным прогрессом общества. Ассоциация интересов сменит пагубную «войну всех против всех».

Дальше Дж. Ст. Милля развитие классической доктрины не пошло. Даже у Милля мы встречаем уступки социалистической идеологии, делавшие его теорию сплошной ересью для представителей ортодоксального экономического либерализма, каким был, например, во Франции в середине XIX века Бастиа<sup>4)</sup>.

Замечательно, что по словам Каннана, в Англии едва ли найдется хоть один экономист, который рискнул бы произвести фронтальную атаку против социализма вообще. Но в то же время есть предел, за которым впитение социалистических идей в экономическую систему классиков неизбежно приводит к разрушению основных принципов, из которых она сложилась. Милль подошел к этому пределу и с некоторой робостью остановился у негс. Нашлись другие, более смелые, и они перешли Рубикон. Но они уже не принадлежали к классической школе. Маркс, например, бывший замечательным знатоком классической литературы, благодаря своему мощному синтетическому уму сумел разбросать до основания величественное здание классической экономии; но отдельные ее части были умело использованы им для возведения новой постройки совсем иного типа. Милль принадлежит к классической школе; Маркс вырос на ее плечах, но она была для него уже превзойденной ступенью. Социалист преобладает в Марксе над классиком. Утописты начала XIX века были не в меньшей мере его предтечами, чем рикардиевская политическая экономия.

Изображению того, как сложилась из этих двух течений система Маркса, и будет посвящен второй том нашей работы.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 274.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 277.

<sup>3)</sup> R. Gonnard, т. II, стр. 316.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 307.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие . . . . .	3—4
Глава I. Зарождение идеи стихийной закономерности в народном хозяйстве (Закат меркантилизма) . . . . .	5—20
Борьба идей закономерности и чуда в научной литературе XVII и XVIII в.в. (5—8). Общая характеристика доктрины меркантилистов (8—9). Народное хозяйство—предмет администрации (9—11). Национализм меркантилистов (11—13). Значение драгоценных металлов (13—15). Волшебная стихия кредита—система Дж. Ло (15—17). Постепенный рост идеи стихийной закономерности (18—20).	
Глава II. Аграрный мистицизм (Торжество и падение физиократического учения) . . . . .	20—86
Сектантский дух физиократов (20—21). Вожди физиократической секты: Кенз, Мирабо, Дюпон де-Немур, Тюрго (21—27). Рост и успехи физиократического движения (27—29). Противники физиократов (29—31). Закат физиократии (31—32). Концепция естественного порядка (32—33). Политическая доктрина (33—35). Физическая необходимость естественного порядка и восприятие ее посредством «овечности» (35—37). Философские взгляды (38—40). Земля—единственный источник богатства: физическая и ценностная производительность почвы (40—43). Идея чистого дохода, необходимой цены и минимума средств существования (43—47). Общественные классы в сельском хозяйстве (47—49) и в промышленности (49—50). Задача экономической политики—получение максимального чистого дохода (51—54). Функции капитала в производстве (54—56). Крупная и мелкая культура (56—58). Калькуляция чистого дохода (58—60). Физиократы—идеологи крупного с.х. производства (60—62). Теория денег у физиократов (62—66). Теория ценности и цены (66—70). Высокие цены на хлеб и свобода хлебного вывоза (70—74). Оппозиция Неккера и Галиани (74—77). Экономическая таблица: ее история и методологическое значение (77—83). Учение о налогах (83—86).	
Глава III. Апология хозяйственных добродетелей (Адам Смит) . . . . .	86—139
Экономические условия, вызывавшие «промышленную систему» (86—87). Общая характеристика личности и труда Смита (87—92). Философские предпосылки (92—94). Учение о природной одинаковости всех людей (94—97). Смит и физиократическое учение (97—101).	

Удельный вес земледелия и промышленности в народном хозяйстве (101—105). Учение Смита о ценности и о цене; неизменность ценностных соотношений (105—110). Производительный и непроизводительный труд (110—113). Материальные и нематериальные ценности (113—115). Разделение труда (115—117). Концепция капитала (117—122). Сбережение—основа богатства (122—124). Теория денег (125—127). Проблема распределения (127—130). Заработная плата (130—132). Прибыль (132—133). Поземельная рента (133—134). Проповедь свободной торговли (134—139).

Глава IV. Экономический прогресс и накопление нематериального богатства (Французская субъективная школа начала XIX в.). . . . . 139—161

Политическая экономия на время становится французской наукой (139—141). Личность Сэ, его полемика со Шторхом (141—143). Методология (143—145). Нематериальное богатство (145—146). Субъективная теория ценности (146—149). Производственные услуги (149—150). Концепция чистого дохода и экономического прогресса (150—151). Учение Шторха о цивилизации и умственном капитале (151—155). Заработная плата и чистый доход (155—157). Значение индивидуальности в хозяйстве; учение о предпринимателе (157—160). Теория рынка (160—161).

Глава V. Социальная механика и калькуляция счастья (Общая характеристика классической школы) . . . . . 161—181

Расцвет экономической мысли в Англии (161—162). Лондонский клуб политической экономии (162—163). Рикардо (163—165). Популярность классической школы (165—166). Она—типичный продукт английской культуры (166—167). Утилитаризм (167—170). Атомизм и учение об «экономическом человеке» (170—171). Государственное невмешательство (171—172). Свободная конкуренция (172—173). Три основных идеи: ограниченность возможностей, пассивное приспособление, предопределяющее влияние прошлого (173—181).

Глава VI. Естественные законы народнохозяйственного оскудения (Рикардо) . . . . . 181—216

Секрет литературного успеха Рикардо (181—183). Абстрактный метод (183—185). Механизация экономической жизни (185—186). Промышленность и земледелие (186—187). Закон падающей производительности и связанный с ним пессимистический колорит системы Рикардо (187—188). Теория распределения и учение о национальном доходе (188—196). Доктрина поземельной ренты (196—200). Учение о прибыли (200—202). Заработная плата (202—203). Отсутствие у Рикардо законченной доктрины чистого дохода (203—204). Теория ценности (205). Развитие и ограничение трудового принципа (205—209). Издержки производства (209—210). Возврат Рикардо к чисто трудовому началу в теории распределения (210—212). Отношение доктрины Рикардо к социалистической и психологической теориям ценности (212—215). «Предельные» издержки (215—216).

ПЕЧАТАЮТСЯ

А. ФОЙХТ.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Перевод О. Н. Брошневской.

Под ред. проф. С. В. Берштейна-Когана.

*Содержание:* I. Общая часть. II. Частная техническая экономика. Развитие техники и технических знаний. Экономика пассивных благ. Экономика активных благ. Экономика рабочей силы.

КАРЛ ФОРЛЕНДЕР.

## ИСТОРИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ.

Перевод с немецк. Г. П. Федотова.

Стр. 158.

*Содержание:* Восток. — Греция и Рим. — Христианство. — Утопический социализм 16—18 столетий. — Великие утописты первой половины 19 столетия. — Современный социализм.

## СОЦИАЛЬНАЯ БОРЬБА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

В ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТАХ.

19-ый век. Первая половина столетия.

Составил С. А. ШАФТ.

Стр. 280.

*Содержание:* Промышленный переворот и рабочее движение в Англии. Развитие промышленности и рост буржуазии во Франции. Реакция, либерализм и утопический социализм. Революция 1830 и 1848 гг. во Франции. Революция 1848 г. в Германии и Австро-Венгрии.

Глава VII. «Веха над подводным камнем» (Закон народонаселения Мальтуса) . . . . . 216 228

Реакция против социального радикализма в Годвинском духе (216—217). Эффект, произведенный трудом Мальтуса (217—218). Ограниченность территории и безграничное стремление к размножению (218—219). Нилета (219—220). Препятствия размножению населения (220—222). Борьба против общественной благотворительности (222—223). Значение воспитания, собственности и брака (223—224). Биология и эвгеника у Мальтуса (224—226). Экономические выводы (226—228).

Глава VIII. Запоздалые успехи английского земледелия (Борьба вокруг хлебных законов) . . . . . 228—240

Влияние наполеоновских войн на положение сельского хозяйства в Англии (228—231). Кризис, связанный с наступлением мира (231). Выступления протекционистов (231—232). Защита хлебных законов Мальтусом (232—236). Стремление задержать развитие капитализма (236—237). Идеология фритредеров (237—239). Значение высоких и низких цен (239—240).

Глава IX. Вульгаризация классического учения (Период упадка английской политической экономии) . . . . . 240—254

Разложение классической доктрины (240—242). Джемс Милль и Мак-Келлок (242—246). Догматические споры в лондонском клубе об учении Рикардо и Мальтуса, парадоксальном прогрессе, положении рабочего класса, бумажных деньгах (246—252). Внутреннее омертвление и практические успехи классического учения (252—254).

Глава X. Торжество гуманизма в классической идеологии (Джон Стюарт Милль) . . . . . 254—267

Устойчивое развитие Д. Ст. Милля (254—255). Надлом старой веры и стремление к «социальной философии» (255—256). Отношение к социализму (256—257). Философские и методологические взгляды (257—260). Ограничения капиталистической свободы (260—262). Отношение к пролетариату, идея ассоциации (262—265). Идеал «неподвижного» государства (265—267). «Рубикон» классической школы (267).